

- **МОЖНО ЛИ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ?**
Вокруг публикации "Дневников" Эдуарда Кузнецова
- **ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ**
Брахия Калан-Дар
- **АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ**
Поэма о Фоме
- **РУССКАЯ АЛИЯ ГЛАЗАМИ ИЗРАИЛЬТЯН**
Ю. Нееман, А. Штайнцалы, И. Орен
- **ИОСЕФ ЯКЕРСОН**
Художник об искусстве

22 - 7

1979

7

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

ДВАДЦАТЬ ДВА

МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ

7

Тель-Авив

Май 1979

**ДВАДЦАТЬ ДВА
(МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ)**

Общественно-политический и литературный журнал
еврейской интеллигенции из СССР в Израиле

№ 7

май 1979

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ЛИТЕРАТУРА

АНРИ ВОЛОХОНСКИЙ. Поэма о Фоме	3
ЭЛИ ЛЮКСЕМБУРГ. Брахия Калан-Дар	22
МЕЛВИЛЛ ШАВЕЛЬСОН. Одиннадцатая заповедь	57

ПУБЛИЦИСТИКА

Колонка редактора	93
-----------------------------	----

СВОБОДНЫ ЛИ МЫ ДЛЯ СВОБОДЫ?

КРОНИД ЛЮБАРСКИЙ. Открытое письмо	100
ВИКТОР БОГУСЛАВСКИЙ. Ответ Любарскому	107
НАТАЛЬЯ РУБИНШТЕЙН. Читателям.	113
АЛЕКСАНДР ВОРОНЕЛЬ. Парламент совести	118

РУССКАЯ АЛИЯ ГЛАЗАМИ ИЗРАИЛЬТЯН

ЮВАЛ НЭМАН. Об алии без разочарований	126
АДИН ШТАЙНЗАЛЬЦ. Надежды и разочарования	134
ИЦХАК ОРЕН. Исповедь	140

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

НАУМ ВАЙМАН. Кризис цели	149
ЯАКОВ ХАЗДАИ. Что нам делать с Израилем?	154

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

ХАИМ ВЕЙЦМАН. Конец Женевских дней	159
ДЖОЭЛЬ КАРМАЙКЛ. На подмостках истории	171

КУЛЬТУРА:

ЗВЕНЬЯ

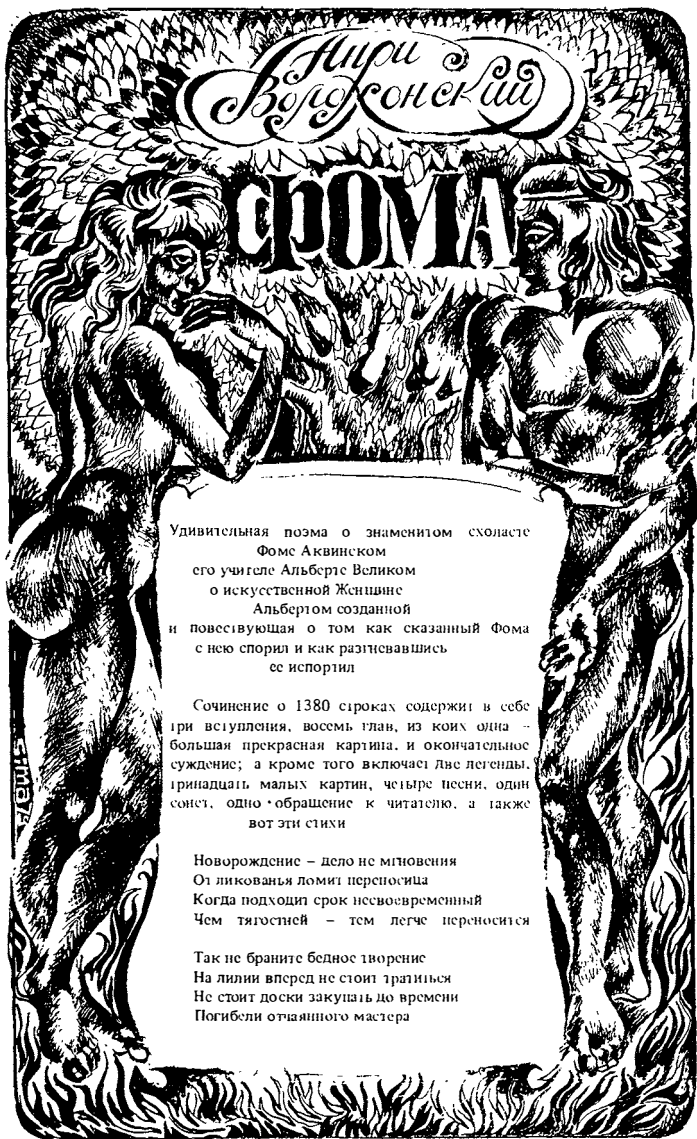
ИОСИФ ЯКЕРСОН. Художник об искусстве	187
--	-----

СЕГОДНЯ

ИГНАЦИЙ ШЕНФЕЛЬД. Еврейская тема в соцреалистической трактовке.	204
ЮРИЙ МИЛОСЛАВСКИЙ. Рассказы обо мне	209

ПИСЬМА

М. АЗБЕЛЬ, Р. БЛЕХМАН, Б. СИДОРОВ	215
---	-----



Удивительная поэма о знаменитом схоласте
Фоме Аквинском
его учителе Альберте Великом
о искусственной Женщине
Альбертом созданной
и повествующая о том как сказанный Фома
с нею спорил и как разгневавшись
ее испортил

Сочинение о 1380 строках содержит в себе
три вступления, восемь глав, из коих одна —
большая прекрасная картина, и окончательное
суждение; а кроме того включает две легенды,
тринадцать малых картин, четыре песни, один
сонет, одно обращение к читателю, а также
вот эти стихи

Новорождение — дело не мгновенная
От ликования ломит переносища
Когда подходит срок несвоевременный
Чем тягостней — тем легче переносится

Так не браните бедное творение
На лилии вперед не стоит тратиться
Не стоит доски закушать до времени
Погибели отчаянного мастера

К МУЗЕ

Мой бек не ценит пищи тонкой
В тройной цене утробный вой
Берите сумки и котомки
Валите в лавочку за мной

Автоматический механик
Вам вместо цинка сплавит медь
В глаза кокетливая глянет
Полупрокопченная снедь

Кофейный боб в сгущенной банке
Там вот уж сорок лет один
Там смерть естественная в склянке
Маячит где-то впереди

Что прежде было, то и будет —
Вернется ветер в ранний круг
Нам суждено в одной посуде
Хранить и финики и лук

Морковка близко ананаса
Ему дарит морковный смак
Торговка запахом Парнаса
Благоухает из-за весна

Она лущит сухие кости
На мир восторженно плюя
В нем нет возможности для роста
Так пусть летает чешуя

Дабы рука не достигала
На завершении колонн
Нетленной гирей идеала
Мерцает вечный эталон

Но там, во льду застынут души
И хрустнет глаз и взвизгнетмышь
От совершенства дивной груши
И от воззренья в эту высь

Зачем же Ты сбивая сливки
Колемблешь череп бедный мой —
Такой непрочный и пустой
Полуразрушенный и зыбкий?

МОЛИТВА СЯГОГО ФРАНЦИСКА
АССИЗКОГО

Избавь меня
Избавь меня от зрелища пустого края
чаши той, в которой нет монеты
милости твоей

Сейчас, сейчас,
Когда кругом темнеют, падая,
Лохмотья осязаемых от яркости знамен

Мгновенье сжатых век
Наверно, это лучшее мгновение
прекрасное

О, если бы я видел не мигая
Славы твоей цветочную лужу
И пруд и ручей дорогой незабудок
Поток

Теперь гремит разматывая цепь
Молотобоец-звездочет
А эти здесь
Вокруг стоят боясь дрожат и словно
ждут известия

Теперь час губ, которые молчат,
Должно быть совершенный час
безмолвно сжатых губ

О если бы воздух мой
Мог плавить воск среди цветов златой
Я бы с ними плыл
Над звездами гудящим парусом
И долго тяжко мед их лил дождем
В эти вязкие поля
Тогда земля бы стала кружкой
у протянутой руки

Но ты — какое серебро сам положил,
чтобы горело в тесный круг?
Какую рыбу кинул нищим в это масло
ради мук?

Ты это ты
Но только как ты отдал нам побег
святой древесный мост на берег
близости твоей?

Здесь был он взят и срезан сухо
Здесь меня избавь.

Третье вступление

К ВЕКУ

О, век тринадцатый, темна твоя на-
ружность...

Смердящий факт, что ты существовал

Не стоит веры: выветрен и сужен
 Его размер сомнителен и мал
 Ты иногда куда-то исчезаешь
 Издалека мерцая блеском чуждым
 Как лезвие веселого ножа
 Бегущего по звездам светлым краем.
 Ряд зримых форм, надетый на спираль
 Являет гроздь, которая свежа
 В ничтожной мере. — Мы ее съедаем
 А не клюем — ведь нет у нас пера —
 Мы не живем подобием чижа
 Трехкратно ложь, что мы напоминаем
 Пичуг, мечтательно крылами
 дребезжа, —
 Нас разделяет длинная межа:
 Мы прах ногой долбим, а не порхаем
 И кисть вина — увидим и глотаем
 А не жуем от птахи сторожа
 Гоня пришелицу мыча иль громким лаем
 В один прием всю ягоду едим. —
 Как реки трав тот век не повторяем
 Как древо рощи век неповторим.
 Иные зря моментом дорожат:
 Безвкусен ломоть мертвой атмосферы
 Как не гляди в гнусавую трубу
 В обратный телескоп четвертой
 меры —
 Мерцает глаз, проделанный во лбу, —
 А век невидим — он лежит в гробу
 Раскинув ус и выкатив губу, —
 Тринадцатый, темна твоя поверхность!
 А время — никакая не петля
 Подобное растит могильный вереск
 Скелет — венец берет себе земля
 Зубами сходств оскален влажный
 череп,
 И с колеса немного палача
 Летают к нам опилки и обрубки
 Обрывки снов, обломки звонких чаш
 (Покойник был умен и величав
 Дороден толст, но неширок в плечах)
 Все вторит бывшему, но только
 вслед за трупом.
 Я никогда наверно не пойму
 Бесплодных чаений сравнительных
 наук
 Взгляд в прошлое таит в себе
 ненужность:
 Невозвратим однажды спетый звук
 Стрела обратно не вернется в лук
 Неправда, что судьба нам делает
 окружность
 Не может быть что рок рисует круг
 О век тринадцатый, темна твоя
 наружность.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

ЮНОСТЬ АЛЬБЕРТА

Внук благороднейшего рода
 Альберт был в молодости туп
 Его четырехгранный подбородок
 Напоминал по виду куб

Валун вздымался образуя
 Лоб, неудобный для посева.
 Его влиятельные родственники
 Не выезжали из Женева.

Им было хорошо забросивши ребенка
 Сложить ответственность
 на старенькую няню
 Ей, дряхлой, поручить кормление
 и надзор
 Старухе набзной доверить
 воспитание.

А мальчик рос. Он рос и не умнел.
 По мере лет произрастала тупость.
 В пятнадцать лет он слова не умел
 Сказать, а говорил — так глупость,

Неленость, чушь, какой-то утлый вздор,
 Нес околесицу и строил рожи слугам, —
 Будь принц Альберт, узнай
 об этом двор, —
 Невинной бабушке влетело б
 по заслугам

Учителю придворный плох удел
 Лить воду в пень, чтоб зеленел талант
 Бревно инфант, — а кто не доглядел?
 И вот на плахе дурень гувернант

Святую женщину позвали б на вопрос:
 -- Факт налицо, наследничек — дубина,

Они бы довели ее до слез
 Хуля того, кого она любила

— Как Вы могли такого дурака,
 Такого олуха вскормить для
 властной роли?
 Она б рыдала, глядя в облака
 И плакала выглядывая в поле

И рядом с ней рыдал бы весь дворец
Король сморкался, был архиепископ
И тронут видом стонущих принцесс
Им Папа слал сочувственные письма.

Где мгла гнездо свила
Она вокруг парит
Плох тот фонарь
Который не горит:
Не различит он корень скверны
Вперед и вдаль взирая сонно...
Как бы то ни было, Альберта
Столь же способного и в той же
 мере склонного
Сколь мил соседу трубача
Его сосед с огромным дарованием
Не видя слез, не внемля оправданьям
В Париж послали обучать
Чтоб хоть с чего-нибудь начать
Но хрупкое орудие флейтиста
Не завоюет в руке врача!

HPABY

В те дни солдатский караул
Не мог носить рейтуз
Имея звонкий арбалет
На месте аркебуз

Тогда у многих нежных дам
Супруга злобный нрав
Замки на бедра запирает
Все чувства их поправ

Пучками сена окружен
Осел стоял красив
Свободой выбора прельщен
Как дева среди слив

И в самый Университет
Как заводили спор
Из чащи забежал олень
И вепрь ломал забор.

x x x

Есть критерий без условий
Знают герцог и стряпуха —
Мудрый лечит мягким словом
Глупый гвоздь кует для уха

Мудрый доктор мягкой речью
Рану бедную растравит
Дурень бьет поленом в печень
Мотылька коленом давит

Он ползет к нему нацелясь
Словно червь натуре в челюсть.

Был профессор суховат
 Как солдат душою прост
 У него из-под заплат
 Был едва заметен рост

Был профессор нравом крут
 Но давал заметный крен:
 Как бывало заприметит
 Переключных сирен

Он пристав на четвереньки
Громко лаял им вдогонку
Он любя эксперименты
Прямо к черту лез в солонку

Кто к хрящу стремится жаден
Для того ученье — праздник
Но Альберт был неудачник
И сказал ему наставник:

— Неспособные к науке
Бесполезнее собаки
Говорливее заики
Состоя с сорокой в браке

Безотрадная картина
Лучше б ты играл на спице
Бессловесная скотина
Что ты дрыгаешь зеницей?

Безрассудная затея
Все твоё образование
Если пусто в подземелье
Вон из храма в наказание

Поверни на восемь румбов
Рукоять в гнилом корыте
Хлопни пробка, лопни тумба
Говорят тебе: изыди.

Прочь, гряди, — такие зубы
Не для наших диссертаций
Выдь, Альберт, уйди отсюда
Сгинь под сень иных акаций.

Головой высоко поднят
Горделивый был профессор
Правда в маленьком объеме
Но с большим удельным весом

А всего-то четверть пяди...

От желудей удалась восвояси
Мальчик прохладной роднею
в Швейцарии

Не был укрыт в простыню утешения
Не был согрет под периной сочувствия,
— Мальчик, — сказали ему
по прибытии, —
— Ты уже взрослый, — воздушные
башни

Тучи на пастбищах, пену в угодии
Нам ли с тобою дробить в завещании?
Как будто не стоит, к чему же,
не правда ли,

Дробить опору майората
Таким искусственным барьером? —
И младший внук Большевских
графов
Избрал духовную карьеру.

В уединенный монастырь
Послушных братьев Доминика
Вошел он как прямой костыль
И как клюка главой поникнув

И псы Господни бесконечно
милосердно
Альберту дали самую несложную
работу:
Срывать ботву и ставить жерди
Опорой слабому гороху

Альберту было жаль ботвы
И настоятель разводил руками
Монахи разевали рты
И распускались лопухами

Но ликовал Альберт когда горох
Зеленой струйкой вился возле жерди
Чтоб не засох, он поливал горох
Покуда твердь не поливала жерди

А культивируемый выюн
Благодарил его приятным стуком
И шел к концу двенадцатый июнь
Как вдруг Альберт воспламенился
духом

Конец первой главы

Глава вторая

· С ФОМОЙ

Вставал Испанский полуостров
Концом Вселенной в бурной пене

Европа изнывала оспой
Изголодавшись населением

Происходило уменьшение —
Пример обратного прироста
Сопrotивление напрасно
И нет ни средства ни лекарства.

При полуграмотных ландграфах
На положении служанки
Наука в горестном припадке
Не подходила для приманки

Червь который для наживки
Зовет к уде в воде живое
Потребна облачная жидкость
Под легкой тучкой дождевою

Теперь под тучкой суеверий
Край мира стерся в черных брызгах
Мы лучше поглядим на зверя
Что ныне из Европы изгнан

Он не сопит по каталогам
Не грезит в лист классификаций
Вот мы его громоздким слогом
Украсим, ежели удастся.

ЕДИНОРОГ

В угрюмых толях заблуждений
Не зная собственных копыт
Согнув ужасные колени
Броней лжи стоит покрыт
Единорог — он скрыт от взгляда
И истины ему не нужно и не надо
Ему дана в отраду ложь
Вооружен одним лишь бивнем
Стоит он в толях недвижим
И на него случайным ливнем
Садятся бабочки и утки
Живым подобием цветка
А девушка глядит из-за пенька
Одетая в холщевую рубашку
Трепещет, поясок сняла
Чтоб уловить лесную пташку,
Чтоб скот с собою уволочь.
Ночь распласталась и легла
Уже вторая ночь...
Одной единственно девице
Пасти возможно эту птицу
Покрыт пороком, весь в трясине
Он перед девою бессилен.

А вот еще — другой породы:

ДРАКОН

По усмотрению народа
Змее даны крыла и ноги
И под названием Дракона
Она действительно такая
Когда махая перепонкой
Летит на трапезу героя
Который спит на барабанах
По имени святой Георгий
А конь его не вдалеке
Храпит, герой, — змея в восторге
Пасется там — неподалеку
Жует, присядет на пенёчке
Прекрасный вид имея сбоку.

х х х

Фома на двадцать лет моложе
Ходил не слушая команды
И все что кажется похоже
Повил старательно и жадно

Искал руководящий принцип
Постичь творения искусство
Он мир не полагал зверинцем —
Капризным сном того что пусто

А верил в стройность и порядок
Любил подсчитывать ступеньки
Ходил в ботиночках нарядных
И делал быстрые успехи

Все положения науки
В его главе вместились сланцем
Где много слов там чувства сухи
Он тоже был доминиканцем

В ушах не возвещенных к зову
Он поместил густое сито
Он был прекрасно образован
Гуляя обувью расшитой

Он был доминиканец тоже
Писал двумя руками сразу
Он был на двадцать лет моложе
Ходил не слушая приказы.

Ах, — в голубой красивой чашечке
Бурлила только часть напитков

ВЕДЬМА

Положи на ведьму крест
И она уйдет назад

Но кругом какой-то писк
По себе она оставит
Воздух словно бы нечист
Все бормочет, задыхаясь
Кто-то белый небольшой
Крутит лапкой с коготком
Из углов убогий свист
Раздается... Непокорно,
За окном не видно звезд
И случайный ветер гасит
Восковые огоньки.

х х х

Идут года, проходят дни
В себе не ведая коварства
А на поляне лупят пни
В кимвал растительного царства.

Конец второй главы

Глава третья

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

У сердца звучного стекла
Венец раздольных трав
Кружит по ветру семена
В цветах не тает град

И в упоении сойти
Между восточных плит
Течет гудение травы
К колоколам тетив

Слюды невидимой светлей
Горит зеленый след
То лесня падает к тебе
С колосьями на ней

Но не протягивай ладонь
Стань раньше нем и гол
И ты поймешь какой зарок
В зерно ее внедрен.

х х х

Раз в утомлении жердями
Альберт прильнул одной в тени
Как вдруг блестя пред ним крылами
Был так Архангел перед ним

Архангел был чудовищно красивый
И так и пылал свечой

И дверь над ним висела темно-синяя
А он гремел у пояса ключом

— Внемли, Альберт,— вещало Пламя,—
— Узнай, монах, впрягая слух:
Круги высот мы лили сами —
Другие смотрят через люк

Нам наверно иной критерий
Присущ, понеже мы иные
Войди, Альберт в златые двери
Войди в одни и в остальные

Здесь дурень ты, а нам — философ
Здесь ты болван, для нас — мудрец
Иной аспект с иным откосом
Иных зеркал отличный срез

У тех — утехой брильянты
Нам алчных рук отвратна вонь
Узнай, — ведь знание приятно, —
Про воздух, влагу и огонь

Раздвинь свои большие очи
Расправь ушей послушный рупор:
Путь постижения короче
Когда рука не мерит скупой

Нам мил в смирении занятий
Клонящий голову к траве
В противовес умнейшей знати
Что пальцем рыщет в голове

Нам простота твоя мила
Брось лейку, позабуй горошек
Взгляни, — блестят сии крыла
Иди сюда: их свод надежен

Там груши гниль — тут сам гранат
Здесь вечный сад — внизу огрызки
Скорей бери желанный клад
Сокровищ истинных и близких, —

Сказал и зашумел как ветер
Альберт проснулся и ответил:

— Любовь, конечно, к небесам
Горит во мне, горит
Хочу взглянуть, поднять глаза
Но с ними я не слит

Хочу взглянуть, поднять глаза —
Вздеваю кверху бровь

И ухо в ваших голосах
Не различает слов

С моей ответной стороны
Словесный высох пруд
Я слеп, а вы озарены —
И слезы вниз текут

Куда текут, — Я сам не знаю
Архангел молвил улетаю:

Любовь с надеждою должна
Присутствовать в сердцах
Но смысла нет, когда она
Заключена в словах.

Суждений правильный колпак
Вас отделяет от
Того, что веры лучший знак
Растущий среди вод.

Будь то латыни или гре-
ческого языка
Вся человеческая речь —
Иссохшая река.

Раз так — суждениям излишним
Я дам особенность и облик
И не коснуся этой вишни, —
Сказал Альберт. — Водой облит
Чтоб не стоять под этим душем
Что мед ушам — погибель душам
Пирог уму — для сердца кал,
Губе творог — отравы в печень
Хоть белизною он сверкал
От зноя в теле он не лечит
И утоленья не дает
Затем никто его не пьет
Не слаще мед — пусть даже с дегтем —
И Дьявол почесался когтем.

ДЬЯВОЛ

Господин приятных дел
Император новолуний
Ах, куда ты залетел?

Где наш пламенный игумен
Ты махнул крылами тощий?
За ручьем каких раздумий?

Где ты первый наш псаломщик?
Хитрых козлиц ловкий пастырь
Утонувшему — паромщик...

Где ты — повар бледной масти?
— Вон он, вон, порхает с криком
А кугом сухие слasti,

Вожделенная новинка
Драгоценный пирожок
С деревянной серединкой

Подрумянен хорошо.

Конец третьей главы

Глава четвертая

БОЛЬШАЯ КАРТИНА РАЙМУНД ЛОЛЛИЙ И ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Все круглое сродни рассудку
Ось силлогизму служит тестем
Золовка ей родная втулка
А вывод — как всеобщий крестник
Ободьям в чужедальном свойстве
С чекою верной неразлучен
Ум — заключительной повозки
Сам перводвигатель и кучер —
Глядит на нас навеселе
Семь раз вода на киселе.

Кто аналогию усвоил
Тому крещение не трудно —
Сказал себе Раймундус Лоллий
И заказал в Марселе судно

Дабы не слышать воплей близких
Раймунд на волны смотрит грозно
С ним концентрические диски
И свежееотлитая бронза.

Многозначительные цифры —
Резмигранты стран восточных
На зубьях пламенного цикла
Блистают впаиванные прочно

Конец блужданям сарацинским!
Непобедимое устройство
Аргументальным обелиском
Явить готовить крестоносно

Под орифламмой медный лик
На африканский материк

Но на лице пустынным шей
Под желтым бликом механизма

Лишь горделивая морщина
Как фанатическая вежа
И гнева праведного признак
Взамен улыбок благодарных
Виднелась после операций —
На этом долгожданном месте
Под взмахом длани варварийца
Раймунда отдавали в рабство,
Когда он не спасался бегством
От папы следственных комиссий.
И для спасения от бедствий —
Тут соплеменные купцы
Вскрывали холодные ларцы
Рукою алчной, ночью темной
Черпали злато горстью полной
Монеты тяжкие вертя
И нежелательно платя
За проповедника и брата.
Но Лоллий кончил плоховато
Огней не стоила игра
И Лоллий ясно это понял
Когда в Европе умирал
Тоскливых дней своих на склоне
От иноверческих побоев
При волнах средиземноморских

*Конец четвертой главы,
большой прекрасной картины*

Глава пятая

ТВОРЧЕСТВО

Альберт меняет облаченье.
Кипя и помня обещанье
Сорвал он вретиче, расстался с
рванью
И проворчав, лаская сучья
— Прощай! — неюценимому растению,
Окинул Запад. Там светило —
Центральный долг его еще не всплучи

К себе, вещая, уходило
И в естестве первоначальном
Гудело, сонное, печально
И, апое, победно тухло
Полкруга за борт завернув
Все это оком обернув
Альберт стопу направил в кухню
Там дабы нить с иглой добыть,
Дабы хитон иглой скрепить
И разукрасить средством нити
Колпак для будущих наитий

Посулам следственных небрежным.

Потом, уже края одежду,

Альберт кота усов промежду

Поскреб, швырнул его под печь

И молвил, миру в поперечь:

— О, Роза Вышивки! Не вянет
твой поклонник.

Обманом сыт — цветет доволен плут

В кармане пыль — стругает

подоконник,

Терзает деревце — конечно, он

разбойник

Но как с ним быть — позвать его

на суд —

Пустое дело высохший подойник

Сухарь во рту, неуголимый зуд

Предъявит судии оборванный ответчик

На срам коллеги на стол положит зуб

И ствол жезла поглотит опрометчив.

С кем говорить? О ком держать совет?

О Роза Вышивки, о Дева полусвета!

Свеча в горшке, печать на порошке —

Набор улик для полного бужа

Свидетель слеп, а лжесвидетель глух

Нем адвокат, судья косноязычен

Палач — он дремлет тут — без ног,
без рук

Залег в углу, а в глотке — кочерыжка

Он спит. Его чарует мандрагора

Дрожит с похмелья сила прокурора

У коего на праведной груди

Волнующая надпись: "Не суди"

Итак, начавши с праздных разговоров,

В твореньи взгляд пронизывает жест

Дождь лепестковый с плеском ритуала

Всевышний смысл процессии торжеств

Закутан в голубое покрывало

Но следом упражнению жреца

Содействуя движениям повторным

Возможно — покалечив деревца —

Цветы стихии оторвать от корня

И взяв растение ближе — как предмет

Рассматривая пристально снаружи

Легко слепить иль маску иль макет

Красивый гроб, поваленный и нужный

Квартиру вечную красавцу-каппуну

Пить по глотку пристало ль скакуну?

Есть, правда, лучший путь

для соисканий

Но вьется тропочка по самым граням
тайны

Над шлюзами водохранилища судьбы

Куда верблюду пять минут ходьбы

Но этот лев решил страдать от жажды

И ждать дождей прохаживаясь важно.

х х х

Взгляни как прыгает яйцо

Уроки трех начал

На лютне тонким голоском

Поет оно брэнча.

Земля тождественная суть

Желтку на толконе

Как торжествующий сосуд

Блаженствует во мне

Хрустальным шлейфом ветерка

Вокруг него и близ

Бежит эфир по бугоркам —

Пузырчатая слизь

Разоблачительный конверт

Натуры нескупой

Вам — ослепительная твердь

Мне служит скорлупой

Так лей, мудрец, в единый суп

Мой тройственный состав

Стремись, творение, к венцу,

Прильни губою к леденцу

Пересмыкая на уступ

Бесчисленный сустав.

х х х

Звезда ночей как яркий тигель

Пересекает небосвод

Уже в дыму соседний флигель

Альберт в котлы стихию лет

Под небом кухни воздух жаркий,

Кот шерсть встревожил, зарывав,

Шипит материя как шкварки

И пеною поит очаг.

Кот, создавши оругом бедных

Альберт из конюшне устроясь

Ругает Князя из-под бездны
Порочит серого Изгоя

Хулит Маркиза от колодцев
Сатрапов кроет замогильных
Помои льет на Полководца
Не размышляя как придется
В словах изысканных и сильных:

“Вот Клеветник прикусит губы
Соблазнитель втает хобот
Мы кобру выманит из ступы
Мы сцедим жабу из сироба”.

От речи образной и пышной
От сей прелюдии подробной
Состав в условии суровом
Бурля приподнимает крышу
И не сулит обратных возвращений
Как на попятный двор —
Первосвященник.

ИОАНН
(Легенда)

Пресвитер Иоанн
Чернее долгой ночи
Вошел в старинный чан
Провозгласил из бочки:

Я видел саранчи
Огромную ораву
С высокой каланчи
Налево и направо

Ползет ее отряд
Без радостных приветствий
Везде творя обряд
Предерзостный и мерзкий

Тревожить эту дрянь
Нет моего желания
Я ухажу во жбан
Сложив самодержавие

Холоп, носи печать
Бери суднук с медалью
Тебе я завещаю
И прочую регалию

Ты повар мой, прощай
Пусть нас потомок судит
Отныне запечатанный
Я почию в сосуде

Снимите, слуги, слой земли
Под плодородным дерном
И в яму огородную
Уйдет седой затворник

Внесите удобрение
И урожай удвоится
Я до поры-до времени
Намерен уединиться

И в пыльном одиночестве
Обняв охапку грусти
Засесть в лудильном зодчестве
И под укропным кустиком

Когда-нибудь потом
Я вновь явлюсь на вышке
Вечерним мотыльком
Ничуть не изменившись.

Забили в барабан
Но смолк во мгле окопа
Пресвитер Иоанн
Чернее эфиопа.

х х х

Искусству жертва иллюзорна
Но плавит жир треножник пользы.
И как художник вдохновленный
Разгладив мази пестрой полосы
Расположит на поле брани —
На тканном льне в пурпурной раме
Лоснясь коленом богомольца
Как поршень двигаясь неистов —
Поток текущий, рядом берег смежный
И охрой драгоценной маслянистый
Кругом ландшафт желтеющий
прибрежный
Осенний бор — медлительный пожар
Подует ветер — опадают листья
Готов шедевр. Он спрячет скипидар
И плюнув в земь огрызком
дивной кисти
Случайного расплющит комара —
Вот так же и Альберт, увидев что пора,
Подняв с огня посуду с пыльным
тортом
Метнул в кота заглушкою реторты.
Кот ахнул позабыв глагол
И поскакал в туманный дол
В глухую заводь, к тихой речке
Там когти в воду погрузил
И рыбка вышла на крылечко

Колыша веером беспечно
Без поплавка и без грузил.

х х х

Если погнать стихии клячу
По колее налево криво
Происходит неудача
Знаменуемая взрывом

Происходит неприятность
Она выходит на свободу
И не запречь ее обратно
И не загнать ее в подводу

Но отражаясь раз до сотни
Везде, где край в природе плоский
Она приплюснутым животным
Располагается на полке.

Вот если ей дать на выбор выход
Из для нее условий тесных
Она сама выходит тихо
Обретая облик женский

Она выходит тихо в залу
Безмолвно, молча и пассивно
Вторым страдающим началом
Но в нежном образе красивом

Вторым решением задачи.
И ей Альберт сказал ликуя в плаче:

О, Ева Новая — в искусственной
траве
Цветок Условности болотный
и несинный
Певунья чистая, мой зимний соловей
Молю, услышь мой репортаж
недлинный

Пока ут́ок мы зрим издалека
Над решетом в пустынном околотке —
Как опухоль мыслительная ткань
Питает чудище из человеческой глотки

Разверзши клюв из зоба смотрит
страус
Он гусь и в нем проглядывает гусь
Свой менуэт он пляшет наизусть
И правя шею в наивысший градус

Все топчет лапочкой воздушные луга —

Над тучкой розовой его нога.

Дерзание! Подстриженная птица!
Лишь обернись — увидишь — холм
не крут
Мишень чиста — нетрудно убедиться
И плачет лебедь в довоенный пруд.

А в мельнице, движимой ледником
У зернышка режим не одинаков
И цвет подчас бывает не таков
Какой сварил наследнику Иаков.

Что мне и что тебе цена полей?
Разделим град янтарною границей
Тебе нектар — мне горький сок корней

Тебе стоять — мне гнуться поясницей.

До самого последнего суда
Условимся: в членении труда
Ты будешь вместе мельница и мельник

А мне останется часовня и молельня
От хлева ключ я заберу в карман
В овчарнях наших кормят задарма.

Но опускаю аргумент
В докладе правильном и жалком
Она ему сказала "нет"
Елей пия с водою залпом.

*Конец пятой главы
И первой части*

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава шестая

ФОМА ИДЕТ

Суждений раб нелепых и условных
Чернь издавна терзает невиновных.
Разбита вазочка — поносят гончара
Сыреет стенка — звонкий
подзатыльник
Я потерплю проспавши до утра:
Заплесневел сердечный мой
будильник.

Цырульня вскрыта радостной толпе
Ей парикмахерская кисть лелеет щеки
Она торопится, ей хочется поспеть
А мне — храпеть, преодолевая сроки
Нас будит гром кукушки жестяной
Весною, осенью и летом и зимой

Большой завод на этом деле вырос
Высок над городом трубы его папирус
В нем скрыт секрет, хранит его конвой
И он вопит испытывая боль
Внутри его кипит неравный бой
Спешит народ под сень сооруженья —
Ужасный век; дурные пробужденья.

х х х .

Фома дремал в убогой келье
От мира запертый гвоздем
И Ангелы ему пропели
Незамедлительный подъем

Восстал Фома от сна разбужен
Нагнулся, вытащил сапог
Надел его как можно туже
Зевнул и вышел на порог

Зевнул Фома нахмурен бровью
И сделал в воздух первый шаг.
Мир, быв оштукатурен внове,
Лежал, невысохши во швах

Весь перелепленный из воска
Еще застынуть не успев
Весь благодатнейшая почва
Но страшен был весенний сев

Мир словно шарик в новой лунке
Сидел облуплен и умыт
Единственно в его рисунке
Чернели ноги от Фомы

И будто знак ненужный сорный
Меж благодетельных ростков
В эфире неся слепок формы
Под свист гвоздей и гром подков

Лучу естественной преградой
По отражении луча
Нога печать дарила взгляду
Двухместный отпечаток залуча

(И вмят в рассудок каменистый
Позднее призрак этот сможет
Дать знать на ком они повисли
И кто хозяин этих ножек)

А тень от возмущенной плоти
Ее злоеший негатив
Переливалась по природе
Владелицу опередив.

И мир при этом появленьи
Затмив свой незаметный срам
Нам осветил на умозренья
Одни узоры к сапогам

ПРАВЫЙ

Звезда сияла над Эдемом
Адам под деревом лежал
Звезда в глаза ему глядела
Его ресницами дрожа

Четыре холодные потока
Катили вниз хрусталь ночной
Четыре дивные итога
Они сводили за чертой

И сон Адаму снится чудный
-- Ну почему запрещен плод?
Вопрос казалось бы нетрудный
Но Он ответа не дает

Четыре дивные потока
В один сливаются поток
Над ними Серафим высокий
Ботинок держит за шнурок.

ЛЕВЫЙ

Сияет свет над Райским Садом
Над Райским Садом чудный свет
Господь гуляет в час прохлады
И видит, что Адама нет

Где ты? — Господь воскликнул стр
Где ты, Адам? — сказал Госп.
И вот со стороны потока
Ему ответствовала плоть:

Я наг, — донесся голос слабый
Я совершенно не одет
Меня смутил червяк лукавый -
Адама слышится ответ

Стоит он весь в прибрежной тине
В кустах на берегу реки
И завершением картине
Два беса тянут за шнурки.

Пошел Фома ступень ступенью
И с каждым шагом разбухал
Одной ногой в бадье сомнений
Другой — в ведерочке греха

День отступил под тем хроман

И обнажил в себе кристалл —
Храм с хриплым клювом пеликаным
На башне сбитого креста

Тогда роняя оперенье
Четыре трепетных шара
Внезапно устремились к двери
Дверь, хрустнув, выпустила мрак

Чертог раздался с гулом медным
Фома вступил за ними следом.

Глава седьмая

СОМНЕНИЯ

Его большая пятерня
Была большая шестерня

(Из описания)

К читателю

Читатель мой, чтоб сделал ты — отпав?

— Что до меня, то я б сменил окраску
Позеленел, потом нустился в пляску
Быть может стал трехрук или
шестиглав
Уж крылья были б у меня вне всякого
сомненья
Красивых два крыла и с медным
бубенцом
Танцор бы вышел из меня и ах,
какой танцор!

А так — так я далек от этого умения

Случись бы мне когда-нибудь отпасть
Я б загулял как набалдашник трости
Вонзил бы в рот мундштук слоновой
кости
И вставил зубы новые сапфировые
в пасть

Я б в небесах летал смакуя красоту их
Я б дев соблазнял знакомых по углам
Мяукал по ночам, а днем чревоуещал
И жен смущал к ним нагло адресуясь

И чтобы веселее было там
Где разум с естеством играют в прятки
Я б шпоры вырастил с мелодией
приятной

Зн̄ увеселительным местам

Читатель мой ты сходен с вечным
гусем:
Ощипанный но мил хозяйке молодой
Ты б попрекнул судьбу сковородой
А я бы пел, хоть голос мой и гнусен —

Лежи, лежи, проклятая руда
Не лезь, не лезь в вонючие плавильни
Без весел плыть уключина бессильна
Ах, где же ключ? — беззубая орда!

Вы кривитесь, мой друг, у вас
другая пища:
“Дождь за окном, в окне окна
квадрат”

Ищи — найдешь, а может вошь
отыщешь

Ты, миленький, ни хладен ни горяч
Так, кашка, подогретая с кефиром
Господь с тобой, иди родимый
с миром
А мы пойдем подпрыгивая вскачь.

ТИХО—ТИХО

Хор:

Тихо падает орех
Происходит смена веж
Посмотрите, наверху
Возле самой высшей точки
Видите какое рыло
Перекачивает тачки —
Очень медленно качается
Всем придется потрудиться
Кто-то воет, кто-то кается
Кто старается отбиться
Увернуться отскочив
— Нет, тебе мы не позволим
Приневолим и заставим
Мы одной породы тряпочка
Как бы лен и конопля

Голос:

Обладатели участков
Землеройные животные
По бережку капустный урожай
Соят к зиме и запасают впрок.
Шесть месяцев немалый промежуток
Холодный вклад раба-землеугодника
Гниет под валенком в бочонке
под скамьей

И зреет.
А с пришествием морозов
Колода треснет, обручи на кадках
Рассядутся, и выйдет зрелый дар
Старению солителя — в лоскутках
От дольных гряд кристальный
 корнеплод
Гирляндой инея повиснет украшая
На знаменитом дереве январском.

ЛАДНО-ЛАДНО

Xop:

Ладно врать
Ладно врать про погремушки
Видишь новенький народ
Он толпою у кормушки
Не торопится, жуёт
Комом-комом не проглотит
Кроме-кроме одного
Почему он не отходит?
Что-то долго он копается
Ну и сила в этом хоботе
Ну и туловище!
Слышишь, слышишь как он чавкает

Что-то ищет вроде стеклышком
В упоении проглатывает
Может репу, может свеклушку
Даже и не посторонится
Ни подойти не даст
Откуда он такой?

Голос: СКОПЕЦ В ОКОВАХ
(Сонет)

Я здесь один лобзаю прутья
Навек почти лишенный плоти
Напрасно: чаша не прольется
Как ни качай по перепутьям

И пусть теперь моя десница
Висит в кольцо подобно плети
Но тщетны цепи этой клетки
Ведь мир — действительно темница.

Струится вспять веселенький денек
Как дезертир из действующей рати
Вам нечего сказать ему в упрек

Он будет прав, когда ответит:
"Хватит!"
Ни гранулы стеснения не обрел
Ни скрупула бессилья не утратив.

Два голоса: ПРИЧУДЫ

Не видать глупей каприза
Ни во сне ни наяву
Что лежало было снизу
Нынче пляшет наверху

Пара ведьм мужского пола
Над природою парит
Их летательн. полость
Механически блесит

Люд ослеп от света ступы
Машет крошечной рукой
Улетели два суккуба
Утонули за рекой

А наутро — глянешь в запад
На обиженных полях
Там железный ходит лапоть
В ячменю и в журавлях

Глава седьмая не окончена..

Глава шестая (продолжение)

ФОМА ИДЕТ

Теперь Фома идет мудрее
Ему прозрачны эры знаки
Грядущей. Путь под ним чернеет
Фома идет и вянут маки

Шагнет герой — взлетает птица
Махнет ногою — крыса прыгнет
Он, может, рад остановиться
Да крыса тут, да птица крякнет.

Конец шестой главы

Глава последняя

БЕСЕДА

Рабочий кабинет монастыря.
Природной живности смутительным
оброком
Зверье опухшее колыхается в дверях
Трухую переполнено и мохом
Летучий эмбрион нетопыря
Паля в посудине вина
Пирует там голубоватым соком
В холодной скляночке у самого окна
Наверно там и мерзостно и сыро

Конечно жаль — малютка не подрост
Порхающее прошлое вампира
Превосхищенный алчный кровосос
Испуганно засовывает в складочки
Ручонки детские, старушечьи лопаточки
Прискорбный вид — на что ему
надеяться?
Над ним растений сплюснутые
образцы...

Вот челюсть. Травоядные резцы
Молчат о возрасте резанной
и съеденной владелицы
Но задних полуистертая кора
Есть явный признак, что была она не
молода
И много проса у нее на совести
Что никогда уже не сможет
колоситься.

Вот медная сковорода
След умершей овцы на ней лоснится
Но локон не сберег изменник-
медальон...

Костяк медузы, хрящ улитки
Подарок короля Годфри Бульон —
Изящный позвоночник содомитки
Картина — в полный рост евнух
(Коль нету трех — одно из двух)
И, наконец, — жемчужина собрания
Лев — извлечен посредством
ископания

Лев лыс, но взор по-прежнему —
янтарь
Слеза сосны на прибалтийских скалах
Возрождена кагану тленному в фонарь
Души, загубленной нежданным им
обвалом

Позднее вечность сделала его монахом
И стала тонзура где грива
И шкура — пергамент
Всего от него оставалась
Великолепная глава
И часть ноги.
И муравей в аквариуме ока
Чернеет ферзь — через медовый камень
Сквозь древний лед подсолончатой
зеницы

Видна членистоногая фигура
Свидетел, пережил свое заклятие
Окончен плач, а все трепещет кура
Мятется, «хлопчет, упорхнуть стремится».

А вон в углу альбертово создание

От рейнской дельты мастер-кружевница

Приняв наружность скромницы —
прислужницы
Горох нанизывает в сетчатое кружеве
В ковер болот трясинный заозерный
В упругих зернах прошлого узор
Раздор текущего и нынешнего вздор
В кошмар грядущего имеет
быть продернут
Рябинкой на прутьях можжевельника

Фома явился утром понедельника.

Фома:

О Женщина, послушай, мир —
прекрасен!
Взгляни в окно — увидишь небосвод
Он тверд, вместителен, по нем
гуляет скот
Телец, Баран, Козел с хвостом
и с пастью

Там Скорпион вершит солнцеворот
Чтоб лег препон весеннему несчастью
Южнее — суша залегла как плот
На ней средь плод-носительных
деревьев

Порхают обольстительницы в перьях
Различные туканы и орлы
Все прочие, достойные хвалы
Кто в чешуе — тот, значит, в водоемах
Кто в озере, кто в речке, не в пруду
Так в ручейке, а бор имеют домом
Мохнатые. Тут не ищи слюду
Слюды здесь нет, искать ее напрасно
Она в горах, где качеством алмазным
Прообразует блеск сулимых нам миров

И чтобы не томить тебя рассказом,
Знай, глупая, — из прочих даров
Мир этот лучше всех — кланусь
клюкой и плешью
А ты, уродина, себя горошком тешишь.

Женщина:

Когда я девушкой была
Ходила про меня молва
Что я хόдила по дрова
А я сидела дома

По мере дара и восторг

Разметан скирд, раскидан стог
Неровен час, ничтожен прок
Гори моя солома

Кому-то дар, кому-то стыд
Тому-то дай, тому прости
И хватит лысину скрести
Постой чесать в затылке

Мой скромный опыт говорит:
Когда солома догорит
Ты лучше в зубы посмотри
Подарочной кобылке.

ДАР УМБЕРТА

(Легенда)

Своей глубокой старости
Конец предвидя близкий
Отечество в опасности! —
Сказал Умберт Дельфинский

Куда-то вся-то катится
Да как-то все неправильно
Мне кажется не справиться
С печалью и с отчаяньем

На солнце и на месяце
Приметны язывы тления
Прискорбно и невесело
В природе и в правлении

По кромочкам нехоженным
Тропинок неутоптанных
Трава стоит луженая
Да медью переклепана

И бедная и скудная
Резвится по-язычески
Землица полоумная
Поганкой металлической

Да спицею не лакомой
Как будто на пожарище —
Царит Великий Вакуум
В общественном влагище

Казна моя миллиардная —
Пустыня непригожая
Корона фамилиарная
В Ломбардию заложена

Везут ее на палубе
Вдоль берега Эритрейского

А выкупа выскабливать
И некому и не с кого

Дружина в Лотарингии
Придворные в Бургундии
В Нормандии священники
Законники и судии

Их стон о беззаконии
Их вопль о правосудии
Наивная рапсодия
Распаду плодородия

В слезах, смущенный, розовый
К границам меркнет пяткой
Мой выморочный подданный
Предчувствий полон сладких

Но в новой Вавилонии
В краю надежд на лучшее
Ах, по любимой родине
Тоска его замучает...

Всю эту мерзость запустения
Всю эту прелесть умирания
Племяннику — наследнику
Я опускаю в завещание

Атласного пергамента
Отмытая страничка —
Дарственная грамота
Французскому кузнечнику

Огромной территорией
Пусть правит с полной мощью
И двигает историю
Куда захочет

Гуляет где-то козочка
Китаец машет косами
Прощай моя повозочка
С двенадцатью колесами.

Так пел воркуя сладостно
Король Умберт Дельфинский
Отечества опасностям
Конец глаголя близкий.

И ей в ответ Фома промолвил тихо:

Кустарник ли зацвел, возвратное ль
светило

В плотину неба впаивает хрупкий рог
Урчит ль выпь, журчит ли ручеек —

над всем что есть — от месяца до цапли
Закон нужды занес сухие грабли
В пруду творения — от берегов до дна
Причинность в нем злодействует одна
Так выткано — и не бывать иначе:
Необходимость в храме хлеба значит
И царствует и варварствует всласть
И точно — ощущая эту власть
Куст производит жалкие цветочки
Светило смутное, дойдя до крайней точки

Катится вниз по серенькой строке
Рога во лбу, копыта на ноге
Клюв роговой, клыки перерыве
Так называемые клейма роковые —
Все виды принудительных узлов.
И вот услыша натуральный зов
Цветок дубовый в желудь затвердеет
Зазеленеет, осенью зардеет
Тягучий шлейф оставит сонм комет
И черепаха каменный колет
Бывает нищей братии предложит,
Посмотришь — двести лет,
а платье то же
Подъемот гад ороговелый глаз
Все твердое погубило для нас.
Взгляни на улей — кладбище нектара
Ты знаешь, пед — ведь это труп от пара
Хрустящий иней — воздуха скелет
Не правда ль — “да” властительному
“нет”
Приходится двоюродною внучкой?
— В строении понудливом и скучном
Мир вечно б мыкался по собственным
задам
Но не затем наш батюшка Адам
Обрел такой великолепный образ
Чтоб на призывный вопль
вербовщика...

Ну вот и все. Довольно слов.
Умберт — подумашь Иов
Ведь адамит, хотя свободен
Но с небом спорить не пригоден
Здесь пользы нет
А впрочем он свободен:
Увидит, выберет, возьмет и унесет

И не отдаст, обратно не отдарит
Умрет осел, но дева сливу сварит!

Женщина:

Плывут в степях наивной веры

И в странной форме речевой
Неевропейские примеры
Веселой мысли кочевой

Нам безотчетны их желанья
Должно быть скрытые в крови
Искать предметы для жеванья
И простодушных форм любви

Там нет ни споров ни дискуссий
Их жизнь казалось бы пуста
Но легкий пух степного гуся
Порой пятнает их уста.

ПСОГЛАВЕЦ

Легкий смрад повис над полем
Свора кажет небу морды
Общество трусит на падаль...
Что ему? — Он встал поодаль
Грустен он — потоки скорби
Волны черные печали
Непроглядны, непритворны
На челе его застыли
На груди его — медали
Позади его кобыла
Хороша и без рессоры

Только влево и бесстыдно
Каждый глаз его косится
Совершенно очевидно
В каждый зуб его вместится
Чем в листаньях **Августина**
Боле сладостного смысла
И иной домашней птицы
И других таких гостей
Досвершить б постараться

Но и ему случится гнаться
Цифры ног своих удвоя
Чуть вдали завидит зайца
С человеческой головою.

Интермедия

НЕМНОГО АЛЬБЕРТА

Альберт молился. Ворон -- вечер
Седнал губительный намест
Уже задаток увечьям
Все глубже свой багровый жезл
Топило солнце. В латной жести
Звенело все и засыхало
Вотще луна бессильным жестом
В округу сербро плескала

Напрасно западный вулкан
 Еще клубился и пускал
 Латунных птах над горизонтом
 Они струей пурпурной помпы
 Кружились, сыпались во прах, —
 Недолог век латунных птах
 Прекрасное недолговечно
 Ужасный облик многих женщин
 Костяк под юной грудью дев
 Свидетельствует, что удел
 Их доля, часть их равнозначна
 Судьбе кузнечика: невзрачный
 Он небо ножками куёт
 Но час придет и он умрет
 Вообще закат подобен смерти.
 И тут-то вспомня об Альберте
 Когда он с пузырьком души
 Взлетал, — Сова к нему спешит
 И прямо в черепа оправу
 Чтоб не рассохлась кладезь браней
 Вливает чистую отраву
 И кажет голову баранью
 И ртутный берег боронит
 Альберт устал, монах храпит,
 Но птица сна его не дремлет
 Державу призрачную емлет
 Когтями студень шевеля
 Она к альбертовой купели
 В хрустальный куб эфирной трели
 Уже Верблюда привела.

ВЕРБЛЮД

Ходил Верблюд страной стеклянной
 И над текучими холмами
 Над ним носился звук протяжный
 Колоколами
 И надпись: "Это зверь продажный"
 На голове его пылала
 Качель ноги многоэтажной
 Копыто подвигало
 И восемь звезд лучами влажных
 На бороде его светились
 Пятнадцать слез как звезд алмазных
 На рамена его струились
 И сохли на седой груди
 Губа висела впереди
 А в буйном чреве непорочнем
 Зеркальный бился подорожник.

Глава последняя
 (окончание)

БЕСЕДА

Женщина:
 Василиск

Последний зверь, но он —
 Первоисточник
 Встает в волнении неисчислимых ок
 Не властен быть вдвоем суровый отчим

Дрожащий каплевидный водосток
 Трясение едва заметных точек
 Озноб материального чуть-чуть
 Куда-то налитого между прочим —
 Его многозначительная суть
 На неопределенно долгий срок
 Он осужден вершить вселенский ритм

И колебать наш сумеречный ряд
 Чтоб свет перелетая плыл неслитным

Издаেকে рубиново пернат.
 И в колыхании млечной ленты
 И в утреннем дыхании травы
 Пульсирующий Первоэлемент
 От размельченной синевы
 До диадем усаженных павлином
 Он самый главный, самый первобытный

Согни бедро перед таким вождем
 И сам перед трепещущим вельможей

Благодаря которому ты ожил —
 Чьим только всплеском мир
 первоорожден
 Нет ничего помимо этой дрожи
 Никто — один в конце мирской вожжи

Фома:
 Но все же бродят розовые дрожжи,
 Однако пена все-таки дрожит!

Олень я был, а ныне вепрь я
 Не лось не лань — теперь я хряк
 Кубан ухмылкой неприветлив
 Иуде кормом неприят

Тут постуча двойной стопую
 Но жвачку боле не жуя
 Он власть утратил над собою
 Он взвыл, он взвился на нею

Рассудка роги ринул оземь
 А на дворе уж стыла озимь.

ТУРНИР

Забудь копые кого кололо
 Буди река кого топила

”Брахия Калан-Дар” — одиннадцатая глава большой вещи, скорее — романа, с условным названием ”Пленники долгой ночи”. Лет десять назад я принялся собирать обширный материал ради блеснувшей на ум фантастической идеи — группа евреев из Бухары идет пещерами, через множество стран в Иерусалим. Год назад материал родил собственный мир и вещь тронулась. Дай мне Бог силы и страсти довести это дело до последней фразы.

АВТОР

БРАХИЯ КАЛАН-ДАР

За окнами моей палаты гудит непрерывный ливень, сплошные стены дождя висят в воздухе, настоящие водопады, — гудит и льет, гудит и льет. Там, за окнами, простирается к дальним холмам глубокая плавная долина, стоят высокие зеленые кипарисы. Эта долина и этот стройный красивый лес давно насквозь промокли. Ключья тумана цепляются по утрам за острые макушки деревьев, всплывают к низкому небу и рвутся, а ночами я слушаю, как грохочут громы, как сверкают молнии и ветер с воем швыряет дождем по стеклам.

(Отрывок из романа)

Я ворочаюсь под одеялом, пытаюсь забыться сном, — передохнуть от кошмаров и галлюцинаций, унять в себе дикий страх.

В воспаленный мозг долбится одно и то же: "Все уже позади, все кончилось, говорю я себе. Пора готовиться к чему-то новому, Иешуа!"

Такие странные февраль, такие мокрые, тяжелые зимы! Глядя на мою хандру, доктор Ашер заметил, что бывает порой и снег в Иерусалиме, и если мне повезет, сказал он, может статься, что я увижу и снег. И вот я рисую эту картину всю в белом — мой лес, долину, холмы за окнами...

К черту, Иешуа, к собачьим чертям! Сегодня с утра чего-то наконец проклюнулось! Очень отчетливо я увидел их всех. Увидел там, словно живых, — в том мире. Их там так много, а здесь со мной нет никого. Я один, совсем один! И понял — пора готовиться к переселению, чистить себя. Чистить не только за эту, а за все прошлые жизни, чтобы ближе быть к моему учителю. Даже воскрешение из мертвых, говорил ребе Вандал, даже воскрешение из мертвых не должно застать человека врасплох, не говоря уже о простой смерти. Такие вещи порой толковал он мне, в такие сферы мы с ним забирались.

А покуда что ночами приходится очень тяжело. Нынешней ночью я полз в непроницаемом мраке бесконечных пещер, все влекся и влекся в Иерусалим по скользким и липким камням. А проснулся — ящерицей, как и был во сне... Вижу бегущие по стеклам струйки, слушаю ливень, помаленьку постигаю истину. Взгляд мой упирается в окно, а на душе все светлеет и светлеет. Я вспомнил об одной притче, рассказанной мне ребе Вандамом.

"...В одной местности появился вдруг змей. Выползал он по норам из норы и всех жалил. И как за ним ни охотились, не могли его подстеречь и убить. А люди гибнут, старики и женщины, мужчины и дети — безо всякого разбору. Поднялась паника: что делать? Пришли к праведнику в соседний город. Выслушал праведник их беду. Ведите, говорит, меня к той норе, покажите, где змей ваш прячется. Пришли к норе, обступили кругом. Праведник разулся и сунул змею босую ногу. Ужалил его змей, да и сам издох. Вытащил его праведник из норы, бросил людям под ноги. Видите, говорит, не яд, а грех губит! Грешны вы были, вот и мерли от гада. Чем же вы согрешили, подумайте!?"

— Ашильди звали его, Ашильди! — доказывал я доктору Аше-

ру. — Этим именем называл его мой отец, разве могу я спутать!?

— А может, все-таки Брахия? Нет у евреев подобных имен, что за имя диковинное!?

— А Рошэль слышали? — горячился я. — А Очилад, не угодно ли?

— Нет! — хохотал доктор. — Сроду таких не встречал!

Тогда я успокоился, как умел объяснил.

...Давно это было, еще в начале века. Барон Ротшильд прослышал, что где-то в Средней Азии, между пустынями, в степях и песках, живет община евреев, и бедствуют в нищете и невежестве, а тамошний эмир ужасно их притесняет. Был он великим филантропом, барон этот Ротшильд, человек добрый и скромный. То ли сам он в Бухару приезжал, то ли эмиссары его у нас орудовали — в точности утверждать не берусь, а знаю только, что жизнь у наших евреев удивительно быстро поправилась. Быстро настроили синагоги, пооткрывались ешивы. К раввинам нашим понаехали европейские ученые, купцы от нас в Париже показались. Словом, дела задвигались, закипели: бедные семьи перестали сухую лепешку грызть, да чаем пустым запивать. Мало того, — многие молодые поехали в Европу учиться в университетах, на деньги того же барона. А именем благодетеля стали в Бухаре нарекать младенцев. Кто как мог, так это имя и произносил: Рошель, Очилад, Ашильди — вот и вся разгадка! Кстати, если наткнетесь на человека с фамилией Пилосов, или Филосов — этот тоже из наших, шибко умный, значит. Из тех, кто те самые университеты кончал.

— Послушайте, доктор, а может, он имя себе поменял? Может, Брахией тут заделался? Проверьте, это же очень просто проверить!

Потом возникла еще проблема: а не устроить ли свидание в кругу семьи? Прямо в Бухарском квартале, в теплом, как говорится, семейном гнездышке? Но сразу это отпало. Из-за дождей и сырости, слабого моего здоровья. Любой сквозняк, решил доктор Ашер, запросто может меня угробить, нечего торопиться, нечего рисковать. Лучше пусть дядя сюда приходит.

От приборов меня отключили. Искупали в ванной, побрили, причесали. К визиту Иланы меня точно так же готовили, помнится. О, этот злополучный визит, о неудача! На сей раз я сумею взять себя в руки: о чем бы с дядей мы ни толковали, каким бы воспоминаниям ни предавались, — он сразу должен меня признать, должен объявить это доктору Ашеру: кто я таков, да откуда явился.

Черт побери, пусть наконец рассеются у них все сомнения! Только бы это не позабыть!

Я сидел в кресле и вырезал ногтем большого пальца портрет Ибн Муклы на яблоке. Когда я нервничаю, то беру яблоко и вырезаю на нем всякую всячину, а если нечем руки занять, то печень у меня от волнения увеличивается, как у верблюда. Вырезать на яблоке я научился в медресе, там многие этим увлекались. К визиту дяди доктор Ашер притащил огромный поднос с фруктами. Этот поднос, похвастал доктор, достался ему по наследству, очень старинный, чеканный медный поднос.

Взглядом, полным удивления и восхищения, он следил за моей работой.

— Ловко у вас получается!

Даже в медресе многие поражались моему искусству. Развлечения ради я мог вырезать на яблоке красивый орнамент, картину или чей-нибудь портрет, да так быстро — буквально за час! Иным такого и за два дня не сделать.

— Это яблоко старое, доктор, кожа недостаточно тугая. И рыхловато. Мне бы свежее, сочное, тогда бы я с удовольствием и ваш портрет нацарапал.

Он взял из моих рук яблоко — поближе разглядеть.

— Я и вижу тут чей-то портрет, и надпись какая-то по арабски!

— Это и есть Ибн Мукла! Вы его, доктор, не знаете, вы его попросту не можете знать, а то похвалили бы за сходство. Я мог бы изобразить его в мундире, хотя ни разу в мундире его не видал, мог бы нарисовать на него же карикатуру, и это тоже доставило бы вам удовольствие! Ах, какой же я был кретин! До чего же быстро сломался!

— Он крепко вам насолил, я понимаю! Стоит вам вспомнить Ибн Муклу, вас прямо-таки колотит. Зачем предаваться мрачным воспоминаниям? Скоро ваш дядя придет, успокойтесь!

— Ах, доктор, мое предательство ни днем, ни ночью не дает мне покоя! Господи, что я наделал? Я под портретом знаете что написал? “Двух вер не наследуют!” — древняя поговорка шиитов, подчерком Ибн Муклы. Кажется, все на свете я бы сейчас отдал, только полюбоваться бы на его рожу, когда ему сказали, что я уже здесь, в Иерусалиме. Отдал бы самое дорогое — мой пергамент! А дороже его у меня ничего нет...

Доктор Ашер кинул яблоко с портретом в кучу бананов на подносе.

— Глупости, перестаньте грызть себя, дорогой Калан-дар, вы уже здесь, и баста! Ну что, что вы там предали? Все навеки схоронено в подвалах Мири-Араб, никто никогда об этом и не проведаст. Если б вы только знали, какие злодеяния простил Израиль своим сыновьям! Израиль всем и все прощает. Своим походом, своим подвигом беспримерным вы все искупили.

— Воля ваша, доктор, но много вы не услышите! Могу лишь похвастать — в начале этой истории я выгляжу вполне достойно, эдаким шустрым петушком. Году в семидесятом, как вы помните, откидывает вдруг лапти их нежно обожаемый вождь Гамаль Абдель Насер. На всем медресе черный траур, траурное собрание в читальном зале книгохранилища Китаб Аль-Байян. Ну и я тут, естественно. А Иешуа Калан-дар умер, как вам известно, вместо него появился Ибн Амид... Не приведи вам Господь, дорогой доктор, услышать то, что я там слышал. Какой тут к черту Ибн Амид — все из башки испарилось! Гляжу я на этих тихонь мулло-бачей, студентов медресе, и разом прозрел: да это же головорезы будущие, убийцы и бомбометатели! Вот их зачем тут собрали, этих сироток-палестинцев! Тяну и я руку, и я хочу выступить. Я бы в жизни себе не простил, если бы смолчал в тот вечер. Наконец заметили, и просят пройти к сцене, к портрету Гамаль Абдель Насера. Иду и думаю: ну и влуплю же я вам, ну и скажу!..

Доктор Ашел извлек тем временем из кармана записную книжку, куда все обо мне записывал, книжку в голубом коленкоре, и принялся что-то строчить. Я с увлечением ему рассказывал, а он меня и не слушал.

— Чего вам вздумалось вдруг писать? — возмутился я. — Вам вовсе не интересны мои воспоминания, так уж прямо и скажите! Человек решился поведать самое сокровенное, а вам на него плевать?

— Продолжайте! Пожалуйста, продолжайте! — взмолился доктор. — Вы ведь даты называете, к вам память возвращается! Сколько же вы шли, давайте прикинем!? Сколько ваш поход продолжался?.. Нашли вас в пещере Харитун после войны Судного дня! Что же получается: три года!

Печень у меня сразу вздулась. Я даже подскочил с кресла.

— Как вы сказали? Война Судного дня? Что это за война такая, я ведь ничего не знаю!? Расскажите же, ради Бога! Почему все от меня скрывают?

Доктор Ашер страшно смутился, обмяк как-то разом, лицо

его сделалось невыразимо печальным. Потом забарабанил нервно пальцами по столу, зашаркал ногами виновато.

— Да, мы вам этого не сказали, боялись излишних у вас волнений. И визитеров ваших предупреждали. Ну что же — проговорился! У нас тут война была, жестокая, с тяжелыми потерями. Но мы ее, кажется, выиграли... Ох, дорогой Калан-дар, нелегкое предстоит вам свидание! Будет лучше, если заранее все рассказать. Понимаете, несколько месяцев назад, в самый разгар боевых действий пропал без вести родной сын вашего дяди, командир танка, офицер Иешуа Калан-дар. Одних с вами лет, и, как видите, с точно таким же именем. И надо же — такое трагическое совпадение! Попробуй нарочно придумать — никто не поверит! Полагают, что он убит... После ночного боя, на северном фронте, плато Голан.

Я вздрогнул, когда он вошел в палату. Когда ввели его, все у меня замутилось. Родной облик, родные черты: "Отец, ты ли это!" — едва у меня не вырвалось. Теперь я знаю, догадываюсь, именно этот возглас готов был у него сорваться: "Иешуа, сын мой!"

Он был облачен в шерстяные просторные шаровары, какие носят обычно старики в Бухаре, заправленные в рабочие сапоги, на голове — голубая бархатная тюбетейка, а в руках — ореховая палка, тяжелый посох.

— Дядя Ашильди? — спросил я. — Не так ли? Я сын Нисима, вашего брата, сын Нисима и Ципоры! Привет вам из Бухары! Не молчите же, дядя, скажите чего-нибудь!

Старик молча ко мне приблизился, грузно переставляя ноги. Принялся в упор разглядывать каждую черточку моего лица. Мой рост, фигуру.

— Быть может, вы забыли фарси? — снова начал я. — На каком же языке вам легче, на иврите? Ну и прекрасно, доктор Ашер как раз к нашим услугам. Я пешком оттуда пришел, как и вы, только вы поверху шли, а я — низом, пещерами большей частью. Не молчите же, дядя, будет вам меня изучать! Скажите доктору, что я — это я, а то они голову себе ломают, никак не поверят, что я под землей пришел. Меня и шпионом уже арабским обозвали, и террористом, и черт знает чем!

Весь напряженный, дядя молчал. Наконец, отставив в сторону палку, он взял в обе свои ладони мою голову. Я ждал горячего дядиного поцелуя, объятий, но нет, старик не спешил. Лицом я

почувствовал шершавость его рук, подумалось: и этот лудильщик, как и отец! И грузно ступает... Грыжа паховая или геморрой. Это у нас наследственное, до чего же все сходится! Весь белый, седой... Горе сломило, я понимаю!

Старик ощупывал мой затылок, тяжело сопел мне в лицо, борода его щекотала мне щеки. Он обратился к доктору Ашеру:

— Он в голову нигде не ранен?

Он спросил это на фарси, и мне значительно полегчало: выходит, он все понимал, что я ему говорил. Голос у дяди был густой, но с надрывом, выдававшим душевные муки. Понял ли он, кто я на самом деле?

Доктор Ашер тем временем кусал себе губы.

— Господин Калан-дар, это не он, не ваш сын! Он же сказал — “сын Нисима и Ципоры, из Бухары”. Вы же слышали, он пешком пришел, из Бухары, пещерами! Ну и что, если тоже Иешуа, если похож на вашего сына, бывают ведь совпадения! Поверьте, сын ваш еще отыщется, сирийцы обещали дать дополнительные списки пленных, быть может, он у них!?

Жадным рывком дядя прижал меня к груди.

— Сын мой! — со всхлипом вырвалось у него. — Ты был контужен, все позабыл! О, мальчик мой, они хотят отнять тебя у меня! Ты так рвался домой, в Иерусалим! Шел пещерами от самых Голан!

Разомкнул объятия и снова впился в меня глазами.

Плохи твои дела, Иешуа, с ужасом понял я, бедный старик совершенно свихнулся! Все ясно, все кончено. История повторяется! История другого несчастного старика — Авраама Фудыма... Нет, рано сдаваться, может, все еще можно спасти!? Старик Фудым — это одно, а дядя Ашильди — другое! Надо за себя бороться, развеять его заблуждение едким сарказмом и фактами. А факты у меня ой какие! Из моей и его жизни. Пусть же послушает!

Все трое мы продолжали стоять на ногах.

— Садитесь, дядя! И вы, доктор, садитесь!.. Конечно же я был контужен, — развел я руками, прикидываясь полным идиотом. — Раз десять, а то и больше! Вспомнить хотя бы лечебницу, и ту врачиху в белом халате, а я — голый по пояс, и весь в синих кружочках, точно букет сирени: полная контузия, шок на всю жизнь!.. Ей страшно хотелось заполучить меня для диссертации: такой славенький пациент — не алкаш, не гашишник, гибкий, рельефный позвоночник, полных четыре креста! Или тогда, в Чор-Миноре, когда Авраам Фудым придавил за нами тяжелые деревянные во-

рота старинной крепости, и мы пошли, и я Асю увидел!? Где, у ребе? И возле Торы будто дубиной меня шарахнуло, и я блевал у ног ребе. Контузия высшего класса, первого сорта, честное слово, дядя! Вспомнить еще? Вот вам еще: зимняя ночь, кабинет Чингизова, парочка чекистов, и мне вдруг объявляют Станислава Юхно, дескать, я убил его! Ну, что вы на это скажете? После сна, на раннем рассвете, прямо из ямы — и бац! — разрыв снаряда, взрывная волна, головой о камень! Возводят поклеп: преднамеренное убийство, а я человека даже в глаза не видел... Располагайтесь удобней, дядя, у меня для вас уйма историй, и все они с шоком и контузией, как раз то, что вы ищете! Вот яблоки, груши, бананы — угощайтесь! Представьте себе фарфоровую пещеру в зоне подземных ядерных испытаний, вся она сияет каким-то неземным светом. И голубой кристалл из страны Тевель — двуглавая женщина неопикуемой красоты, и все наповал — Ася в обмороке, ребе — спятил, Дима Барух и я — в контузии наповал, и только старик Фудым очнулся. А почему он очнулся, спросите вы!? Да очень просто — потому что из безумия нельзя впасть в безумие, а совсем наоборот. Или там, в горах Курдистана — русский бомбардировщик на нашу зенитную батарею, МИГ-19, и все, и я один, и нет никого... А где они все? Не знаете? А я вот знаю — на том уже свете! И снова в пещеры, пергамент за поясом — в Иерусалим! Ящеркой, ящеркой... Нет, не вспомнить, рано еще! Но вспомню — все, что было после шейха Барзани и полковника Галили, непременно вспомню! А уж за контузию будьте спокойны — до самого Харитуна контузия! А знаете, дядя, когда еще у меня шарики за ролики зашлись? В бане, на крыше... Помните крыши в Бухаре: горбатые, каменные, а меж горбами дорожки с сиденьями!? Так вот, банный был день у мулло-бачей медресе, а я привычку имел — после парной на крышу выскакивать. Ночь была темная, ни луны, ни звезд, слышу, на том конце крыши шепчутся: "О, любимый, ухо мое любит прежде глаз!" И ерзают один у другого на коленях, голенькие, намыленные: великий Ибн Мукла и Хасан ибн Хасан, который из Сирии, палестинец... Вот вы, дядя, Ибн Муклу не знаете, даже не слышали о таком, а он зато — все о вас знает! Странно, не правда ли? Кишки мотал... из меня. Устроил мне Ибн Мукла малюсенькое испытание: тут нажал, там пригрозил, а я и сломался, все святое предал!

Вспомнив допросы, "диван аль фадда" и Ибн Муклу, я снова расстроился. Дядя слушал мой бред, сузив глаза, без тени сомнения, что я и есть его сын. Мой монолог, к сожалению, никак на него

не подействовал. Больше всего на свете я завидовал сейчас его сыну. Танкист, офицер, воевал во имя Бога нашего, во имя Израиля, а я что — дерьмо собачье, ничтожество. Пусть он погиб, я бы с удовольствием поменялся бы с ним судьбами! Такая героическая жизнь, такая достойная смерть! По какому праву пришел я сюда? Что за наглость настырная была соваться в Иерусалим!?

— Скажите, дядя, вот вы, когда в Палестину бежали — тоже чего-то предали? Не может быть, чтоб не предали! Мы ведь с вами один и тот же путь проделали, с разницей, правда, в пятьдесят лет! Только вы — поверху, с басмачами, а я низом, пещерами да пещерами. Одни и те же страны прошли, одни и те же реки... Хотите, напомню, как это было? Почитаю немного из пергамента? Вот этот отрезок хотя бы, между Аму-Дарьей и внутренним Афганистаном, хотите? Паромная переправа, отары овец, Калан-паша с басмачами, хотите?

Дядя по-прежнему был глух, что-то свое тяжело переваривал. Стол находился вплотную с креслом. Я протянул руку и взял пергамент. Развернул на коленях.

— Ну что, слушаете? Значит так: "...В сем месте обитают свирепые люди, имя им ракка. Люди этого племени обвязывают голову путника огненно-красной тряпкой и кладут под нее навозных жуков. Через час жуки прогрызают череп и убивают несчастного. А еще они отправляют на тот свет казнимого посредством перетягивания мошонки, или же затыкают нос, рот и уши и нагнетают насосом воздух в легкие, затем вскрывают височные вены, и кровь со свистом бьет из человека фонтанами. Люди племени ракка ежедневно поедают лук, это сделало их слабоумными, они видят вещи не такими, какие они есть на самом деле. Много достойных и знатных путников волокли они на ад полуденного солнца, покуда голова несчастной жертвы не уподоблялась кипящему котлу, руки перетягивали пеньковыми веревками, которые перерезают мышцы, подвешивали на крюк, как бурдюк с маслом, и били палками по голове. К тому же они имеют наглость вымогать у истязуемого деньги".

Глубокая каменная лестница с крутым опасным разбегом вела вниз, в гнездо Ибн Муклы. Там внизу горела голая вечная лампочка, всегда слышалось оттуда пение перепелки или синицы. Ибн Мукла обладал редчайшим талантом — невероятно искусно

чирикал, подражая певчим птицам. Брал в рот лепесток розы или тюльпана и целыми днями заливался в своем подвале.

Я побренькал медным кольцом о резную дверь, пение разом прекратилось.

— Мир вам, амаль! — был почтенный поклон. — Мир и благословение Аллаха!

Он выплюнул лепесток, лениво помахал мне рукой.

— Мир тебе, Ибн Амид, мир и благословение! Давай входи!

Душа во мне трепетала. После дурацкого выступления на траурном митинге со дня на день я ждал приглашения Ибн Муклы в "диван аль фадда". А он как будто и не спешил, тянул целый месяц. Под конец мне стало казаться, что обошлось, пронесло, сам забывать стал, но тут принесли яблоко с почерком Ибн Муклы "Двух вер не наследуют!" И все понял. Таков был обычай "диван аль фадда" — яблоко с надписью. Фархаду перед посадкой тоже яблоко прислали, не помню, правда, с какой надписью.

Кабинет Ибн Муклы до крайности поразил меня. Я ожидал увидеть лабораторию со специальными устройствами для чтения и расклейки писем: проекционные аппараты, колбочки, спиртовые горелки. Словом, черт-те что я себе придумал! Огромный письменный стол, за которым сидел он в кожаном кресле, был сплошь накрыт крокодиловой шкурой, настоящей крокодиловой шкурой, а хвост, лапы и голова с оскаленной пастью были распластаны на полу. На стенах же, обшитых деревом, висели ляганы усто Ибадуллы из Гиждувана. За этими ляганами охотились в последнее время ценители. Форменное помешательство творилось с ляганами усто. А тут их был целый музей.

Я присел за крокодиловый стол, пораженный невиданной шкурой, положил на нее ладони, поглаживая чешую.

— Братство наших дней подобно супу отличного повара! — начал Ибн Мукла и тоже положил руку на шкуру. — Суп этот варит Аллах, поэтому он так прекрасен!

— Хвала Аллаху! — смиренно отозвался я.

— Аллаху хвала, тысячу раз хвала! Медресе — котел, и в нашем котле чего-то вдруг засмердело...

— В тот день была жара, амаль! — вскинулся я. — В день траура был ветер пустыни... Ветер пустыни замутил мой рассудок! Каюсь и сожалею, готов у всех просить прощения!

— Ты это пока оставь, Ибн Амид: "раскаяние", "ветер пустыни", ты не вилай, не путай! Отвечай, кто послал тебя на это гнусное дело?

На шкуре лежала стопка чистой, белой бумаги, предназначенная для записи допроса. Ибн Мукла снял верхний лист, положил на бумагу ладонь и принялся карандашом обводить ее контур. Пальцы у него были бледные, тонкие и очень красивые. Магнитофон, должно быть, под шкурой, подумал я.

— Не понимаю, о чем амаль говорит!

Небрежно развалившись, движением руки он обратил мое внимание на стену у себя за спиной. Там был портрет Ленина, исполненный маслом, а пониже — ляган усто Ибадуллы.

— Я говорю об этом ублюдке! Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю!

Когда он произнес “ублюдок”, тыча пальцем в портрет Ленина, меня пронзил сладкий ужас, но тут же все понял: на лягане изображен был Чор-Минор. Сразу узнал я квадратный двор, каменные ступени, ведущие в домашнюю синагогу ребе, и даже крайнюю, угловую колонну, о которую опиралась Ася в ту минуту, когда Авраам Фудым запер за нами ворота и я обернулся... Собственно говоря, все ляганы знаменитого гиждуванца изображали одно и то же: — мавзолей Саманидов, Шир-Дор, Гур-эмир, медресе Улгбека, дворец Ак-Сарай, — памятники старины, короче! Понятие не имею, кто да когда завел эту моду — вешать ляганы на стену!? Предназначались они для плова, для пиршественных столов, облиты были глазурью, особой глазурью — с расчетом, что масло от плова всосется в жженую глину и резче проявит рисунок. Отсюда и блеск старой бронзы. А на стенах ляганы сохли и трескались, пылились и выцветали.

— Ребе Вандал великий муж...

— А я говорю — ублюдок! Старый ублюдок, недостойный своей бороды! Молчи, Ибн Амид, я знаю, чего он тебе внушал, заслав к нам на гнусные цели, на смуту! “Мне нужен человек, который не верит ни в Бога, ни в дьявола, ни в раскаяние, ни в день страшного суда!” Так они говорят, эти раввины, верящие в хитрость своих предков. Хитрость предков — вот их вера, вера евреев, и ничего больше!

Этот педик, ~~этот~~ сукин сын явно меня провоцировал. Поливал грязью мою веру, истинную веру и предков — ребе Птахью из Мосула. Ибн Мукла полагал, что я и тут клюну. Больше вам траурных собраний не будет, ищи дураков в другом месте!

Ибн Мукла рисовал на контуре своей ладони звезду в полумесяце — мистический символ шиитов. Интересно, кто же кого там

пялил, подумал я, кто у кого на коленях ерзал? Если Хасан ибн Хасан пялил Ибн Муклу, то все у меня обойдется, сухим выйду, а если наоборот — то мне крышка! Убьет, раздавит, в порошок сотрет!

— Ты видишь какой халат на мне? Белый... В белых одеяниях ходят в раю праведники. Ты помнишь, что я написал тебе: "Двух вер не наследуют!" В истории с тобой я с самого начала — праведник и верный рыцарь пророка. Суфий тебя не хотел, суфий был против: "В наше братство кого угодно, только не яковита!" И я прекрасно его понимал, я бы добавил сюда Израиль, ребе Вандаля, сионизм, Ашильди Калан-дара — мы все это знали! Но я стал бороться, каждый штрих твоей биографии положил перед суфием на сукно. Глядите, говорил ему я, этот яковит перенес тяжкую болезнь, поразившую его кровь. Душа человека живет в крови. Хорошо известно, что именно венерические болезни вызывают, как правило, глубокое религиозное чувство. Вот и поразил его в кровь Аллах, в самую душу, ибо Аллаху угодно было переродить его! А случай с убийством на улице Хамза Хаким-заде Ниязи? Убивали он Станислава Юхно или не убивал — дело не наше, этим следствие занималось. Зато там, в тюрьме, Аллах предупредил его в наставники одного из лучших наших мулло-бачей. Силой своего убеждения Фархад открыл ему источники чистых вод жизни.

Мягкий, вкрадчивый голос Ибн Муклы налился вдруг металлом:

— ...Никто из мулло-бачей не должен заниматься торговлей! Болтовня на базарах отвлекает от веры! Истинный мусульманин с полным равнодушием относится к торговле! Фархад недостойн имени благородного мулло-бачи, он изменил правилу медресе Мистри-Араб!

Что же за весельчак Ибн Мукла: пассивный или активный? От этого вопроса решится следствие, жизнь моя или смерть! Знали ли, что я их тогда застучал? Если знает — хорошо это для меня или плохо? Из раздевалки открыл я дверь и вместе со мной выпал на крышу сноп света. Свет они непременно должны были видеть, а в нем и меня самого. Поначалу там вообще ничего не было видно, уединились они далеко. Потом различил шепот, громкий, страстный: "...ухо мое! глаз мой!" И тут же смотался назад в раздевалку, закутался в махровый халат, лег, как ни в чем не бывало на диван и принялся ждать: кто же с крыши войдет!? Кто же на ком ерзал, черт меня поberi!?

— По поводу убийства Юхно я привел суфию пример из Корана и толкование мистика Али Муваффаки, и окончательно его убедил: “Один человек подымается по шаткой и ветхой лестнице, а другой, ничего не подозревая — стоит внизу. Под тяжестью восходящего, старая тяжелая лестница рушится и прямо на месте убивает стоящего под ней. Кто в этом случае виноват?” Виноват восходящий, утверждает Али Муваффаки, косвенно, но виноват! И это для нас привлекательно: Иешуа Калан-дар в момент убийства не находился в машине, но его машина Юхно и убила. Косвенный грех — вот мотивы обращения!

И тут же безо всякого перехода, без паузы, не изменив позы в кресле и не возвысив голоса:

— Какие связи у тебя с сионистским государством?

Этого вопроса я и ждал. С него, собственно, допрос и должен был начаться.

— Что пишет дядя Ашильди?

О дружбе моей с ребе Вандамом он многое знает, это ясно. Знает о письме дяди Ашильди! Чего он еще знает? А пока я решил отнекиваться.

— Клянусь Аллахом, амаль, у меня за границей нет никаких родственников!

— Нехорошо сразу Аллахом клясться, Ибн Амид! Совсем нехорошо. Мусульманин никогда не должен клясться, имей это в виду...

Ибн Мукла приподнял со своей стороны край крокодиловой шкуры, сунул под нее руку, несколько мгновений чего-то нашаривал, вонзая в меня при этом полный укоризны и жалости взгляд, каким глядят обычно на уличенного в явной лжи, врасплох застигнутого мошенника.

— Нет — говоришь? Стало быть — нет? Очень хорошо — поглядим в таком случае кое-какие старые документы!

И на шкуру легла к моему удивлению толстая папка. Одним движением Ибн Мукла распустил тесемки, извлек первый же верхний лист.

— По-русски, надеюсь, все понимаешь?

И ткнул в меня остро отточенным карандашом. Кстати, чесались мы с ним до сих пор по-арабски.

— Понимаю!

— Читать мне?

— Читайте вы, амаль!

— “Гюль-ханым Шарипова, активист советской власти, первая

женщина-узбечка, снявшая паранджу, пала от рук бандита Калан-паши. Страстный борец против мракобесия, против засилия законов Шариата Гюль-ханым была найдена с глубокой ножевой раной на горле в поселке Кукубмай. Этой же шайкой басмачевской были зверски замучены и убиты трое членов поселкового совета Камыши. Существует ряд достоверных свидетельств, что вышеназванный бандит по кличке Калан-паша состоит на службе тайной английской разведки. Свидетельства эти подтверждаются наличием у басмачей оружия и обмундирования Британской державы. Время от времени шайка угоняет в Афганистан через паромные переправы Аму-Дарьи огромные отары овец и крупного рогатого скота”.

Ибн Мукла оторвался от документа, испытующе на меня поглядел. Я ровным счетом ничего не понимал; какое это имеет отношение к допросу.

— Нечто похожее я где-то уже читал, мы это в школе, кажется, проходили. Если не ошибаюсь, амаль читает мне главу из исторического романа о первых годах советской власти? Роман Бородин “По волчьему следу”, я угадал?

От злости он даже перекосялся, скрипнул зубами.

— Роман говоришь? Ну-ну, послушаем дальше!

“...Вследствие укрепления режима советской власти, к весне 1924 года деятельность шайки прекратилась, наступило спокойствие в границах бывшего Бухарского эмирата. Следы бандита утерялись и надолго исчезли”.

— “По волчьему следу” говоришь? — прервал он вдруг сам себя. По голосу я чувствовал, как злоба кипит в нем, как буравит его. Он дал ей излиться:

— И все у вас невпопад, все не в строку! Там вы бандиты, тут коммунисты! А теперь, в медресе, сионисты... “Базарный лудильщик Нисим Калан-дар получил недавно письмо из Израиля, — снова шпарил он по бумаге. — Письмо из Иерусалима, от некоего лица по имени Брахия Калан-дар. Предводитель басмаческой шайки Калан-паша и Брахия Калан-дар — одна и та же личность!”

— Ракка — это афганцы? — спросил я дядю. — Действительно они так жестоки или их и в помине нет? Что ни говори, а моему пергаменту восемь-девять столетий, если не все тысячу лет! За это время все изменилось, даже лицо земли приняло иной облик. Помню, искали мы устье Фарфоровой пещеры на краю Каршинской степи.

Мы бы в жизни ее не нашли, если бы не ребе Вандал со своим Бар-Евреем, железными воротами и обсерваторией Улугбека... Да, местами пергамент мой значительно устарел, но ничего, ничего, как видите — вполне нормально до Иерусалима добрался! Ах, дядя, безумно интересно мне с вами, уж вы-то меня понимаете: один и тот же путь проделали. Давайте расскажу я вам о наших приключениях, а вы — о своих, если помните, конечно!? А доктор Ашер пусть послушает, а то тут чертовщина какая-то со мной лепится: в медресе учился — сионизм шили, сюда пришел — за лазутчика принимают, шпиона арабского. Все им во мне подозрительно!

Старик восседал точно каменный идол, расставив чуть ноги, упершись руками в колени. Он бормотал себе в бороду время от времени: "Сын мой, ты жив, счастье какое!"

— Я искал в Цфате, искал в Акко... Весь север облазил, искал и в Хайфе, все больницы, все клиники психиатрические — а ты был тут, дома, в Иерусалиме! Я видел в Акко раненых в голову, до сих пор не пришли в сознание, полно солдат, совсем еще мальчишки, дети!

Он так и не уразумел, кто я на самом деле, и это бесило меня. Ко всем вопросам был мертв, безучастен. А доктор Ашер наблюдал за нами с искренним состраданием и любопытством, как наблюдают беседу глухонемых. С той, правда, разницей, что оба мы не понимали друг друга, бились в одну и ту же стену и не могли прошибить.

— За вас, дядя, положим, не стоило волноваться. Насколько я знаю, все у вас было в порядке — ни афганцев, ни турок, ни персов бояться вам было нечего. Шли вы дай Бог с каким сокровищем! Были у вас пулеметы, гранаты. Так в Палестину любой дурак идти может, а вот мы... Нет, нам тоже не было скучно! Не боязно и не голодно. С ребе Вандалом не соскучишься, он в пещерах такие нам чудеса вытворял, похлеще Моше-Рабейну. До курдских повстанцев шли мы, как в сказке, как по пустыне Синайской, манны лишь не было... Ну и грешили тоже, грешили, естественно!

Так толковали мы с ним — двое глухих, и я все больше ожесточался. Неужели дядя резал когда-то глотки узбечкам, думалось мне, разорял кишлаки, угонял баранов? Был Калан-пашою, предводителем басмачей и религиозных фанатиков? Что за чушь! Впрочем, чего мне на других дивиться, сам-то я гусь каков?

— А вот грехи, скажите, грехи молодости никогда вас не мучили, дядя? Я думаю, ваш сын взят от вас за те самые грехи! Это

большая удача, говорил ребе Вандал, если Бог наказывает человека еще при жизни! Я вам завидую... Я вот думаю, буду ли наказан за свой финт с исламом и медресе, за измену временную!? Или этот грех на совести ребе Ванда, и там, на том свете, с него уже это спрашивается?

Доктор Ашер метнул в меня взгляд полный упрека, знаком руки велел заткнуться. Я и сам понимал, что зверею. Доктор Ашер взывал к милосердию, кивал незаметно на старика. А тот долдонил:

— Неужели, сынок, я нашел тебя? Господи! — пещерами, с фронта, кто бы мог подумать!? Чудо, чудо! Пришел прямо в Иерусалим! Лежат в Акко солдаты, герои войны — тяжелые, необратимые травмы, ничего вспомнить не могут, имен своих даже! А родители ищут, считают, что погибли, пропали без вести. А один... Я видел там одного — страшно и вспомнить — совсем в сознание не приходит! Мозг его мертв, мозг умер, только сердце молодое работает, подключен к аппарату — так его кормят! О сын мой, дай я тебя обниму!

Дядя рванулся было ко мне, до доктор Ашер вскочил раньше и удержал его.

— Обниматься нельзя, он слишком слаб для подобных переживаний...

— Привет вам из Бухары! — завизжал я, глумясь и юродствуя. — Привет от брата Нисима, от Ципоры! От Ибн Муклы, черт вас в конце концов поberi! Вы же меня губите, дядя! Никто не верит, что я из Бухары! Скажите доктору Ашеру хотя бы пару внятных слов, что я — это я: сын Нисима и Ципоры! Откройте глаза, очнитесь! Я не ваш сын! Не герой войны, не с фронта и не танкист... Предатель и дерьмо собачье! Письмо-то свое вы хоть помните? Письмо брату Нисиму, лудильщику? Туриста из Израиля, базар напротив Чер-Минора? Неужели не помните?

Ибн Мукла налил себе чаю, вернее — плеснул на самое донышко и поднес пиалу к губам, обхватив прямыми пальцами, чуть ли не самыми кончиками. Тысячу лет надо пить этот чай, чтобы так изящно, так барственно обращаться с пиалой, подумал я, и легкая тень зависти коснулась меня.

— Пей, Ибн Амид, бери пиалу, хлебай тоже!

Сверкающим синим шаром стоял на шкуре огромный чайник, играя причудливыми узорами. На наших пиалах был тот же самый

синий узор. Сервизы чайные во всем медресе были самые лучшие в мире — хивинского фаянса! Тонкие, матовые, прозрачные — я плеснул и себе с удовольствием, отломил кусочек халвы. Ибн Мукла всегда пил зеленый чай, и шел он у него безо всяких сладостей.

— Ходил домой этой ночью?

— Я, амаль, домой давно не хожу, родители от меня отреклись. С поступлением в медресе связи с домом порвались.

— Куда же тогда ходил ты?

Проследили, сукины дети! Что же ему отвечать? Что отвечать ему, ребе, взмолился я! И набил полный рот халвы, чтобы подольше задержать с ответом.

Тайком, поздно ночью, я смылся вчера из Мири-Араб, перемахнул ограду, и темными переулками дошел до ребе. Рассказал о начавшихся допросах, об этой папке паскудной, набитой против меня Бог весть какими документами. Он все обо мне знает, ребе, все до ниточки, трясся я от страха. Он и про вас все знает, пытается меня — с какой целью послали вы меня в медресе? Что будет, если он дознается о пергаменте? Они следят за мной... И ребе Вандал вот что ответил: он будет утром в "диван аль фадда", будет руки держать на нас обоих. На его и моей голове. Ему — мысли путать, а мне — ответы подсказывать. Но в самый решительный час, в час развязки, я сам судьбою своей распоряжусь. В час испытания, сказал он, у человека отнимаются все добродетели и вся святость, поэтому ребе ничем мне не сможет помочь. А с этой минуты все следствие будет со мной.

— Преступление Калан-паши — это было давно, задолго до твоего рождения, это, положим, не в счет. Не ты за них отвечаешь, мулло-бача Ибн Амид. Есть вещи поближе: письмо из Израиля, оскорбление национальных чувств братьев-палестинцев на траурном митинге, бегаешь ночью, точно шайтан, точно привидение, в логово этого ублюдка и мошенника, в Чор-Минор. Отвечай, что ты делал там нынешней ночью?

Ребе Вандал стоял у меня за спиной, ласково гладил голову.

— Смею возразить, амаль ошибается! Ребе Вандал вполне достойный, ученый старец, я люблю его племянницу. Все мы предки одного отца, говорит ребе, отца Ибрагима... Великий праведник и чудотворец!

Ибн Мукла расхохотался вдруг, далеко откинувшись в кресле.

— К одному праведнику, чудотворцу-еврею все приставали да

приставали, чтобы тот сотворил чудо. "Хорошо, согласен, сотворю, отвечал он. Сотворю вам чудо: приведите ко мне дочь или жену, и через час она зачнет человеческое дитя. У кого есть дочь или жена, тащите ее ко мне!"

Он плеснул себе чаю в пиалу, продолжая хихикать над анекдотом. Поднес пиалу к губам.

— А вы ведь его боитесь, амаль, ребе Вандала, боитесь! И капитан Чингизов боится, не так ли? Он разве не рассказывал о происшествии на улице Хамза Хаким-заде Ниязи? И фотографий сколько нащелкали: как этот мертвяка Юхно ссал на капот "победы", а там сухо все было...

— Молчать, мулло-бача! Вопросы не ты задаешь!.. Месяц сидел ты с Фархадом в одной камере, о чем вы с ним говорили, что ты думаешь о нем?

— Фархад открыл мне источники чистых вод жизни, преданный рыцарь ислама, замечательный комсомолец!

Точно холодным душем окатил мой ответ Ибн Муклу. Ответ мой его насторожил, он уставился на меня испытующе, не веря своим ушам. Мгновением позже на лице его возникло неподдельное восхищение, и я успокоился. Попал в самую точку! Ай да, ребе!

Ну что, выкусил, педераст паршивый? Выкусил? Как я там сказал: замечательный рыцарь ислама и преданный комсомолец? Или наоборот. Да черт с тобой, все твои стукачи из этой папки будут у меня отныне лучшие люди на свете. Чего мне теперь бояться, если ребе стоит рядом? Будь ты теперь самым активным педиком, самым мощным, самым хищным — ничего ты мне не сделаешь!

На стол тем временем легла вчерашняя пухлая папка. Отъехали в сторону чайник синий, сверкающий, пиала Ибн Муклы, тарелочка с халвой и леденцами, в кабинете стояло молчание. Шуршали бумаги, документы, Ибн Мукла слюнявил палец.

— Ашот Аванесов, Ашот Аванесов, — бормотал, тихонечко напевая Ибн Мукла. — Где ты тут, где ты тут?

А я начинал холодеть, весь забегал и заметался. Книжный развал ворвался мне в голову, сквер Революции, букинисты... Потом быстро-быстро: чеканка Ашота, доктор Герцль, обыск в доме, Неля Лесная — все в кучу, в смятку. И сразу взмок, душно сделалось, жарко. Что же придумать? Я же знаю, что сейчас будет! Что отвечать ему?

Точно игральные карты держал Ибн Мукла в руке с дюжину фотографий. И сразу пошел с козырей.

— Узнаешь красавчиков? — положил он первую. — Где ты с Ашотом познакомился?

— Здесь и познакомились, у букинистов, в сквере Революции, на книжном развале. В одно из воскресений... Задолго до медресе, амаль! Какое это имеет сейчас значение? Ашот кого-то из старых французских поэтов искал, а я Библию, чисто случайно разговорились.

— Он что, чеканщик, этот армяшка?

— Да, чеканщик, очень искусный мастер!

— И ты чеканку ему заказал. Что именно заказал исполнить? Я снова похолодел. Ребе, ребе, орал я, отвечай же ему!

— Кисть виноградную, большую, на кованых цепочках...

— Верно, виноградную кисть! — Ибн Мукла выхватил фотографию, и эта самая кисть легла рядом с первой на стол, где я и Ашот стояли в сквере над книгами, склонившись.

— Еще что?

— Двух львов заказал с маген-давидом в лапах...

— Отлично! Еще что? — И бросил третью со львами и маген-давидом.

— Портрет еще на медной доске...

— Чей же именно? Не тяни, отвечай быстро!

— Портрет Герцля... Амаль, но это же было давно, до медресе! Ибн Мукла взвизгнул, точно цепной пес.

— А почему не портрет Гамаль Абдель Насера? У тебя зараза эта в крови, всегда! С тебя шкуру снять надо, как с этого крокодила! Он говорил тебе, что в Бухару сослан?

— Нет, амаль, этого я не знаю! Говорил, что город ему нравится, учиться приехал традициям мастеров ислама, медь, говорил, листовая у нас дешевле, и навалом...

— Врешь, мулло-бача, все знаешь! Сошлись, прикипели друг к другу на грязной дорожке антисоветчины! За эти дела его и выслали из Еревана. А кто такая Неля Лесная?

— Неля? Она, амаль, в таксопарке работала, секретаршей, комсоргом была по общественной линии. Думаю, и сейчас там работает, активная комсомолка, прекрасный человек!

— Не тебе судить — какая она комсомолка! Во всяком случае думает она правильно, и оценки ее нас вполне устраивают. Кто ее с этим армяшкой познакомил?

— Я, амаль, девушка она одинокая, сама просила с кем-нибудь познакомиться...

— Сводник, сын шакала! У нее ребенок воспитывается на Памире, развод не оформлен, армяшка живет с ней на правах мужа!

Ибн Мукла извлек из папки лист бумаги, исписанный шариковой авторучкой.

— Заявление Нели Лесной! Почерк тебе знаком? Вот ее подпись! Есть и заявление на тебя твоего дружка, чеканщика, но сначала Нелино!

Не удивительно, сказал я себе, что оба на меня стукнули. Представляю, как вызвали их да прижали: маген-давидом, доктором Герцлем, дочкой на Памире Нелиной, сожительством незаконным! — все раскопали. Обоим статьи солидные — и выхода нет!

— “Иешуа Калан-дар человек скрытный, всегда себе на уме, неисправимый националист. Нам, друзьям его, хорошо известны его искренние симпатии к Государству Израиль, которые он даже и не скрывает. О евреях, иудаизме говорит высокомерно, заносчиво, не считаясь с национальными чувствами окружающих. Переход в ислам и учеба в медресе Мири-Араб считаю ловким ходом, за которым кроются личные, а может, даже и враждебные цели. Регулярно слушает передачи “Голос Израиля”, располагает определенной информацией. Некоторое время назад, находясь в моем доме по случаю моего дня рождения, Иешуа Калан-дар битый час, захлебываясь, рассказывал гостям об экономических и военных достижениях Израиля, хотя никому это не было интересно”.

Ибн Мукла потянулся к чайнику, налил полную пиалу — чай давно уже не был горячим — и взял пиалу на кончики пальцев бесподобным по красоте жестом, на который потрачено было тысячу лет, не меньше, и я, восточный человек, снова ему позавидовал.

— О каких же достижениях Израиля ты трепался? Мне и самому интересно послушать...

За окнами палаты стоит разлапистая мокрая елочка, качаются кипарисы, усеянные тугими каменными шишками. Буря и ливень давно утихли. Я смотрю на лес, деревья роняют тяжелые капли, точно алмазные, крупные бусы. Промокла земля, трава, прелые листья. Буря всегда кончается к полудню, и нежный слоистый туман призрачно качается над долиной, плавно уходящей вдаль, к чернеющим скалам и холмам.

К горлу подступает отчаяние, с трудом сдерживаю я слезы. Доктор Ашер тихо, вполголоса разговаривает с дядей, увещевает его. Я даже не прислушиваюсь к интонациям, не пробую угадать,

о чем приблизительно они толкуют, не прошу переводить с иврита. Жалость к самому себе потихоньку гложет меня. Это было бы ужасно смешно, если бы не было так трагично, думаю я. Вот нашелся родной дядя, пришел к тебе, ты возлагал на него все надежды, а он отказывается тебя признать. Где же его заело? Как мне вернуть его в прошлое, в Бухару? Бухара у него начисто выпала из памяти!

Доктор Ашер спросил:

— Ну а фарси он знал, сын ваш?

— Еще бы! Дома мы только на фарси и разговариваем, с пеленок знает! Вы не слышите, как он им владеет? — И дядя с гордостью кивнул на меня, "своего сына".

Безнадежными взглядами переглянулись мы с доктором Ашером: что бы еще придумать?

— Хорошо, а рисунки на яблоках? Ногтем портреты и надписи по-арабски — это он мог?

Дядя принял яблоко с портретом Ибн Муклы из рук доктора, без особого интереса повертел перед глазами.

— Ну и что? — спросил дядя. — Что тут нацарапано под рожей этого евнуха?

— Что-то мудреное! — морща лоб и щуря хитро глаза, отвечал доктор Ашер. — "Двух ослов не седлают!" — по моему, так!

Я горько усмехнулся: он помнил прекрасно, что там написано, умышленно подпустил шпильку. Он и мне не верит, издевается, а сам еще к милосердию взывал! Увы мне, увy!

— Нет, такими глупостями сын мой не занимался! — И дядя положил яблоко на поднос. — Парень он был всегда серьезный, может, после контузии с ним что-то случилось? Чего удивляться, вы же сами, доктор, мне объяснили: после контузии, шока начинают рисовать детские картинки... Перевоплощаются в родственников, родителей, полагают, будто душа в них чья-то вселилась — волосы дыбом становятся! Живут генетической памятью предков!

— Послушайте, дядя, зачем вы так изощраетесь? Хотите втиснуть меня в свое заблуждение? — начал я. — Я вот лежу в палате, благодарю тихонечко Бога, что ко мне возвращается моя собственная память, а вы мне чужую биографию суετε, совсем с ума сводите. Я бы с удовольствием заделался вашим сыном, лучшей судьбы и не придумаешь. Разом отпали бы все заботы... Но это не входит в мои планы. Шутка ли — пройти пещерами из Бухары в Иерусалим по пергаменту "Мутана", словно из сказок Синдбада! Это же фантастика, чудо! И вел нас ребе Вандал — удивительная

личность, о котором никто и не слышал. А спутники мои?.. А все, что мы видели, пережили? Быть может, обогатили все человечество еще сам не знаю чем! По мере того, как возвращается память, я веду записи. Погодите, дядя, дайте все припомнить, записать, а там поглядим, может, и стану я вашим сыном, соглашусь, что ранен был в голову, спрятался в скалах, а ноги сами собой привели меня пещерами в Иерусалим. Вы ведь именно это обо мне составили! Это ждете услышать?

— А что вы станете делать, когда сын ваш из плена вернется? — встрял доктор Ашер. — А может, он без вести пропал и отыщется?

Дядя Ашильди был мрачен, сидел насупившись.

— Напрасно стараетесь, душа моя чувствует родную душу, родная кровь чувствует родную кровь.

— Ну что ты на это скажешь: уперся, хоть лопни!? — воскликнул я, заламывая драматически руки. — Просто поразительно, до чего все сходится — Авраам Фудым со своим сыном Исааком! Шел он вместе с нами в Иерусалим — встретиться с погибшим сыном. Сам же в горах Тянь-Шаня его схоронил, и все-таки шел: Исаак жив, Исаак встретит его, Исаак строит в Иерусалиме Третий Иудейский Храм! Но мы-то знали — никакой его сын не был герой, а трус и предатель, за что и погиб, собственно... В точности как я — жалкий трус и предатель, в самый решительный момент полные штаны наклал, в час испытания от всех святых отрекся... Там, в подвале, у Ибн Муклы, чего я только не думал: вербует в любовники? В Сибирь упечет, к белым медведям? А он пригрозил только, слегка припугнул... Давайте успокоимся, дядя! Вспомните Бухару, брата Нисима, Ципору, жену его!? Хотите знать, как Бухара сегодня выглядит, неужели не интересно? Как только вспомните, тут же и меня спасете: ну напрягитесь же малость, сосредоточьтесь, дядя, миленький, добрый, несчастный, единственный мой... Роща бывшая кругом дворца генерала Кауфмана — сквером Революции нынче зовется. Помните, генерал такой был царский. — Кауфман? При вас он жил, вы его захватили, видели собственными глазами, в перчатках выезжал белых, на белом коне с шашкой? Ну черт с ним, с Кауфманом! Там площадка сейчас шикарная, танцевальная, в сквере, за пиками железной изгороди. По воскресеньям, с утра раннего — букинисты книги разваливают, достать что угодно можешь, начиная от Библии, в Штатах изданной, до руководства по чеканке древней, червлению и литью бронзы. И что замечательно при этом — никогда не знаешь, из-за какого дерева на тебя объектив

наставлен, из-за каких кустов щелкают. Что-то я не то рассказываю, да? Ну хорошо: улицы в Бухаре совершенно новые пробили, самые настоящие проспекты, а переулочки только в старом городе остались. Целых три таксопарка! Сидишь за баранкой — и королем катишь, сразу в четыре ряда. Я во втором таксопарке шофёром “победы” вкалывал...

Когда я вошел, он тут же поднялся с кресла, запер дверь, а ключ опустил в халат, белый просторный халат из маргеланского шелка с переливами медовых оттенков.

Сегодня он был возбужден, надушен. Он вообще любил натираться всевозможными мазями, лил на себя духи, благовония, щечки подкрашивал. Здесь, в “диван аль фадда” была у него особая полочка с ларчиками, кубками, баночками, бросились в глаза набор пилочек для ногтей, лаки и щипчики. Где же он письма вскрывает? — не давала покоя мне мысль. “Диван аль фадда” — “Черный кабинет”! Может, рядом целая лаборатория с самой что ни есть совершеннейшей аппаратурой? Или вовсе не тут нашу почту читают, а в другом месте?..

На крокодиловой шкуре раскрыт был старинный фолиант, Ибн Мукла почтительно коснулся одной из закладок.

— “Мукаммы” несравненного Хамадани, — сказал он. — “Мукаммы” Хамадани с комментариями Махаммада Абду — ренессанс Ислама, зенит “мамлакаты аль ислам”! Но сам человек еще не так интересен... Ты в армии в ракетных частях служил?

— Да, амаль, в ракетных частях, три года!

— Я и говорю — люди сейчас гораздо интересней пошли, сами выбирают свой жребий. Петляют, заблуждаются. А с ними работать надо, наставлять и учить, наказывать... Но только не оттолкнуть!

— Амаль бесконечно добр, читает самые сокровенные мысли! Служение Аллаху — вот мой жребий!

Ибн Мукла вонзил в меня черные маленькие глазки, заплывшие нежным, розовым жиром.

— Пишешь письма из медресе?

— Пишу, каждый кому-то пишет! У всех в медресе друзья, родственники. Разве нельзя, амаль? Впервые слышу, что этого нельзя!

— Кто такой Виктор Цева? Не прикидывайся базарным шутком, отвечай четко, коротко.

— Виктор Цева... Витя — товарищ, служили вместе, я в Бухару

вернулся, а он в училище поступил, на Кубани служит сейчас, лейтенантом...

— А почему его письма на медресе не приходят? Почему на главную почту, до востребования?

“Ты одинок...” подсказал немедленно ребе.

— Родители от меня отвернулись, амаль, друзья избегают, мне и пойти некуда, вот и придумал лишний повод по городу прошвырнуться...

— Лжешь, мулло-бача, лжешь, как коварный шакал — “диван аль фадда” боишься, меня боишься! — Ибн Мукла достал папку, похлопал ее рукой. — Тут ваши письма: офицера Цевы и Ибн Амида, мулло-бачи, — с каждого письма копия!

Наивный осел, я задал ему естественный, но самый глупый в мире вопрос. Сам не знаю, на что я рассчитывал.

— А как же закон? Тайна переписки граждан?

Тут и попался. Он словно ждал моего вопроса и пришел от него в восторг. Наконец, вволю нахохотавшись, отхлопав себя с добрый десяток раз по животу, сделался суров, оттер кулаком слезы.

— Бдительность работников почты! Письма в пути расклеивались. На сортировке листы выпадали, люди их подбирали, читали, передавали в органы... Любопытство — тяжкий порок, согласен! Но все от Аллаха!

Потом сердечно, задушевно добавил:

— Во времена Хамадани тебе бы велели все эти письма съесть, облили бы смолой или нефтью и подожгли.

Ибн Мукла склонился над папкой.

—...Большой охотник выступать на собраниях! Какая-то упорная, болезненная повадка! Может, надо тебя показать специалистам, психоаналитику? Скопление толпы, зрители, даже скромная вечеринка — ты тут как тут, задницей вертишь! И если политику зачеркнуть, то остается обычный сексуальный комплекс — комплекс сцены! Отдаться толпе... Дверь заперта, милашка, никто не войдет! Напрасно ты испугался тогда на крыше, забился на диван! В следующий раз не стесняйся в бане.

“Странные вещи”, — сказал мне на ухо ребе.

— Странные, дикие вещи я слышу, амаль! Я вас таким не знаю, какой-то вульгарный, уличный тон! Аллах покарал меня за разврат однажды, зачем намекать грешнику на его грехи? Коран говорит — это еще больший грех.

— О, нашел! — обрадовался Ибн Мукла. — “Еще один факел!” Политплакат художественного комбината “Рассом”, знаком тебе этот плакат?

Проклятый плакат был размерами с хорошую простыню. Поначалу он попытался его развернуть, оставаясь в кресле, но эффекта не получилось. Тогда Ибн Мукла вышел к стене, взялся за верхние два угла этого пожелтевшего паскудства и встал в позицию тореадора. С искренним любопытством заглянул несколько раз в плакат сверху, хотя он виделся ему вверх ногами. С педерастической улыбочкой — на меня. Потом поискал между ляганами свободную площадь и пришил плакат к деревянной обшивке.

Тут я снял с него белый шелковый халат с медовыми оттенками и стал примерять мундиры. Больше всего подходил полковничий: погоны, блестящие хромовые сапоги, цветные шпалы орденских планок. Есть же на свете места, где он является в истинном своем облачении, думалось мне. И что там за сослуживцы? Ведьмы, бесы, оборотни... Красят щеки, ногти лаковые отращивают. А кто и клыки, или хвосты, или шпоры. “По долгу службы” — во имя Христа, Аллаха, Будды — во имя Сатаны! Кто же он на самом деле? А что если поискать хорошенько — где-то тут должен быть и костюм его маскарадный — мундир полковничий! Тьфу — да нет же! Это халат-маскарад, духи да благовония... А может, он даже и не гомик? Ребе, ребе — кто он?

“Не думай о посторонних вещах, не нервничай, — погладил мне волосы на затылке ребе. — Идеи нашей с пергаментом ему не узнать, об этом не беспокойся. Думай сейчас о Розенфлянце!”

— Кто таков Роман Розенфлянец? — спросил Ибн Мукла, снова поместившись в кресле.

— Давно, до медресе, амаль, работал я в таксопарке...

— Отвечай внятно, мулло-бача! Не начинай каждый раз с “давно”, все твои “давно” мы лучше тебя знаем!

— Сменный инженер-диспетчер второго бухарского таксопарка!

— Так и отвечай... — Ибн Мукла показал мне исписанный лист с подписью внизу. — Вот заявление этого еврейчика! Вы с ним дружили? Не ладили? На почве чего не ладили? Почему он написал на тебя грязный донос? Какие у Розенфлянца политические взгляды?

Разом все и связалось: собрание в таксопарке, плакат и донос. Вот почему он глаза от меня прятал! Бедный Рома, длинноногий балбес, и тебя припутали! Какой из тебя стукач! Еврейчика быт еврейчиком — статья Шехтера о ребе “Ударим по мракобесам!”

— Инженер Роман Розенфлянд человек тихий, скромный, принципиальный, член партии, человек с твердыми политическими убеждениями, всегда мыслит вместе с партией — на работе, в быту и в семье; настоящий образец для подражания, я всегда глубоко и искренне уважал нашего диспетчера, восхищался им, старался во всем брать пример...

Больше дыхания не хватило. Я погасил на мгновение твердый свой взгляд, глотнул воздух. Я готов был пороть подобную тарбарщину еще час, но Ибн Мукла, видать, раскусил мой прием и больше не восхищался. Он снова шарил в папке.

— А вот заявление директора таксопарка! Два заявления на тебя, что зачитаем раньше?

— Читайте диспетчера, — выбрал я. — Таксопарк большой, директор и не знал меня, а Рома был моим другом.

— Ну-ну, почитаем друга! — иронически хихикнул Ибн Мукла. И начал: "...В начале августа на нашем предприятии состоялся митинг протеста против израильской агрессии, присутствовали все сотрудники, профсоюзная и партийная организации. Все выступавшие единодушно с гневом и возмущением клеймили наглых захватчиков. Потом очередь дошла до водителя такси Иешуа Каландара, и он сразу прицепился к одному плакату на сцене. Плакат был очень красивый. На мой лично взгляд, правильный и сильный. На сцене было много других плакатов на эту тему, но он именно к этому прицепился. В этот день у него не было смены, он не работал, поэтому, я думаю, был просто выпимший, или больной. Такой у него был вид...

Ибн Мукла морщился, с трудом разбирая почерк, недовольно причмокивал.

— И это пишет инженер! — пожаловался он мне. — Как эти люди институты кончают — шайтан их знает! Такое примитивное изложение, диплом бы проверить — поди, не с рук ли куплен!?

И снова стал мучаться с почерком:

— "...Рука от какого-то скелета держала красивый факел, очень похожий на факел с олимпийским огнем. Факел был черный, а огонь — красный, и если глядеть сблизии или даже издалека, этот красный огонь делал буквы со словом "Израиль", а на скелетной руке было просто написано "Соединенные Штаты". На этот самый смешной и совершенно правильный плакат Иешуа ужасно разозлился. Сначала было его жалко, думали, что он не понимает, лишен абстрактного мышления. И смеялись, когда он объяснял, что

плакат неправильный. А потом он сделал скандал, и в зал полетели такие слова, как "искажение картины войны на Ближнем Востоке", "средства советской агитации и пропаганды", и все зашумели и загудели, потому что коллектив у нас здоровый, приятный и дружный. Все поняли плакат, даже уборщицы и сторожа, а шофер Иешуа Калан-дар — ничего не понял. И пошел сесть на свое место с позором и с пеной своей у рта".

Донос был точно Ромы, в этом я не сомневался. Писал, как говорил. Стиль его трудно было бы подделать. Донос меня отчасти удовлетворил. Но были и враки самые настоящие: ровным счетом никакого там гула не слышалось, никто не возмущался, и пены у себя на губах не помню. Внимали мне, помнится, с большим интересом, со страхом и удовольствием. Но рядом, в президиуме, отдел кадров и парторг достали, как по команде, книжечки записные и стали меня слово в слово конспектировать с величайшей задумчивостью. Они-то после и звякнули, они и на Рому-умницу показали: этот пусть пишет!

— Вернемся к письмам! — возвестил Ибн Мукла. — К офицеру Цева из Майкопа и мулло-баче из медресе Мири-Араб! В папке — копии, фотокопии, а у тебя — тексты, все, что с главпочты. Тексты знаем, помним, хвала Аллаху!

— Аллаху хвала! — отозвался я.

— Смрад и падаль! — воскликнул он горестно. — Смрад и падаль!

Прикрыл вдруг лицо халатом и заплакал.

Ребе Вандал говаривал, помнится, часто в походе: жизнь — школа, а удача и неудача — урок! Кто урок своей жизни не выучит, того возвращают в тот же класс, на ту же ступень. Отлично помню сейчас, когда нам везло и когда не везло. Если везло — голова кружилась от счастья. Как в полете, дух захватывало, страшновато делалось. А когда не везло — садились на землю, тщательно в себе ковырялись. Впрочем, ковырялись мы в себе всегда, и когда везло — тоже, чуть ли не каждый день был нам Судным днем...

С дядей Ашильди — делалось ясно — мне явно не повезло! За что, Господи! — пытался я разобраться. Бухара — великий город, город его и моей юности, общих наших предков — начисто выпал у него из памяти. Следов Бухары — никаких! Следов отца моего, матери... Так не повезло нам с самого начала с Авраамом Фудым — смерть сына выпала у старика из памяти. И что совсем уди-

вительно, безумие давно погибшего сына вселилось вдруг в него самого. Случилось это на третий день после спуска под свинцовую крестовину Вабкентского минарета... Рождались тем временем самые отчаянные предположения, испытующий взгляд мой пытался проникнуть ему в глаза, в душу: не кроется ли какой-то расчет за этим упорством? Но нет, лицо его оставалось беспомощным, как лицо слепца, — непроницаемым. Растерянность с бесконечным страданием боролись в нем.

Думалось так. "... Вот явился из Бухары какой-то щенок, сын Нисима и Ципоры, пошел трезвонить на весь Иерусалим о зверствах Калан-паши, награбленных мною сокровищах, принес тайные факты моей биографии! Сам он — непонятно кто, быть может, приведен в Израиль проводниками-бедуинами из-за Иордана, найден в пещере Харитун, изловлен случайно... Наша разведка колет его, пытает, а он им мозги порошит: сочинил пергамент, какого-то ребе Вандала, старика Фудыма, еще черт знает что. Для этой версии я ему нужен, намеками шантажирует. Зачем мне скандалы на старости лет? Прикинусь-ка и я идиотом..."

Тогда он просто трус, глупец, мой дядя, одним махом отторгнуть меня от родственной ветви! Зачем же, скажите, письмо писал? Просил какого-то иностранца искать в Бухаре базарного лудильщика Нисима Калан-дара? Спросить что ли прямо в глаза, при докторе Ашере? Разом развеять их заблуждение! Никто ведь меня не спасет, почему трушу — вот ведь качусь уже вниз, в гибельную пропасть! Так и пропаду никем не узнанный, никем не опознанный в Иерусалиме... Или молчать? Принять покорно свой рок, своей судьбы предопределение — за грех предательства? Ребе Вандал в два счета бы все разъяснил: мой грех и вызвал выпадение памяти у дяди Ашильди — такова расплата! Разувайся, Иешуа, да на полсадишься, благодари Господа...

Первым призвали к ответу в нашем походе Авраама Фудыма — в подземные недра ушел он, в преисподнюю. Очищен теперь от безумия, все знает, все понимает — в том уже мире. А в эту минуту наблюдает за мной, ждет развязки в этой палате. Знает истину — что происходит сейчас с рассудком дяди, что обо мне думает доктор Ашер. Здесь же и все остальные: ребе Вандал, Ася, Дима Барух — пришли сюда, ведь нынче за мной очередь! Мертв и Витя Цева, он тоже сейчас в палате — у Вити ко мне свои претензии — он мертв исключительно по моей вине. Ибн Мукла так и сказал: твои письма убили его...

На каком же винтике дядю заело? Зачем так мрачно, так глубоко? Все обстоит значительно проще. Может, оба любили одну и ту же женщину — твою мать — братья Ашильди и Нисим!? Ты пришел из прошлого, будто призрак, всколыхнул болью старые раны, и тошно Ашильди сделалось... Басмачи, советские активисты, паранджа Гюль-ханым Шариповсой, грабежи скота — сублимация ненависти к Нисиму, было такое, было — сердечные раны! Молодость, горячая кровь... Палестина, Иерусалим — подальше, подальше, забыть Ципору — словно и не было никогда. Но есть вещь на свете, которую дядя не знает. От иступленной любви рождаются порой дети, как две капли воды похожие на тех, что рождаются у любимых, если она или он в ином браке, — это тоже мне ребе Вандал рассказывал. Может, так и вышло со мною и с сыном его, танкистом?

Не знаю, не знаю... Чего не взбредет в воспаленный и отчаявшийся мозг, какую версию не придумаешь?

Дядя Ашильди вдруг принялся стаскивать с себя сапоги прямо посреди палаты.

Зрелище было странным, неожиданным. Кряхтя, он пояснил свои действия.

— Он нё в плену, нет! И не пропал без вести — он убит, сын мой!

Ибн Мукла плакал, и халат, темнея у меня на глазах, промок насквозь.

— Нет святости в сем месте! — рыдал он и всхлипывал. — Зловоние у меня в ноздрях! Смердишь, сионистская пададь...

— Амаль! — тревожился я. — Амаль Ибн Мукла...

Тревожился не на шутку — даже крик осла не мог бы остановить его слезы... Следствие, "Муккамы", плаксивость — догадка! Времена Хамадани... Плачет судья, плачет палач, плачут зрители.

"Он что же, сразу судья и палач? — осведомился я у ребе. — Вы скоро от меня отойдете?"

"Час испытания, — услышал я сокрушенный вздох, — отойду!"

"Я ведь ничего не заклал, правда, ничего! Пергамент наш так и не всплыл!.. Ребе, а если все вернется к началу: "На какие гнусные цели послал тебя в медресе этот старый ублюдок и мошенник!?"

"Не вернется... Думай о Викторе, Викторе Цева!"

Вот уже месяц, день в день, спускался я на допросы в "диван аль фадда". С утра, после молитвы, каждое утро, а отпускал он меня после обеда, а чаще — совсем к вечеру. Какими словами опи-

сать мое состояние? Хождение по лезвию острой бритвы, чуть влево, чуть вправо — и все, и нету тебя на лезвии. И ребе мне замечательно помогал. Напряжение всех моих сил, необъяснимый восторг, какой-то космический экстаз, обостренность всех чувств. Никогда в жизни — ни до, ни после следствия — не переживал я подобного. И думал: ты только находишься в жалкой тени присутствия ребе, и такой у тебя экстаз. А что же он сам? Где душа ребе пребывает, в каких сферах?

Мотало следствие и самого Ибн Муклу, осунулся, нервничал, все чаще прибегал к "насваю". Вечно укутанный в белый шелковый халат, женоподобный верзила, он вставал по своему обыкновению задолго до предрассветных сумерек, принимал горячую ванну, молился вместе со всеми, завтракал, а после — заваливался спать до обеда. А сейчас изменил весь режим.

Он плакал все еще в халат, выдавил сквозь рыдание:

— Никогда, слышишь, Ибн Амид, никогда и ничего он тебе уже не напишет! Такая любовь, такая любовь... Скажи хотя бы напоследок, это была сексуальная связь?

"Побитие камнями, — подсказал немедленно ребе, — Аллах с вами!"

— Аллах с вами, амаль, Аллах с вами! Может, Коран на это смотрит сквозь пальцы, но вера моих предков... Страх моих предков живет в крови моей!

Ибн Мукла отнял наконец с лица халат, залез рукой в стол, глубоко под крокодилову шкуру, и извлек оттуда небольшой тыквенный сосуд с "насваем" — темно-коричневый крупной наркотик. Вытащил хвостатую, кожаную затычку, отсыпал на ладонь приличную горку, забросил себе под язык.

— Он что, умер, друг мой? Амаль, ради Аллаха — он умер?

Откинув голову в кресле, закатив безжизненно глаза, Ибн Мукла сосал с наслаждением.

— Афисел Сева мелтв, — просипел Ибн Мукла, убежденно кивая. — Мелтв, мелтв, мулле-вача, меелт!

Он быстро отсосал первую силу наркотика, глаза его оживились, забегали, он позволил языку ворочаться попроворней, по-человечески.

— Ёай-дод, не доглядели, не доглядели! Блестящий офицер Виктор Цева, гвардейская дивизия, — Ибн Мукла явно надо мной глумился, как с ответом о вскрытых письмах. — Вот я вижу его в предгорьях Кавказа, взбирается вверх по кручам, скачет, как мо-

лодой, легконогий олень со скалы на скалу, быть может, с теодолитом, быть может, с нивелиром. Словом, планшетная съемка! И двое солдат с рейками. Кругом ни души, один лишь орел высоко парит в небе. Такой тонкий интеллект, а эти двое — быдло, черная кость... И кончились интересные письма в обе стороны! Какое горе, мулло-бача Ибн Амид, неутешное горе! Разве не могли в штабе дивизии подобрать ему в командировку солдат потоньше, не подобный грубый скот? Затеяли драку, схватился офицер за кобурку, а они его — в пропасть, в бездну. Вай, Аллах, Майкоп на Кубани... И никто не пойдет на главпочту, никто... Зачитать письмо под номером шестнадцать?

“Стоит ли, ребе?” — спросил я.

“Стоит ли?” — усомнился он.

...Из медресе я писал другу, что он значит для меня в жизни, вспоминал, как мы познакомились, осуждал его и мою измену еврейству. Прямо в казарме оставил однажды Тору у себя на столике. На столике при кровати. А когда пришел вечером — он читал ее. Так и познакомились. И казарму помнил, и одеяла байковые, цементный пол, и ангела у себя на кровати. И влюбился в Витю до беспамятства. Так я ему и писал. Медресе шло у меня, как измена, для равновесия с Прагой его. Ничего о Фархаде, ничего о ребе и пергаменте, но это меня не спасло сейчас...

— И что же было потом? — спросил Ибн Мукла.

“Потом?” — обратился я к ребе.

“Что было, то и было, — рассудил ребе. — Лгать никогда не лги!”

— Потом Прага была!

— И ты в любви своей усомнился, жребий ему предложил?

— Да это же в шутку, амаль! Мало ли что писал!?

— О, не скажи, жребий твой очень нам пригодился! Трое они на планшетную съемку пошли...

“Витя, ангел, какое кощунство! — писал я ему. — Утожить танками “пражскую весну” и на чешской же земле в партию вступить, в эту шайку”. И предложил ему испытание — воду с письма моего выпить. Если вспухнет живот, околеет если — то пусть околевает, а если жив останется — ангел по-прежнему, любовь до гроба, верный сын еврейского народа!”

— А кто, интересно, письмо заклинал, не ребе ли Вандал? — спросил Ибн Мукла. — Я вижу, кроме хадисов о женщинах, ты ничему в медресе не научился. Ну может, еще благодарить Аллаха по

мелким камешкам! Горе тебе, мулло-бача, узнавшему о смерти единомышленника! Отныне после каждой молитвы ты должен тридцать три раза, не меньше, произносить "Субхан Аллах", столько же раз "Слава Аллаху" и столько же раз "Аллах велик!"

Рот его был полон черной отвратительной слюной, начавшей вытекать на подбородок. Ибн Мукла пошел к двери, где стоял у него медный тазик и медный же кувшин с тонким горлом, без ручки — для омовений, выплюнул в тазик тягучую, липкую жижу "насвая", долго полоскал с громким бульканьем глотку.

Вернувшись в кресло, снова стал строить плаксивую рожу.

— "Субхан Аллах" отменяется, Ибн Амид, и покаянные молитвы тоже! — Спрятал лицо в облитый уже слезами халат, но не заплакал, а на сей раз только высморкался в маргеланский с медовыми переливами шелк.

— Сегодня же ночью на Калян взойдешь! За эти вот подвиги...

И широким жестом обвел рукой стены "диван аль фадда" обшитые дорогим, светлым деревом груши.

Весь этот месяц, по ходу следствия, он шпилил и шпилил на стены всевозможные вещи и документы из папки. И папка под конец совсем усохла. Точно на выставке, все было развешено на стенах, поглотив начисто прекрасные ляганы усто Ибадуллы из Гиждувана.

Сразу бросалась в глаза стряпня политсекции худкомбината "Рассом" — паскудный плакат "Еще один факел". Факел с пылающим словом "Израиль", едва я входил по утрам в эту пыточную, сразу нагонял на меня тоску и уныние. Кругом пожелтевшей простыни с костлявыми пальцами тесно уселись черно-белые глянцевые фотографии профессионалов "из-за куста и деревьев" — книжный развал в сквере Революции, я и Ашот на каждой... Вот бы на память такую! Лучших снимков своих я в жизни не видывал. Но разве подарит мне хоть одну из них Ибн Мукла?.. А вот и чеканка гениального армянина: вздыбленные львы с маген-давидом в лапах, портрет доктора Герцля, кисть медная виноградная. Все они на кованых в цепочки звеньях — вокруг лягана с Чор-Мином — скудная фантазия Ибн Муклы! Тоже навечно пропало! И деньги мои за заказ и гений Ашота — забрали из дома, на обыске... Множество снимков ребе. Вот он на выходе из под арки Чор-Минора, Ася с ним рядом, поодаль чуть — Авраам Фудым. А они и не знают, что в объектив попали! Никогда не узнают, кто и зачем их щелкал... Изломанный картонный снимок — дядя Ашильди

в молодости. В шитой золотом тюбетейке, в бухарском полосатом халате. "Ателье Левиева Мордехая, императорских золотых медалей, негативы хранятся вечно, эмирата Бухарского" — таково серебрянное тиснение на обороте картона. Фотографии из архивов ташкентского ГПУ — Гюль-ханым Шарипова с раной на горле от уха до уха, трое советских активистов из Камышей — масса мрачных, холодящих душу снимков. А вот и Калан-паша на коне, амударьинский берег, паромная переправа...

"А пергамента нет, как нет! Пергамент "Мутана" лежит себе на полочке книгохранилища Китаб аль-Байян, лежит в цилиндре, ждет меня..."

"... Скоро пора его брать, Иешуа! — напомнил ребе".

"А что же Калян, ребе? Зачем мне лезть на "минарет смерти?"

— Зачем Калян, амаль? Ночью — чего я там не видел?

— Звезда мусульманского зодчества — семьдесят метров! Невежи, подобные тебе, Ибн Амид, как правило избирают Калян для самоубийства. Мокрое место, мешок с костями — что это такое, я спрашиваю!?

"Ребе, ребе, — завопил я, — чего отвечать ему?"

— Напрасно шепчешь, напрасно глаза возводишь — никто тебе не поможет!

— Туда по ночам никого не пускают, амаль, там сторож стоит!

— Неужели сторож? А я и не знал... А ведь падают, падают вниз головой самоубийцы! Может, взятку дают, и сторож их пропускает.

Ибн Мукла кончил валять дурака.

— Тайны медресе Мири-Араб должны быть закованы в крепкие челюсти. Иначе — вот тебе ножницы и режь нитку...

— Какую нитку, амаль? Не надо лишать меня жизни! Обещаю поставить стража у уст своих, стража у ног своих... Все, что угодно, обещаю!

"Ребе? — еще раз позвал я. — Ребе, ребе?"

В затылок ворвался мне ледяной холод. А ведь так оно в точности и было: предгорье Кавказа, Кубань, планшетная съемка, два хама из штаба дивизии. Взяли да и столкнули Витю в пропасть... А ночью на Калян я знаю, как привезут: в машине крытой, связанным и с кляпом во рту. Вволокут на макушку, развяжут и вниз кинут — самоубийство! Мешок с костями, мокрое место... Вот оно что значит, все эти часто случавшиеся самоубийства! А почему же Фархада не так, почему в Сибирь Фархада?

— Тогда пиши! Ручку бери и пиши!

Стопка чистой канцелярской бумаги, с самого начала допросов лежавшая почти нетронутой, переехала по крокодиловой шкуре ко мне. Ибн Мукла достал ручку из халата, передал ее мне. Потом он втиснулся в кресло уютней, поглубже. Сцепил пальцы на животе.

“Ребе, а как же жизнь? Взять ли ножницы вместо этой ручки? Жизнь отодвигает субботу ради жизни...”

— Что ты думаешь о сионистском государстве?

— Что я думаю об Израиле?

— Ну да, что ты о нем думаешь?

Я оттер с лица обильный холодный пот и пошел, пошел с наслаждением и вдохновением, чуть ли не захлебываясь:

— ...Расистское, агрессивное государство, инородное тело в сердце мусульманского мира, ведет захватнические войны с миролюбивыми арабскими странами, бельмо на карте Ближнего Востока, характер государства — фашистский! Так ли я говорю, амаль?

— Отлично, мулло-бача, отлично! Так и пиши.

Я записал это слово в слово. А кончив, спросил:

— Еще что, амаль?

— А сейчас, — сказал Ибн Мукла, — я тебе поддиктую, давай продолжай.

“Именем Аллаха, именем пророка его, клянусь клятвой жизни и крови посвятить себя священной борьбе — борьбе с сионистским государством вплоть до полного его уничтожения. Геройски и безропотно исполнять все поручения моего начальства. Быть бесстрашным, как барс, коварным, как скорпион. И не щадить грязных евреев, где бы ни ступала моя нога”.

— А теперь подпиши!

Дыхание мощного семенного быка достигало меня через стол. Обволакивало, сладко кружило голову. Этот бык со свистом храпел, поводя в мою сторону страшными, острыми рогами. Сквозь рвавшийся из меня соблазн я поймал себя на мысли, что ревную моего быка к Хасану ибн Хасану — жалкой подстилке, шлюхе из шлюх! “О любимый, ухо мое любит прежде глаза, ухо мое гораздо чувствительней!”

Станув с себя оба сапога, дядя Ашильди добавил:

— И еще — я не Ашильди! Прошу не обращаться ко мне с этим именем. Зовут меня Брахия, Брахия Калан-дар!

Доктор Ашер глаз не спускал с грязных, размотавшихся портянок. И спросил:

— Зачем вы разулись?

— Я буду сидеть "шиву", мой сын умер!

— Прямо в палате? Все семь дней?

— Прямо в палате, а что? — был утвердительный ответ. — Мне что-то подсказывает, что кто-то из близких моих тоже здесь умер!

— Только что вы внушали... — доктор кивнул в мою сторону, — что наш пациент и есть ваш сын!

— Нет, нет, ни в коем случае!

— Тогда — племянник!

Дядя сидел уже на полу, рядом с портянками и сапогами. Не поднимая головы, он ответил:

— У меня нет племянников, у меня был сын! А это — это черт знает кто! Оборотень, привидение...

"Пришел к норе праведник, разулся и сунул змее босую ногу. Ужалил его змей в голую пятку, да и сам окошел. Видите, сказал праведник людям, не яд, а грех губит!"

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И РЕСУРСОВ

Национальный Совет по науке и развитию заинтересован в сотрудничестве с учеными, имеющими проекты, разработки и идеи в следующих областях науки и техники

Источники воды

Энергия

Пищевая технология

Экология

Нефтехимия

Природные источники (включая вторичную обработку)

Вычислительные машины

Биотехнология

Фармацевтика

Полимеры и мембраны

Электротехника

Биоэлектроника

Градостроительство

Общественные науки

Прикладная физика

Обращаться по адресу .

מכון מיסר"ת תל-אביב, ת.ד. 30867
Тел. 03-622921/2

לכבוד מר אברהם מר
המחלקה הלאומית למחקר ולפיתוח
קרית ברנרדיון, בנין ג' ירושלים
Тел. 02-684478 или 02-639211, доб. 388

ОДИННАДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ

До сих пор трудно поверить, что все это на самом деле произошло. Некоторые скептики и сейчас уверены, что все это был фокус, блеф, еврейские штучки, короче — “новое платье короля” на госпоже Голде Меир, хас ве-халила!

Доктор Генри Киссинджер, которого Джимми Картер на время кризиса снова призвал в кабинет, выразил общее мнение лучше всего. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, доктор Киссинджер произнес буквально следующее: “Господа, пошатнувшееся было равновесие мира восстановлено. И кому мы обязаны этим? Мы обязаны этим народу Израиля и его преданности Моисееву закону. Особенно — его одиннадцатой заповеди”.

Некоторые невежды никогда не слыхали об этой заповеди. Тому есть причины. Когда Моисей спускался с Синайской горы со скрижалями, он был, естественно, несколько возбужден. И впопыхах он забыл упомянуть, что Господь начертал кое-что и на обратной стороне скрижалей. А начертано там было (огненными буквами, разумеется) следующее:

Не возжелай шиксы всуе!

Заметим, что Господь в его неистощимой предусмотрительности, конечно, сформулировал этот приказ на языке, понятном именно евреям. Он-то знал, с кем Он имеет дело!

Господь — мой пастырь, и слово Его — закон для меня: вот, я не возжелаю шиксу, и Он приведет меня возлечь на тучных пастбищах Своих, и я возлягу — но только с порядочной еврейской девушкой, разумеется!

© 1977 by Melville Shavelson.

Разрешение на публикацию глав из романа на русском языке любезно предоставлено журналу автором — почетным членом Фонда “Москва—Иерусалим”.

Итак, равновесие мира было восстановлено. Все израильские гаремы были ликвидированы под корень. Все арабские танцовщицы были в наказание отправлены в кибуцы. Все народы земного шара вздохнули с облегчением. И доктор Генри Киссинджер снова вернулся к частной адвокатской практике.

А Яков Шенбаум, который заварил всю эту кашу, был совершенно счастлив. Как-никак, он спас семейную жизнь своей дочери! Ну и попутно — равновесие сил на Ближнем Востоке. Но это уже мелочь...

... А началось все это довольно невинно. Все это началось в Нью-Йорке, в канцелярии мэра города, в "Грэйси Мэнсон". Наверху в своей спальне похрапывал мэр, улучивший получасовый просвет в своих круглосуточных и безнадежных попытках спасти самый большой город мира от самого большого в мире банкротства. А внизу в приемной бушевал разгневанный Яков Шенбаум. Он явился к мэру во главе группы квартиросъемщиков, чтобы выразить протест против снятия ограничений с квартплаты.

Для замученного секретаря появление еще одной группы недовольных граждан было событием будничным. Может быть, знает он, с кем имеет дело, он посмотрел бы на это иначе. Но это была его первая — и последняя — встреча с Шенбаумом. И немудрено, что секретарь допустил роковой просчет.

На первый взгляд Шенбаум, которому только что исполнилось 75 лет, выглядел, как самый заурядный, милый, маленький еврейский старичок. Но под этим демисезонным пальто с потертым меховым воротником билось сердце тигра! Вспомним Атиллу. Или лучше — Чингисхана. Если бы Чингисхан имел счастье родиться евреем и еще был бы чуть-чуть посмелее, кто знает, вот тогда он, возможно, и дорос бы со временем до Якова Шенбаума!

Яков Шенбаум родился на Орчад-стрит. Он принадлежал к тому поколению еврейских мальчиков, которое дорогу в школу прокладывало себе кулаками, ибо улицы и переулки, по которым они ходили в школу, принадлежали ирландцам, итальянцам, неграм и китайцам. Маленькому Шенбауму доставалось примерно столько же тумачков и затрещин, как и маленькому Израилю в ООН. Оба они были сходны еще и в том, что всегда давали сдачи и никогда ни в чем не уступали. Нос Шенбауму разбивали регулярно каждую неделю, зубы ему удаляли без благотельной помощи зубоврачебной техники, но дух его оставался неукротим. С раннего детства он научился выковыривать камни из мостовой и

с потрясающей меткостью швырять их в своих противников. А если на него нападала целая банда, он сражался до потери сознания. Враги, видя, что он полон решимости защищать свою честь до последнего, в конце концов отступались. Они не могли вынести суровой реальности. Конечно, они были бы не прочь его унижить, но они вдруг понимали, что для этого им придется его убить. Уже в десять лет Яков Шенбаум знал, что самое драгоценное, что у него есть, — это его гордость. Без нее он бы умер. С ней он был непобедим.

Взрослым человеком он перенес эти привычки в свои деловые отношения. В результате он, конечно, так и не разбогател, хотя был строительным маклером, — он был слишком горд, чтобы давать взятки. Его не оставляли в покое комиссии из всех возможных департаментов — департамента полиции, департамента здравоохранения, департамента пожарной охраны. О нет, эти комиссии являлись вовсе не потому, что были заинтересованы в его безопасности, его здоровье, его невозгораемости. Единственное, в чем они были заинтересованы, — это выбросить его к чертовой матери поскорей из бизнеса, пока его успех не подорвал всю их систему, построенную на взятках. Его мусор не убирали; его штрафные талоны множились с поразительной быстротой; его железобетонные здания объявлялись ловушками для жильцов в случае пожара. Все это его только подзуживало. Он наносил ответные удары: он бушевал; он “качал права”; он скандалил в газетах; он морочил голову журналистам; и один раз он даже позвонил самому президенту, Франклину Делано Рузвельту, Вашингтон, Белый дом, коллект. И такова была сила его личности, что этот вызов был принят и оплачен, хотя страна в тот момент имела самый большой бюджетный дефицит за всю свою историю.

Шенбаум любил свой Нью-Йорк. Симпатичная квартирка, в которой он жил со своей женой Софи и дочерью Соней, была его крепостью, его храмом, его святыней. Пусть квартплата поглощала всю его пенсию до последнего пенни, — квартира стоила того. Из своей надежно защищенной крепости он мог нескончаемо поносить этот омерзительный город, его чиновников, его мэра, его шум, и грязь, и отравленный воздух, его грабежи, и взломы, и насилия, все, что делает этот город беспомощной жертвой любого профсоюза, которому вздумается перекрыть мосты, любой транспортной компании, которой вздумается отменить свои рейсы, любых проституток, которым вздумается устроить демонстра-

цию на Бродвее, ибо и они честно платят свои налоги. Увы, Яков Шенбаум любил каждый гнусный дюйм этого гнусного города. Этот город был ему по вкусу. В нем он чувствовал себя по-прежнему молодым. Ему никогда не приходила в голову мысль покинуть Нью-Йорк.

До этого злосчастливого визита к мэру.

Сначала он пробовал сокрушить секретаря своей логикой. Рассудите сами. Мэр отменил контроль над-квартплатой, так? Домовладельцы тотчас повысили плату вдвое, так? И это безобразия называется демократией? И это происходит в Соединенных Штатах Америки? От имени группы квартиросъемщиков, от своего собственного имени Шенбаум требовал, чтобы домовладельцы были немедленно посажены в тюрьму. Чтобы квартплата была немедленно уменьшена вдвое. И чтобы, кроме того, во всех кухнях был немедленно настлан линолеум. В противном случае мэру придется плохо: он, Яков Шенбаум, этого так не оставит!

Секретарь привычно погасил улыбку и черкнул в служебном блокноте: "17. 40. Чокнутый старикашка".

— Вы все записали? — подозрительно посмотрел на него Шенбаум. — И насчет линолеума тоже?

— Я немедленно доложу о ваших требованиях, как только он проснется, — уклончиво произнес секретарь и подчеркнул в блокноте слово "чокнутый".

— Когда он проснется! Нет, вы слышите?! Тут весь город стоит на голове, а он себе спит! Вы обязаны немедленно его разбудить; он вас только поблагодарит, он...

— А я благодарю вас, мистер Шенбаум, — перебил секретарь, — меня ждут другие посетители.

И он сделал едва приметный знак двум стоявшим наготове полицейским.

Полицейские придвинулись и не слишком вежливо взяли Шенбаума за локти.

— Пройдемте, папаша!

С неожиданной силой Шенбаум вырвался из их объятий.

— Вы лучше не шутите с Шенбаумом! — прокричал он, повернувшись к секретарю. — Передайте мэру, что я его в последний раз предупреждаю.

И, обернувшись к полицейским, Шенбаум воскликнул:

— Ведите меня! Выбрасывайте меня вон! Стреляйте в меня! Сломайте мне ногу! Пусть вас сфотографируют для "Дейли ньюс"!

И он быстро ринулся в дверь, оставив всех позади. Яков Шенбаум никогда не затягивал свой уход.

Особенно, если это был эффектный уход.

По пути домой, в автобусе, он начал обдумывать стратегический план кампании, которую он откроет против мэра. Но тут его взгляд упал на газету, забытую кем-то на соседнем сиденье, и его внимание было тотчас же отвлечено газетными заголовками. Саудовская Аравия закупила еще 160 истребителей "Тигр" для более успешной, как она утверждала, конкуренции на средиземноморском фруктовом рынке. Объединенные Нации снова осудили Израиль за очередной акт геноцида, выразившийся в том, что арабы Иудеи и Самарии до сих пор не обеспечены цветным телевидением.

В своей войне со всем миром Шенбаум делал одно исключение. Этим исключением была крохотная страна, созданная вопреки всякому смыслу и всякой надежде в суровой пустыне, в самом центре проживания шестидесяти миллионов арабов, которые ни за что не хотели, чтобы она там существовала. Если бы сам Шенбаум выбирал место, чтобы посильнее разозлить всех соседей, он не смог бы выбрать лучшее. Год за годом он наблюдал за борьбой за существование, столь похожей на его собственную, которую вела эта немислимая нация с ее немислимыми гражданами, доводившими немислимые войны до немислимых побед. О, конечно, он никому не признавался в своих чувствах. Какой бы он был Яков Шенбаум, если бы не критиковал каждый их шаг?! Но его снедало завистливое восхищение, когда он видел, как Израиль в одиночку стоит против всего мира, стремящегося принудить его к капитуляции — то ли с помощью бомб, то ли с помощью помощи. Ибо, как любил повторять Яков Шенбаум, если у тебя есть такой друг, как Генри Киссинджер, то зачем тебе еще враги?

Софи всегда мечтала, что, когда Соня наконец выйдет замуж, они с Яковом уедут в Израиль. Конечно, Шенбаума невозможно было уговорить, но Софи имела к нему ключик. Прежде всего, скажет она, в Израиле никто не может воевать с муниципалитетом, потому что там все чиновники евреи, как же ты будешь на них кричать? Это должно было уязвить Шенбаума в самое сердце: он считал себя вправе кричать на кого угодно, будь то еврей, христианин или буддийский монах. Соблазн потягаться силами с правительством, которое сплошь состоит из упрямых еврейских тупиц, был бы

для него непреодолим.

Но за все сорок пять лет их семейной жизни Софи так и не представилось подходящей возможности. Шенбаум неплохо зарабатывал, но из-за особенностей его темперамента большая часть заработанного уходила на адвокатов и судебные издержки. А остальное уходило на Соню, их единственного ребенка, девицу очаровательную, светловолосую и упорно утверждавшую, что ей только что исполнилось девятнадцать. 19 — в позапрошлом году, 19 в прошлом, 19 в этом — люди уже начали поговаривать. Соня принадлежала к поколению “освобожденных женщин”. У нее была всесторонне развитая фигура и несколько односторонне развитый мозг. Не то чтобы она была тупа, нет — просто она еще не вполне переварила все эти новые феминистские идеи. В данный момент она была как раз занята их перевариванием. Это занятие делало ее весьма популярной среди представителей противоположного пола, которые так и рвались помочь ей в ее образовании.

Шенбаум, подобно многим отцам, представления не имел об этих земных сторонах характера своей дочери. Он был весь поглощен мечтами о ее предстоящем браке с представительным и богатым доктором-ортодоксом, которого нашла для дочери Софи. Этого гинеколога-миллионера с Парк-авеню Софи присмотрела несколько месяцев назад. Выяснив, что он холост и даже доволен этим, она послала Соню к нему на консультацию. Доктор вошел в кабинет, и на этом все было кончено, — по крайней мере, для него. Круг его специальных интересов удивительно совпал с тем, в котором усиленно специализировалась последние годы Соня. Природа неотвратимо делала свое, а Софи — свое. С помощью ее советов доктор был переигран в первом же раунде. Соня наступала; Соня отступала; Соня уклонялась. Доктор пока еще не купил обручального кольца, но его пыхтение слышно было до самой Мэдисон-авеню. Он пригласил Соню в свою квартиру и угостил ее кока-колой. Соня весь вечер была сама теплота и нежность, но упорно оставалась в вертикальном положении, хотя от кока-колы ее мучило. Доктор подливал в каждый следующий стакан все больше рома. Соня оставалась застегнутой на все пуговицы. Доктор готов был отдать жизнь, чтобы хоть издали взглянуть на то самое, за рассматривание чего с расстояния трех дюймов другие женщины платили ему сто долларов за визит. Вообще-то говоря, он и Соню уже рассматривал с этого расстояния несколько раз и всю ее топографию знал досконально. Чего же

он сходил с ума? Видимо, так уж распорядился Господь, — чтобы и у гинекологов были дети. Короче, доктор склонился к сониным ногам, побежденный, он сделал официальное предложение и продолжал наклоняться дальше, пока не рухнул на пол: он был пьян в стельку, Соня же весь свой ром аккуратно выливала в стоявший за ее спиной аквариум с тропическими рыбками, которые к этому времени уже плясали румбу вокруг своего фонтанчика.

Всех этих интимных деталей Шенбаум не знал. Софи сообщила ему только готовые результаты. И вот теперь, приближаясь к дому, он размышлял об этих результатах, как вдруг увидел карету скорой помощи, с диким воем отъезжавшую от его подъезда. Шенбаум мысленно сделал пометку — немедленно поднять кампанию в газетах: что они себе думают, эти врачи? Устраивают невыносимый гешрай — и все для того, чтобы побыстрее отвезти пациента туда, где вокруг него будут ходить на цыпочках! Но тут он увидел бегущую к нему заплаканную Соню и с ней — нескольких соседей, тех самых, которые всегда включали свой телевизор на такую громкость, что лучше бы их самих включить в электрическую сеть!

— Папа! — крикнула Соня и обвила его шею руками.

Вообще-то Соня немного стыдилась своего отца с его бесконечными письмами в газеты по поводу налогов, по поводу преступности, по поводу телевизора у соседей, по поводу президента, а также по поводу папы римского, которого Шенбаум обвинял в непоследовательности. "Как он может запрещать и аборт, и разводы одновременно? Неужели этот старый шлимазл не видит, что одно исключает другое?" — негодуяше восклицал Шенбаум. Но бывают минуты, когда даже освобожденной девушке нужен отец. Один вид маленькой неказистой фигурки Шенбаума наполнил Соню такой же радостью, как первый весенний дождь. В данную минуту ей необходим был человек, который не побоялся бы накричать на самого Господа Бога.

— Папа! — воскликнула Соня. — Они увезли маму в больницу! Это все из-за меня!

— Что случилось? Ты ее ударила?

— Хуже. Я сказала ей, что свадьба не состоится!

— Этот мерзавец не хочет на тебе жениться? — начал закипать Шенбаум.

— Нет, папа. Это я не хочу.

— Ну тогда еще не страшно, — облегченно вздохнул Шенбаум. —

Что такое, мы не найдем тебе другого доктора? Ты знаешь, сколько сейчас в стране дипломированных гинекологов? В крайнем случае будет дантист.

— Да нет же, папа, ты не понимаешь. Я хочу быть свободной личностью. Я вообще не хочу выходить замуж. Особенно за доктора. Никогда в жизни. Но это, конечно, не значит, что я не хочу вообще жить с мужчиной. Я готова. Сколько угодно! До тех пор, пока он мне не надоест.

— Соня, — сказал Шенбаум, — скорей верни эту скорую помощь, у меня что-то с головой не в порядке...

х х х

Судьбоносное совещание руководителей арабских стран на этот раз происходило в Ливии, — чтобы террористам, если они, не дай Бог, пожелают снова кого-нибудь похитить, как на венской встрече министров стран ОПЕК, не пришлось требовать самолет для перелета в арабские страны. Никто, впрочем, так и не понял, зачем им вообще нужно было похищать тогда своих же братьев-арабов, чтобы потом их тут же выпустить, — разве что они просто давно никого не похищали и соскучились по рекламе.

Совещание происходило за закрытыми дверьми. Тон задавал молодежавый ливийский головорез полковник Муамар эль-Кадафи. В данный момент он излагал своим гостям тот самый план действий, который, неведомо для них, вел арабские страны к неизбежному и роковому столкновению с Яковом Шенбаумом.

— Наша тактика приносит плоды, — начал Кадафи. — Когда долго бьешь человека по голове молотком, то стоит тебе перестать, как ему сразу становится значительно легче. Каждый раз, как мы повышаем цены на нефть на пятнадцать процентов, журнал "Тайм" слегка журит нас на своей последней странице. Но стоит нам повысить цены всего только на десять процентов, как они отводят нам первую полосу. Разумеется, мы повышаем цены только из-за инфляции на Западе. Мы еще не разобрались в том, каковы причины этой инфляции, но вот что подозрительно: каждый раз, как мы повышаем цены, эта их инфляция тут же начинает увеличиваться. Не иначе как здесь какой-то заговор против нас, и конечно же это дело рук проклятых израильтян. Запад все больше и больше начинает понимать, кто его настоящий враг. Израильтяне до сих пор не поставили Вашингтону ни одной канистры нефти в доказательство своей хваленой дружбы. Халву они экспортиру-

ют тоннами, а нефти — ни капли. Экономика Соединенных Штатов переживает кризис, а Израиль и пальцем не пошевелит, чтобы ей помочь. Такое подлое поведение способно подорвать последнюю веру в человеческую порядочность.

И он печально покачал головой. Король Саудовской Аравии Халед, приятный старичок, который правил своей страной благодаря своим добрым делам, благодаря любви своего народа, а также благодаря тому обстоятельству, что кто-то во-время пристрелил его брата, выразил мнение всех присутствующих, осторожно спросив:

— Слушай, Муамар, ты серьезно думаешь, что нам следует их поприжать? Они ведь могут и разозлиться. И потом, тебе не кажется, что эти голосования в ООН стали слишком уж подозрительно единодушными? Может, нам следовало бы подбрасывать Израилю время от времени парочку-другую африканских голосов?

Понятно, по-арабски это звучало несколько иначе, но за смысл я ручаюсь.

— Ерунда! — отрезал Кадафи. — Нам нечего опасаться. Когда мы ввели первое эмбарго, все говорили, что теперь американские дороги опустеют. А посмотрите, что получилось? Они покупают у нас еще больше нефти, чем раньше. Смертность на их дорогах выросла на двадцать процентов. Да любой американец скорее пожертвует своим домом, своей семьей и даже своей любовницей, чем поставит свою машину на колодки. Нет, до сих пор мы их только щекотали. Теперь настало время серьезных действий. Пора приступить к осуществлению наших планов "А" и "В".

Присутствующие переглянулись. Все знали, о каких планах идет речь. Первый план, "А", был сама простота: повышать цены на нефть до тех пор, пока Запад не превратится в пустыню Сахару, а арабские страны — во французскую Ривьеру. Амман станет Парижем, а Манхаттан превратится в Шарм-э-Шейх.

Конечно, все это произойдет не сразу. Но резкое повышение цен на нефть должно было вызвать такой возмущенный вопль на Западе, такой страх за свои автомобили, что в общем шуме никто не заметит, как танки и орудия, проданные в обмен на бензин, в огромных количествах концентрируются в Синае и на Голанах. А тогда настанет очередь плана "В".

План "В" был еще проще, чем план "А". Это был план решающей битвы.

Поклявшись строго блюсти в тайне свои решения, арабские

лидеры отбыли в свои дворцы. На пути обратно, в самолете, иракский министр иностранных дел лениво перелистывал "Нью-Йорк таймс", где полторы страницы биржевых новостей занимали курсы иракских капиталовложений. Ему и в голову не пришло заглянуть на последнюю страницу, в раздел платных объявлений. А зря. Ибо именно в этот день на этой странице в траурной рамке появилось извещение о смерти незабвенной Софи Шенбаум. Но даже прочти он это, могло ли ему прийти в голову, что муж покойной со своей дочерью, исполняя предсмертную волю усопшей, уже купили билеты на рейс авиакомпании "Эль-Аль" курсом Нью-Йорк—Тель-Авив?

Но именно так оно и было. Судьба в облике Якова Шенбаума уже взлетала в "Боинге-747" наперерез арабским лидерам, торопясь свести на нет все их обозначенные по алфавиту планы.

х х х

Огни Земли Обетованной сверкали под крылом огромного "Боинга", снижавшегося на посадку в аэропорту Бен-Гурион, он же Лод, он же бывшая Лидда. Новое название было дано аэропорту, разумеется, после того, как Бен-Гурион умер и был похоронен, потому что при жизни ни один соотечественник и не подумал бы доставить Бен-Гуриону такое удовольствие. Верно, Бен-Гурион чуть ли не собственноручно создал эту страну, но разве он не был достаточно вознагражден уже тем, что соотечественники выбросили его из правительства, вышвырнули из созданной им партии и отправили в пустыню Негев?!

Дело в том, что израильтяне просто не хотели, чтобы власть испортила их любимого лидера.

Бен-Гурион, будучи сам первым по счету израильтянином, лично это понимал. Он знал, что все это продиктовано пылкой и заботливой любовью. Как патриот, он не мог не ответить народу взаимностью. Поэтому он нарочно развалил свое правительство. Это ему было тем более легко, что он терпеть не мог своих министров. Всю свою деятельность он посвятил изобличению Пинхаса Лавона, которого он называл шпионом, предателем и шлимазлом, что ставило Лавона на одну ступень выше Гамаль Абдель Насера — тот не удостоился "шлимазла". Добив Лавона, Бен-Гурион вышел в отставку, удалился в кибуц Сде-Бокер и выключил свой домашний телефон. Когда страна в нем нуждалась, министрам приходилось отправляться в пустыню и упрашивать его

вернуться и показать им, как нужно выигрывать войны. Он возвращался и показывал им, как выиграть очередную войну. После этого они снова отправляли его в пустыню, а он снова выключал свой телефон.

Да, это была вполне подходящая страна для Якова Шенбаума.

Сидя у окна, он смотрел вниз. Столько огней, столько высоченных зданий, столько отелей на берегу моря! "Так вот как они используют деньги, которые я даю Магбиту?! — думал Шенбаум. — Я написал на чеке, что деньги должны пойти на покупку танков и колючей проволоки, а они вместо этого строят себе тут Майами Бич!" Он раздраженно заворчал. Еще не приземлившись, он уже был готов начать войну с израильским правительством.

Сойдя с трапа, они погрузились в переполненный автобус, который доставил их в битком набитое здание аэровокзала. Здесь было шумно, жарко и невыносимо томительно. Это был Ближний Восток. Шенбаум и Соня с любопытством озирались вокруг, стараясь высмотреть следы взрыва последней по счету террористической бомбы, дырки в стенах от последней по счету автоматной очереди. Когда они покидали аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, их проверяли с жуткой дотошностью — еще бы, ведь они летели в Тель-Авив! Дважды открывали и перетряхивали их багаж, затем вызвали полицейских собак, натренированных на вынюхивании пластиковых бомб, и наконец их самих подвергли тщательному личному досмотру.

— В чем дело? — возмущенно кричал Шенбаум. — Может, я кажусь вам похожим на араба? И не стыдно вам заглядывать старому человеку в штаны? Ладно, заглядывайте! Если найдете что-нибудь интересное, не забудьте мне тоже рассказать — это будет приятный сюрприз!

— Папа, ша! — тихонько шепнула Соня. — Это же все ради Израиля!

Услышав магическое слово, Шенбаум замолчал. Он почувствовал себя виноватым. Кто знает, может, отказываясь спустить штаны, он этим помогает королю Хусейну?

И вот теперь, в аэропорту Бен-Гурион, в самом сердце тайфуна, под носом у арабов, израильский таможенный офицер махнул им рукой, приглашая пройти без всякого досмотра. Это было уже слишком!

Шенбаум застыл как вкопанный.

— Вы что, даже не собираетесь нас проверять? — спросил он.

— Шалом! — сказал офицер. — Проходите, вы наши гости.
— Послушайте, а вдруг я везу динамит, бомбы, марихуану?!
— Папа! — взмолилась Соня.
— Проходите, — повторил офицер.
— Никогда в жизни! — рявкнул Шенбаум. — Немедленно откройте наши чемоданы! Откуда вы знаете, что я не федаин?!
— Вы же старый человек, — укоризненно сказал офицер.
— Да знаете ли вы, какие чудеса творит современный грим?!
Вы что, не видели “Кинг-Конг”?

— Проходите, — уже нетерпеливо сказал офицер.
— Папа! — опять взмолилась Соня.
— Нет, я не могу чувствовать себя в безопасности в стране, где даже не проверяют чемоданов! — бушевал Шенбаум. — Немедленно вскройте наш багаж! Теперь я понимаю, почему они застали вас врасплох в Йом-Кипур!

Не говоря ни слова, таможенник — молодой человек весьма приятной, как уже успела заметить Соня, внешности, — схватил первый попавшийся под руку чемодан, молниеносно вскрыл его, опытной рукой проверил его содержимое и тотчас извлек наружу пачку сигар “Мануэло и Вега”.

— Пожалуйста! — попросила Соня. — Мой отец — старый человек. Сигары — это его единственное удовольствие.
— Я, кроме того, регулярно плачу в Магбит, — напомнил Шенбаум.

Офицер в первый раз повернулся к Соне. То, что он увидел, заставило его глаза округлиться.

— Только ради вас, — галантно сказал он. — Для меня это не единственное удовольствие.

“О Боже, — подумала Соня, — точно то же самое, что в Нью-Йорке! Стоило лететь на край света...”

Но на всякий случай она все же улыбнулась офицеру, — исключительно ради отца, как она себе объяснила.

— В каком отеле вы остановились? — спросил офицер, засовывая сигары обратно в чемодан.

— “Астория”, — ответила Соня, пришедшая за это время к выводу, что внешность у него не просто приятная, а прямо-таки интересная.

— Лишь до тех пор, пока мы не найдем квартиру, — вмешался Шенбаум. — Мы намерены здесь поселиться.

— Хотите послушать мой совет? — спросил офицер. — Позво-

ните моему дяде Цви. Он торгует недвижимостью. Вам лучше купить себе дом. Вы себе не представляете, какие бешеные деньги сейчас дерут в Израиле за квартиру. Они совсем распоясались, эти домовладельцы, с тех пор, как мэр отменил контроль за квартирой.

— Ага! У мэра есть домашний телефон? — поинтересовался Шенбаум, засовывая в карман визитную карточку дяди Цви.

— Папа! — предостерегающе воскликнула Соня. — Ты опять?! Скоро нам некуда будет иммигрировать!

— Можно ваши паспорта? — попросил офицер.

— Зачем вам наши паспорта? — насторожился Шенбаум. — Вы что, и бюро иммиграции тоже?

— Нет, я просто хотел узнать, как зовут вашу дочь, — улыбнулся офицер. Улыбка у него была тоже очень приятная.

— Соня Шенбаум, — торопливо сказала Соня. "Незачем ему смотреть мой паспорт и выяснять, сколько мне на самом деле. Даже папа не помнит, сколько лет мне уже девятнадцать".

— Меня зовут Хаим Барак, — сказал офицер. — Но вообще-то я Гарольд Бернштейн. Я из Далласа.

— Слушайте, мы так и будем здесь стоять до Рош-Ашана? — громко возмутился кто-то сзади.

Соня оглянулась и с удивлением обнаружила, что за ними вырос огромный хвост.

Шенбаум стремительно повернулся.

— Вы что, хозяин этого аэропорта? — заорал он. Что ни говори, он уже целых полминуты ни с кем не ругался.

— Папа, пойдём, — потянула его Соня. — Нам нужно поймать такси.

— Сейчас вам такси не поймать, — сказал Хаим. — А если найдёте, вас обдерут как липку.

— Вы надеетесь, что они кончат разговаривать до Рош-Ашана? — скептически заметил кто-то из очереди. — Хорошо, если мы успеем пройти до следующей войны...

— Если вы подождете полчаса, я отвезу вас на своей машине, — предложил Гарольд-Хаим.

Шенбаум внезапно осознал, что между Соней и этим молодым офицером что-то происходит. Надо сказать, что в очереди это уже давно осознали. Но Шенбаум был слишком занят своими сигарами.

— Нет уж, мы возьмем такси, пусть обдирают! — решительно

провозгласил он, увлекая Соню к выходу. Кому нужен зять-таможенник? Шенбаум собирался прежде всего навести справки о состоянии доходов Аббы Эвена.

— Шалом, — сказала Соня Гарольду.

— Шалом — значит “мир”, — ответил Гарольд и снова скользнул глазами по ее формам.

— Шалом-шалом, — сказала Соня. “Приятные у них таможенники, в этом Израиле”.

х х х

Отель “Астория” в Тель-Авиве мало похож на своего тезку в Нью-Йорке. Начать с того, что в Нью-Йорке нет ни одной миквы, а в тель-авивской “Астории” их целых две — для Него и для Нее. Миква, как всем известно, — это ритуальная баня, происхождение которой затерялось в глубокой древности. Ее дезинфицирующие свойства идут от самого Господа; но поскольку в тель-авивской “Астории” в микву подавалась та самая израильская питьевая вода, от которой однажды отказались тридцать жаждущих верблюдов после тридцатидневного перехода через пустыню Негев, то Господу, надо думать, приходится тут основательно приложить руку. Поэтому в ресторане гостиницы пользовались бутылочной водой, справедливо полагая, что после дезинфекции воды в миквах Господь будет слишком утомлен, чтобы еще возиться с водой на кухне.

Шенбаумы прибыли в отель после длительного спора с таксистом. Шенбаум утверждал, что таксист нарочно вез их самой длинной дорогой, чтобы нагнать счет; таксист, со своей стороны, сообщил ему, что если б они ехали самой длинной дорогой, то им пришлось бы проехать через Ливан, а он еще не такой идиот. В итоге Шенбаум согласился уплатить по счетчику, но категорически отказался дать на чай, а таксист посоветовал ему отныне сто раз оглядываться, прежде чем переходить через улицу, потому что у него есть еще четыре брата, тоже таксисты, так чтобы они случайно не придавили вредного старикашку. Затем он хлопнул дверцей и удалился на сверхзвуковой скорости, оставив Шенбаума побагровевшим, но зато изрядно взбодрившимся.

Поскольку лифты в гостинице не ходили по субботам — Шаббат! — Шенбаумам пришлось тащиться на четвертый этаж пешком и тащить свои чемоданы, ибо единственный носильщик в

“Астории” оказался ортодоксальным евреем. Их комнаты, два смежных одиночных номера, были вполне комфортабельны по израильским стандартам. Шенбаум тотчас же свалился в свою постель. Его немедленно разбудил телефон.

— В чем дело? — завопил он, сняв трубку. — Человек уже не имеет права вздремнуть?

— В чем дело? — спросил женский голос.

— Кто говорит? — рявкнул Шенбаум.

— Дежурная телефонистка.

— Что вам нужно?

— Нет, это что **вам** нужно?

— Что мне может быть нужно, если я сплю? — заорал Шенбаум.

— Слушайте, что вы на меня орете? — спросил женский голос. — Я к вам вообще не звонила. Стала бы я звонить такому нуднику! Я звонила в соседний номер. Я же не виновата, что это не стены, а шматес!

Голос Сони за стеной заставил Шенбаума замолчать. Женщина была права. Стены-таки были не стены, а шматес. Телефон звонил в комнате у Сони. Шенбаум отчетливо слышал ее воркующий, теплый, глубокий смех:

— Нет, нет, я не устала, — говорила она. — Ночной клуб? Господи, неужели в Святой Земле есть ночные клубы? А что тут еще есть? Нет, нет, он спит без задних ног. Да, зарезервируйте два места...

— Три! — крикнул Шенбаум через стенку.

— О Боже! — воскликнула Соня. — Это не стены, а шматес! Папа, Хаим может тебя услышать!

— Шалом, Хаим! — крикнул Шенбаум еще громче. — Я иду с вами. Я поклялся ее матери, что не допущу никаких обезьяньих штук, пока она не выйдет замуж.

— Папа! — негодуя крикнула Соня.

— Так что на ночной клуб я не согласен. Лучше позовите вашего дядю Цви, и мы поедем посмотреть участки. Хаим! Ты меня слышишь?

— Ша, папа, — сказала Соня. — Он тебя слышит. Он говорит, что нельзя смотреть участки посреди ночи.

— Вот еще! В Нью-Йорке сейчас раннее утро.

— Безнадежно, — сказала Соня в трубку. — Звоните своему дяде. Но я вам обещаю, что завтра вечером мы все наверстаем, клянусь...

— Через мой труп! — заорал Шенбаум. — Ты забыла, что это не стены, а шматес!

х х х

С точки зрения Хаима-Гарольда вечер был безнадежно потерян. Шенбаум настоял на том, чтобы сидеть впереди, — так он лучше видел. Соня сидела сзади и разговаривала с дядей Цви.

Дядя Цви был на самом деле дядя Сэм и тоже родом из Техаса. В Тель-Авиве он был легендарной фигурой, поскольку он мыслил техасскими масштабами. Он не мог понять, что это за сделка, если участок меньше десяти тысяч акров. Но если вы купите десять тысяч акров в Израиле, то самые северные сорок окажутся уже в Дамаске. Поэтому дядя Цви-Сэм никогда не торговался по мелочам. А так как мелочи составляли почти все, что он мог предложить, то он вообще никогда не торговался.

По пути выяснилось, что Хаим-Гарольд имеет докторскую степень. Правда, не по гинекологии, а всего-навсего по геологии. Это значит, объяснил дядя Цви, что Хаим — специалист по нефти.

— Что же вы тогда делаете на таможне? — поинтересовался Шенбаум.

— Я как-то не отдал себе отчета, что в Израиле слишком мало нефти и слишком много докторов наук, — вздохнул Хаим. — В результате мне пришлось искать другую работу. А на таможню никто идти не хочет, там слишком часто стреляют, вот все и записываются добровольцами на Голаны — все-таки потише...

— Какой вы храбрый! — воскликнула Соня и перегнулась через сиденье, демонстрируя все формы, которыми ее наградила природа. Хаим судорожно проглотил комок, едва не раздавил двух ни в чем не повинных прохожих и срезал нос какому-то "Фиату"

— Храбрый! — проворчал он, овладев наконец рулем. — Меня в любую минуту могут убить террористы. Хотелось бы хоть что-нибудь запоминающееся успеть сделать до смерти...

— У меня такое предчувствие, что вы успеете, — шепнула Соня, и Хаим вылетел на встречную полосу.

Шенбаум выглядел совершенно несчастным. Эти двое прямо на его глазах затевали самые настоящие обезьяньи штучки. Вдобавок ни один из домов, которые ему показывал дядя Цви, не был ему по карману. Ничего удивительного. В Израиле, этой ма-

ленькой стране с самыми большими в мире налогами и армией, в которой служат все, кроме безногих инвалидов, бушевала инфляция. А Шенбаум хотел не просто дом. Он хотел еще и землю. В Нью-Йорке он довольствовался квартирой. Здесь ему хотелось иметь кусок земли. Обетованной.

Наконец, когда они довольно далеко отъехали от центра, Шенбаум вдруг схватил Гарольда за плечо:

— Остановите машину! Вот то, что мне нужно! Цви, сколько стоит этот дом?

— Какой дом? — воскликнул Цви. — Я не вижу никакого дома. Развалины я вижу, поломанную крышу я вижу, никакого дома я не вижу!

— Для вас развалины. Для меня это дворец. Я приведу его в порядок собственными руками!

— Папа, — вмешалась Соня, — не забывай, что тебе семьдесят пять!

— Шестьдесят! — отрезал Шенбаум. — Помни, тебе только девятнадцать!

— Эти развалины я не продам даже своему злейшему врагу! — сказал Цви.

— Сколько вы за них хотите?

— Три раза столько, сколько они стоят!

— Я не дам больше, чем в два раза больше!

— По рукам!! Только переезжайте прямо с утра, пока они не развалились окончательно!

На обратном пути Шенбаум сел рядом с дядей Цви, чтобы обсудить детали контракта, а Соня устроилась рядом с Хаимом и всю дорогу держала его свободную руку в своей — в основном с целью самозащиты. Гарольд объяснял ей, что камни, которые она видела вокруг своего будущего дома, — вулканического происхождения. Кстати, не может ли он заглянуть к ней попозже, когда ее старик наконец уgomонится?

— Ша, — шепнула Соня. — Я не знаю. Нам придется все время молчать.

— Это как раз тот способ, который мне больше всего по душе, — сказал Хаим. — А после мы сможем писать друг другу записочки.

— Какой вы быстрый! Уже и "после"! — сказала Соня. — Я еще даже не сказала "да".

— Вы ошибаетесь. Вы еще даже не сказали “нет”, — улыбнулся Хаим.

Определенно, улыбка у него была очаровательная.

х х х

В эту самую минуту в другом конце страны, в Иерусалиме, в дом израильского премьера явился неожиданный гость — начальник разведывательной службы Израиля. Премьер, который вступил в свою должность после “израильского Уотергейта”, вынудившего Ицхака Рабина провести досрочные выборы, уже готовился отойти ко сну. Он встретил своего начальника разведки так, как будто ночные визиты были ему не в диковинку. Потому что именно так оно и было.

— Шимон, — укоризненно напомнил он в сотый раз, — ты же мог позвонить по красному телефону. Разве он не для этой цели предназначен?

— Да, но он же у тебя вечно занят, — напомнил ему Шимон Ган, доставая из кармана большой фотоснимок. — Я хотел, чтобы ты взглянул на это собственными глазами. Наши дорогие соседи не знают, что американцы снабжают нас снимками со своих спутников. Впрочем, американцы этого тоже не знают.

Премьер исследовал фотоснимок своим опытным солдатским глазом. Несколько участков на северной границе Израиля и в Синае были сплошь покрыты яркими маленькими точками.

— Танки, — сказал он.

— Совершенно точно, — подтвердил начальник разведки. — Наши друзья испытывают большие трудности. Они накупили столько танков, что им уже негде их ставить; вот они и придвинули их поближе к нашим границам. Скоро они решат, что единственное место, где их можно разместить, это **внутри** наших границ.

— Острейшая проблема современности, — согласился премьер. — Совершенно негде парковаться. Я им сочувствую.

— Что будем делать? Построим для них гараж?

— Ну, зачем уж так сразу? Для начала придется обратиться в ООН. Нам сейчас очень пригодилась бы хорошая хохма.

Он задумчиво посмотрел за окно — туда, где Господь вместе с Моисеем и Сесилем де-Миллем когда-то заставили расступиться Красное море.

— Или хорошее чудо, — добавил он.

Если Господь его и услышал, Он не подал вида.
Во всяком случае в этот момент.

х х х

Соня ожидала в своем номере, одетая только в ночной халатик. Раздался стук в дверь. Сердце ее забилося учащенно. Она приоткрыла халат и распахнула дверь.

— Позор! — крикнул Шенбаум, входя в номер. — Запахни халат и закрой дверь, я должен с тобой поговорить.

— Папа, в чем дело? — обиженно воскликнула Соня.

— Я обещал твоей матери, зихрона ле-враха. Соня, вспомни, что написано в Библии: "Не прелюбодействуй!"

— Папочка, прелюбодействовать можно, только выйдя замуж. В десяти заповедях ничего не сказано насчет незамужних.

— Бог не думал, что нужно специально предостерегать порядочных еврейских девушек. Бог тоже не может все предусмотреть. Что Он, футуролог какой-нибудь?!

— Папа, — сказала Соня. — Сегодня все иначе. Сегодня девушке разрешается брать от жизни все, что можно.

— Слушай, я сорок пять лет спал с твоей матерью. И все это время я хотел спать с Гретой Гарбо. Так что, я умер от этого?

— Значит, ты был несчастлив!

— Пхе, при чем тут счастье? Мы были женаты!

— Это не самое важное.

— А что самое важное? Счастье? Тоже мне счастье — лишний раз с кем-нибудь переспать! И ради этого, по-твоему, Господь трудился шесть дней подряд, без передышки?! Кто сегодня трудится шесть дней подряд? Соня, я хочу зятя, на которого я смогу кричать. Я хочу внука. Это Израиль, Соня. Здесь все евреи ходят с высоко поднятой головой. Почему один твой отец должен ходить с опущенной?

И тут, поняв, что он признался в своей слабости, Шенбаум резко отвернулся.

— Иди делай, что хочешь! — выкрикнул он. — Повесь вывеску: "Сонька-гулящая, торговля оптом и в розницу". Ты убила свою мать, теперь убей своего отца, зато ты сможешь наслаждаться!

Соня почувствовала, что сердце ее дрогнуло. Человек, который бросал вызов мэру Нью-Йорка, капитулировал перед собственной дочерью! Она присутствовала при отступлении Наполеона от Моск-

вы. Она не могла этого вынести. Она подошла к Шенбауму и положила руку ему на плечо.

— Папа, — тихо сказала она. — Я попробую. Я попытаюсь быть старомодной порядочной девушкой. В конце концов, в этом есть даже что-то новое.

И она поцеловала его — в самый раз, потому что дверь открылась без стука, обнаруживая Хаима-Гарольда в обнимку с бутылкой вина и с блаженным выражением на лице.

— Входи, входи! — воскликнула Соня. — Входи, папа хочет на тебя покричать...

х х х

Кикар Малхей Исраэль означает на иврите "Площадь царей Израиля". Именно здесь располагается здание тель-авивского муниципалитета. Но даже Якову Шенбауму не удалось прорваться сквозь плотный кордон секретарей, окружающих тель-авивского мэра. Вместо этого его перебросили в крохотную комнатку, где восседал заместитель заведующего отделом водоснабжения. Это, разумеется, не улучшило настроения Шенбаума, который и без того, как известно, не отличался ровностью характера.

— Как у вас называется эта бессмыслица? — негодуяще воскликнул он, размахивая счетом на воду.

Заместитель, посевший в схватках с гражданами, у каждого из которых за спиной была по меньшей мере одна большая Катастрофа и несколько катастроф поменьше, устало посмотрел на Шенбаума:

— Плати и выметайся, — сказал он насколько мог дружелюбно.

— Я живу в своем доме всего шесть дней, — закричал Шенбаум, — а счет я получаю за шесть месяцев! И вдобавок с меня дерут безумные деньги за воду, которая пахнет так, будто ее только что вылили из миквы Ясера Арафата! Да будет вам известно: я и не вздумая платить!

Шенбаум привык к чему угодно, но только не к полному безразличию. Этого он не мог перенести. Но именно на это он натолкнулся. Чиновник только пожал плечами. Увы, он тоже не знал, с кем имеет дело. Бесконечно большая сила столкнулась с абсолютно неподвижным объектом.

— Тов, — сказал чиновник. — Не хочешь платить — не плати. Мы

отключим тебе воду. Хочешь быть шлимазлом — на здоровье. А теперь выметайся.

— Так вот как вы разговариваете с гостями из Америки?!

— Тут тебе не Америка. Тут Израиль. Мы здесь так разговариваем даже с премьер-министром.

Не в силах оспорить этот достоверный факт, Шенбаум сменил тактику.

— Вы хоть сами пробовали эту воду?! — поинтересовался он.

— Что я — ненормальный? Я пью швепс-лемон.

— Но вы же заместитель заведующего! Вы обязаны пробовать!

— По-твоему, заведующий отделом электричества обязан совать пальцы в розетку? — ласково осведомился чиновник. — Плати по счету. И освободи помещение.

— Как ты смеешь грубить старому человеку?!

— Это ты мне говоришь? — удивился чиновник. — Да я старше тебя лет на десять!

— Никогда бы не сказал, — пробормотал озадаченный Шенбаум.

— Вот именно. Потому что я не пью эту воду. А теперь выметайся наконец, старый шлимазл! Я занят!

Шенбаум перегнулся через стол:

— Осторожней с Шенбаумом, — предупредил он. — С ним шутки плохи. Я пробую свой собственный артезианский колодец! Я вас всех разорю!

Чиновник захохотал. Он давно уже не имел повода хорошо посмеяться. На работе и дома с женой ему было не до смеха.

— Бури! — воскликнул он. — Ты знаешь, сколько тебе придется пробурить, чтобы докопаться до воды?! Даром, что ли, думаешь, мы берем такие деньги? Иди, бури себе до второго пришествия, которого я лично ждать не собираюсь.

Этот смех переполнил чашу. Шенбаум выпрямился во весь свой рост — пять футов четыре дюйма. От гнева он казался сейчас намного выше — все пять футов и пять дюймов, пожалуй.

— Я — буду — бурить! — торжественно провозгласил он. — Я буду бурить, хоть бы мне пришлось бурить до самого Китая! Я не остановлюсь, пока не найду воду. Но я тебе гарантирую, что я ее найду! Запомни, это сказал Шенбаум!!

И он стремительно удалился. Еще один эффектный уход Шенбаума.

Чиновник откинулся в своем кресле. Что-то в голосе этого старичка его встревожило. Эта уверенность напомнила ему что-то

уже слышанное однажды: то ли голос Авраама, сзывавшего израильтян, то ли голос Моисея, возвещавшего евреям десять заповедей...

х х х

Хаим-Гарольд Бернштейн был не из тех, что теряют время даром, особенно в любовных делах. Поэтому, когда Соня сказала ему, что отец отправляется на весь день в Тель-Авив ругаться по поводу воды, Гарольд немедленно ухватился за представившуюся возможность.

К этому времени, как ни странно, Соня и Гарольд искренне привязались друг к другу. Соня обнаружила в Гарольде нечто поэтическое, мечтательное, идеалистическое; Гарольд открыл в Соне родственную душу. Оба они чувствовали себя пионерами, колонистами, первопроходцами на неизведанных землях Израиля. Вот и сейчас, сидя на софе и держа Соню в объятиях, Гарольд попробовал предпринять очередные первопроходческие попытки. Соня решительно отстранилась.

— В чем дело? — удивился он.

— Я не могу. Я обещала папе — ничего такого, пока я не выйду замуж.

— Великолепно. А я никому ничего не обещал. Поэтому ты просто ложись и ничего такого, а я возьму на себя все остальное.

Соня привстала с софы.

— Послушай, Гарольд, — сказала она. — Когда мы поженимся, мы сможем быть вместе целых сорок пять лет. К чему спешить?!

— Знаешь что: пусть будет сорок четыре с половиной и начнем сейчас же!

— О да, — сказала Соня, — и обокрасть самих себя!

— Соня, — сказал Гарольд, — я не могу обещать делать что-то целых сорок пять лет, пока я не выясню, нравится ли мне делать это хотя бы первые десять минут. Ну, скажем, пятнадцать...

— Ты хочешь заставить меня делать что-то ужасное? И это еще до свадьбы?

— Если это так ужасно, почему ты хочешь делать это целых сорок пять лет?

— Я не хочу!! — крикнула Соня, в которой вдруг пробудился дух отца. — Я вообще тебя ненавижу, Хаим Барак! И тебя, Гарольд Бернштейн! Убирайтесь отсюда оба!

В ответ Гарольд сгрёб ее в охапку и принялся целовать. Сначала Соня сопротивлялась. Затем она перестала сопротивляться и начала деятельно помогать.

И тут земля под ними поплыла.

Это ошеломило их обоих. На миг они замерли. Но Гарольд тут же снова сгрёб Соню в объятия и снова страстно поцеловал. Земля поплыла вторично.

Глаза Сони наполнились слезами. Хемингуэй был прав! Они с Гарольдом были созданы друг для друга!

Откуда им было знать, что именно в этот момент в пустыне Негев вблизи атомного реактора в Димоне Израиль взорвал свое первое секретное подземное устройство? Кто вообще об этом знал? И даже когда некоторые узнали, не все из них поверили...

Когда старый Шенбаум вернулся из мэрии, счастливая парочка встретила его у дверей.

— Папа, — объявила сияющая Соня, — мы с Гарольдом решили пожениться!

— Что вдруг? — подозрительно спросил Шенбаум.

— Земля поплыла, — просто и ясно ответила Соня.

— О! — воскликнул Шенбаум. — Это та выгребная яма, которую я вырыл за домом. Она наверно провалилась.

— Это не выгребная яма, — сказал Гарольд. — Это настоящая любовь.

И в доказательство он поцеловал Соню.

— В таком случае... — сказал умилившийся Шенбаум, — мы должны распить по рюмочке. У меня тут припрятана сливовица.

— Папа! — вскричала Соня. — Я знаю твою сливовицу. Если ты собираешься угощать нас неразбавленной, ты будешь иметь похороны вместо свадьбы.

И она бросилась на кухню. Но вместо воды из открытого крана вырвалось только протяжное утробное шипенье.

— Это мерзавец из муниципалитета! — заорал Шенбаум, багровея. — Он отключил нам воду! Но ему эти штучки даром не пройдут! Мы пробурием себе собственный колодец!

— Было бы дешевле уплатить по счету, — осторожно предложила Соня.

— И доставить ему удовольствие? Никогда. Я скорее умру. — И Шенбаум повернулся к Гарольду. — Тебе дали степень доктора по бурению, да? Завтра же с утра мы начинаем бурить!

При одной мысли о бурении у Гарольда по спине поползли мурашки.

— Кто знает, как глубоко залегает здесь водяной пласт, — уклончиво сказал он.

— При чем тут пласт! — возмущенно крикнул Шенбаум. — Мойсей произвел воду прямо из камня, это было где-то здесь за углом. Может, нам придется пробурить всего пару футов. Этот мерзавец из муниципалитета лопнет от злости.

— Папа, а как же свадьба? — робко спросила Соня.

— Какая может быть свадьба без воды? — изумился Шенбаум. — А медовый месяц? Или, может быть, вы собираетесь весь месяц вытираться сухим полотенцем? Нет, завтра с утра я приглашаю бурильную компанию, и мы начинаем. Вечером у нас будет вода, а послезавтра мы разошлем приглашения на свадьбу.

х х х

Как и многие другие хорошие идеи, эта тоже не пошла так, как было задумано. Бурильная компания прибыла со своей установкой. На Пинскер-стрит зарокотали моторы. Шум стоял такой, будто одновременно работали тысячи бормашин, вгрызаясь в одного-единственного пациента. Буры уходили вниз, в гранит, а стоимость работ — вверх, в небеса.

Когда она достигла астрономической цифры, Шенбаум помрачнел. Соня, отчаявшись, решила напомнить ему, что за двести лир муниципалитет может немедленно включить им воду. Шенбаум наотрез отказался уплатить мерзавцу из муниципалитета даже десять агорот. Бурильная компания сдалась первой. Она объявила, что скважина пройдена на максимальную глубину, вода не обнаружена, работы прекращаются. Шенбаум попросил оставить ему оборудование — за дополнительную плату, разумеется. Когда рабочие удалились, он начал бурить собственноручно. Когда скважина углубилась на 850 футов, Шенбаум почувствовал приступ своего застарелого ревматизма. Это могло означать только одно: вода где-то неподалеку. Но он слишком устал, чтобы продолжать бурить в этот вечер. Он едва добрал до своей комнаты и заснул раньше, чем его голова коснулась подушки.

Он не слышал, как Хаим-Гарольд Барак влез в открытое окно, снял туфли и на цыпочках прокрался наверх, в спальню, где Соня с почти девственным трепетом поджидала его.

В эту ночь они пришли к выводу, что было бы глупо откладывать неизбежное. В конце концов, Соне не вечно будет девятнадцать. В лучшем случае, еще пять-шесть лет.

Она встретила возлюбленного на пороге. Мгновение спустя они были уже в супружеской постели — несколько раньше супружеской церемонии, но что такое несколько минут по сравнению с ожидавшими их сорока пятью годами?!

И земля снова поплыла.

Но на этот раз они были слишком заняты, чтобы это заметить.

Глубоко под землей, в скальных породах, раздались грохочущие удары. Дом зашатался. Но Яков Шенбаум спал, как сурок. Он не почувствовал даже, как у него вдруг закрутило в левом колене, — а ведь это был верный знак!

Проснись, Ной! Господь взывает к тебе, приказывая: "Отдать швартовы!"

Дело стремительно близилось к кульминации — не только в спальне, но и глубоко под ней. Трубы, которые Шенбаум провел в дом в ожидании воды, затряслись от внезапного напора. Наверху, где досрочный медовый месяц был в полном разгаре, Сониная ванная, в которой она открыла все краны, превратилась в небольшой Ниагарский водопад. Грохочущий вал сорвал дверь и хлынул в спальню, унося с собой постель. К чести Гарольда, нужно отметить, что он заметил это лишь целых тридцать секунд спустя, что свидетельствует о его выдающейся способности к концентрации внимания. Все же тридцать секунд спустя он вскочил с постели и, выплюнув изо рта добрый литр воды из шенбаумовской скважины, внезапно понял, что произошло. И тут, забыв, что его костюм больше подходит для райского сада, чем для улицы Пинскер, он бросился из спальни вниз, во весь голос призывая Шенбаума.

— Вода! — орал он, что было силы. — Вода!! И не только вода!!!

Старый Шенбаум распахнул дверь и увидел своего будущего зятя в костюме Адама. А кроме того, он увидел водяной вал, несущийся на него из кухонной двери.

— Ты, мамзер, где твои штаны? — закричал Шенбаум, еще не совсем проснувшись. — Что ты тут делаешь посреди ночи?!

— Она дала трещину! — кричал Гарольд. — Она раскрылась нарасашку!

— Мерзавец, как ты смеешь так говорить о порядочной девушке?! — побагровел Шенбаум.

— Не девушка, а скважина! — вопил не своим голосом Гарольд, стараясь перекричать шум прибывавшей воды. По ее коричневому цвету и маслянистому виду он уже успел догадаться, что она идет из пластов, содержащих нефть.

Шенбаум, ничего не соображая со сна, машинально сунул руку в карман халата и извлек наружу одну из своих вечных сигар.

— Не закуривайте! — заорал перепуганный Гарольд, делая попытку выхватить сигару у старика.

Но было уже поздно. Шенбаум чиркнул спичкой.

Вместе с водой из труб вырывался природный газ. Шенбаум заметил, правда, что вода как-то подозрительно пузырится, но не придавал этому никакого значения. Ему казалось вполне естественным, что в Израиле можно наткнуться и на скважину с газированной водой.

Сверкнула вспышка и раздался грохот, которому суждено было вызвать эхо во всем мире. Северная часть недавно отстроенного дома взлетела на воздух вместе с Шенбаумом, Соней и Гарольдом. Взрывная волна мягко опустила их на кучу щебня, выброшенного из скважины, не причинив им ни малейшего вреда, что было довольно удивительно, поскольку двое из них были в костюмах Адама и Евы.

Из скважины Шенбаума взметнулся огромный фонтан — черный, жирный и дымный. Он тут же вспыхнул, и его огненный столб уткнулся в небо, словно гигантский палец, выписывающий над арабским миром грозные слова предупреждения:

Мене, мене, текел, упарсин!

х х х

Полночь в Тель-Авиве — это три часа пополудни в здании ООН в Нью-Йорке. Генеральная Ассамблея собралась для рассмотрения резолюции, внесенной представителем Абу-Даби. Если бы вы спросили пятьдесят лет назад у среднего американца, что такое Абу-Даби, он только пожал бы плечами. Сегодня этот крохотный эмират, расположенный на берегу Персидского залива, является уважаемым членом ОПЕК. Его нефтяные богатства так велики, а население так малочисленно, что, говорят, каждому абу-дабийцу уже при рождении папа с мамой дарят "Кадиллак". Абу-Даби — страна с самым высоким уровнем процветания на каждый квадратный дюйм государственной территории. Вот почему именно

она была выбрана для приведения в действие предпоследней стадии плана "В". На этой стадии предусматривалось внесение в ООН резолюции, требующей от Израиля отдать не только все территории, захваченные у арабов, но также все остальные свои земли — за исключением узкой полоски вдоль Мертвого моря, где не было ни воды, ни растительности. Что там было зато в изобилии — это соль; предполагалось, что этой соли, приправленной небольшим количеством куриного жира, вполне хватит для пропитания оставшихся израильтян. Все вооружение израильской армии, авиации и флота резолюция требовала передать законному владельцу — ООП. Этим Израиль продемонстрировал бы свою добрую волю. После выполнения Израилем указанных требований, когда его безопасность будет, таким образом, полностью обеспечена, предлагалось созвать Женевскую конференцию. Отмечалось, что если арабы затем и столкнут евреев нечаянно в воду, это уже не будет представлять теперь никакой опасности — в Мертвом море они все равно не утонут. Таким образом, требования гуманности были тоже удовлетворены.

Делегация США немедленно собралась на закрытое совещание. Представитель США был настолько возмущен бессердечием резолюции, что не видел для своей великой страны иного достойного способа предотвратить очередное нефтяное эмбарго и остаться на высоте американских традиций свободы и справедливости, нежели воздержаться от голосования. Верх взяли, однако, более умеренные, которые, в конце концов, убедили представителя сказатьсь больным.

Резолюция была принята 108 голосами при 11 воздержавшихся, 7 больных и 13 опоздавших — из-за дорожных пробок, вызванных нехваткой бензина.

План "В" вступил в действие.

х х х

Мало кому известно, что рав-алуф Шмуэль Кишнер был тем человеком, который спланировал всю операцию Энтеббе. Самоотверженный офицер, заместитель начальника израильской военной разведки, Кишнер был правой рукой Шимона Гана. О нем говорили, что он видит так, как видел бы Моше Даян, если бы снял повязку со второго глаза. Самой большой загадкой всей операции Энтеббе было отсутствие Папаши Иди Амина в ночь изра-

ильского десанта. Разгадку знал только Кишнер. Это он во времена стажировки Иди Амина в израильских парашютных частях предусмотрительно познакомил его с самой толстой в Израиле исполнительницей танца живота Надей Хафаз, которая славилась среди знатоков своими измерениями: 46 на 54 на... кто там считает! В ночь десанта Кишнер через своих людей дал знать Иди Амину, что Надя будет сброшена к нему в Уганду на парашюте. Вид Нади, плавно спускающейся с небес в одних только парашютных лямках, мог бы выбить все прочие государственные соображения из головы любого правителя.

Надя приземлилась с легким грохотом и сумела отвлечь внимание Иди Амина на следующие 12 часов. Справедливости ради нужно отметить, что во время атаки на аэродром Иди Амину звонили; но он поднял трубку только после двенадцатого звонка и даже тогда раздраженно рявкнул: "Вы что, забыли, о чем я вас предупреждал?! Не вызывайте меня, я сам вас вызову". После чего он снова повернулся к Наде, а остальное вы знаете из учебников истории.

Шмуэлю Кишнеру некогда было выслушивать похвалы своему стратегическому гению — он был изо дня в день занят борьбой с террористами. Вот и эта ночь началась у него, как обычно: предполагаемый взрыв бомбы в районе Пинскер-стрит; загорелся дом; количество жертв пока не известно. Через 48 секунд Кишнер уже был в брюках; через 50 он уже застегивал свой мундир; и еще через 10 он уже садился в машину, которая всегда ждала у его дверей наготове. Огонь пожара виден был за несколько миль. Машина стремительно мчалась в направлении улицы Пинскер. Кишнер угрюмо размышлял о том, что через час ООП публикует бюллетень, в котором возьмет ответственность за взрыв на себя, через 24 часа ООН снова осудит Израиль и предложит ему освободить все занятые территории, а через 48 часов взорвется следующая бомба. Распорядок был неизменный, хоть часы проверяй.

Однако по прибытии на место происшествия он обнаружил некие отклонения от нормы. Пламя было намного больше, чем от обычной пластиковой бомбы; языки огня поднимались на добрую сотню футов в сопровождении страшного рева. Горящий дом окружала огромная толпа. Какой-то старик, окуженный пожарниками, орал, что во всем виноват "этот шлимазл из муниципалитета". Две пожарные машины подавали мощ-

ные струи воды на дом и разгоряченного старика без всяких видимых результатов.

Выскакивая из джипа, Кишнер увидел торопливо удаляющуюся от пожара фигуру в белом арабском одеянии. Мгновение спустя он уже схватил подозрительного человека и умелым привычным приемом повалил его на землю.

— Бога ради, — воскликнул Хаим-Гарольд, — уберите этих людей отсюда, каждую секунду может произойти второй взрыв.

Кишнер приставил пистолет к виску террориста:

— Руки вверх или я продырявлю тебе голову!

— Если я подыму руки, с меня упадет простыня, — резонно заметил Хаим.

Он был завернут в простыню, которую Соня ухитрилась спасти из горящего дома.

Кишнер щелкнул предохранителем; Хаим торопливо поднял руки; простыня свалилась, и глазам заместителя начальника разведки представилось зрелище, для обозрения которого его опытному глазу не потребовалось и секунды.

— Ты же еврей! — воскликнул он. Для Гарольда, впрочем, это не было новостью. — Завернись и объясни мне, что тут происходит!

Гарольд сбивчиво объяснил: это не бомба, а взрыв скважины. Каким-то загадочным образом на глубине всего лишь восьмисот футов оказался огромный нефтяной пласт, которого и в помине не было там неделю назад, когда он, Гарольд, производил разведку на воду. Из скважины выделяется газ; заливать его водой опасно; нужно что-то предпринять.

Из всех этих объяснений Кишнер услышал одно только слово: нефть! Его глаза и нюх подтвердили ему, что это правда. Его ум немедленно подсказал, что если это правда, то никто не должен ее знать, — правило, которым испокон веков руководствуются все разведки мира. В мгновение ока он уже был у переносной рации своего джипа, чтобы связаться со штаб-квартирой. Его передатчик был последней американской новинкой, настроенной на секретную частоту, зарезервированную исключительно для военных целей.

— 446, говорит 022! — крикнул Кишнер в микрофон. — Код 999, — добавил он, чтобы подчеркнуть экстренность сообщения.

— Алле, парень, — отозвался приятный женский голос. — Это "Ля мама" с улицы Бен-Иегуда. Можешь не торопиться — я толь-

ко что видела, как Смоки промчался в сторону университета.

Кишнер мысленно проклял предприимчивого тель-авивского маклера, который импортировал в страну тысячу этих новых американских передатчиков, хотя их использование в гражданских целях было строжайшим образом запрещено.

— Убирайся с линии, — яростно прошептал он в микрофон. — Я тебе приказываю! Говорит рав-алуф Кишнер из отдела разведки!

— Шмулик, это ты? — воскликнул голос. — Это же я, тетя Бетя! Хочешь, чтобы я сбегала вниз, в твой отдел, и сказала им включить радио?

— Тетя Бетя? Это вы "Ля мама"?

— Для всех, кроме твоего дяди. В девять он уже спит, как суслик. Его сама Элизабет Тэйлор не разбудит. Я пыталась соблазнить его штруделем — не выходит!

— 022, здесь 446, — перебил их бодрый голос. — Вы нас вызывали?

Кишнер облегченно вздохнул. Наконец-то штаб!

— Да. Код 999.

— Слушай, ты, в штабе, — снова заговорила тетя Бетя, — он хочет сказать, что тут у нас большой пожар у Шенбаума, этого мешугенер. Торопитесь. Код 999 означает "экстренно".

— Тетя Бетя, отключитесь немедленно! — рявкнул Кишнер.

— Шмулик, я же только хочу тебе помочь. А вдруг у мальчика нет книги секретных кодов под рукой. Я сама свою только вчера купила, в радиомагазине, и то случайно, у них все расхватили.

— У него все есть, все! — простонал Кишнер. — Штаб, немедленно шлите подкрепление. И соедините меня с "Голубой птицей"!

— "Голубая птица" — это премьер-министр, на случай, если ты не знаешь, — подсказала тетя Бетя.

— Тетя Бетя! — угрожающим голосом сказал Кишнер. — Если вы сейчас же не отключитесь...

— Слушай, Шмулик, что там происходит у Шенбаума? — как ни в чем не бывало спросила тетя Бетя. — Почему мне кажется, что там пахнет горящим керосином, а?

х х х

Израильские министры уже привыкли к экстренным заседаниям. Обычно их созывали, чтобы выслушать очередного американ-

ского государственного секретаря, который хотел известить их, что он согласовал наконец условия прочного мира с Лигой арабских стран и Организацией освобождения Палестины. Таких прочных миров было за последнее время, по меньшей мере, штуки три, и два из них кончились атакой арабов в Синае.

На этот раз премьер созвал заседание на крыше тель-авивского отеля "Хилтон", поблизости от скважины Шенбаума. К тому времени армия уже сумела погасить пожар, а разведка разработала легенду, согласно которой он был вызван покушением федаинов на жизнь Шенбаума, Сони и Гарольда. Шенбаум, правда, настаивал, чтобы покушение было приписано мэру Нью-Йорка, но ему резонно возразили, что это может отразиться на государственных отношениях с Соединенными Штатами.

Наступил исторический момент. Премьер вошел в комнату, где уже собрались министры, начальник генерального штаба, рав-алуф Кишнер, а также Шенбаум, Хаим-Гарольд и алуф Мордехай Хаймович, начальник геологической службы армии обороны Израйля.

Лицо премьера было бесстрастно, но в душе его бушевала буря. Она была вызвана горьким опытом. Всякий раз, как маленькому Израилю перепадала какая-нибудь удача, очередной Даллес или Киссинджер выхватывали ее у него из-под носа. На этот раз, решил премьер, мы должны хранить все в тайне до тех пор, пока наш великий друг дядя Сэм уже не сможет ничего уворовать.

— Господа, — начал премьер. — В нашей маленькой стране сделано огромное открытие, которое может изменить все ее будущее. Один из наших новых иммигрантов, мужественный, решительный и преданный стране патриот...

— За воду я все равно не буду платить! — выкрикнул Шенбаум. Его не так-то легко было купить дешевой лестью.

Премьер слабо улыбнулся. Он знал своих граждан. Страну населяли три миллиона Шенбаумов. Ему и самому иногда по утрам не хотелось вылезать из постели.

— Это мы обсудим позднее, — сказал он.

— Сейчас! — сказал Шенбаум.

— Даю вам слово премьер-министра, — сказал премьер-министр.

— В этой стране вы завтра можете стать продавцом фалафелей, — резонно заметил Шенбаум. — Я хочу, чтобы это было написано на бумаге, черным по белому.

Премьер взял себя в руки. Главное сейчас было — сохранить

тайну, а Шенбаум был законным владельцем нефтеносного участка. Премьер повернулся к министру внутренних дел:

— Включите воду нашему другу Шенбауму. Немедленно.

— Будет сделано, — заверил его министр.

— “Немедленно” означает сегодня, а не завтра, — напомнил Шенбаум.

Министр прошептал несколько слов на иврите и достал ручку и клочок бумаги.

Шенбаум успокоился и позволил присутствующим снова вернуться к премьеру.

— Вчера ночью на участке нашего замечательного патриота Шенбаума скважина, пробуренная в скале в поисках воды, неожиданно вошла в нечто, вызвавшее огромное подземное давление, а затем взрыв и пожар.

— Я в это время курил сигару, — вставил Шенбаум. — “Мануэло и Вега”.

Премьер улыбнулся той же напряженной улыбкой. При этом у него нервно дернулось веко.

— Наш друг Шенбаум в это время курил сигару “Мануэло и Вега”. Гавана.

— Куба, — добавил Шенбаум, всегда дотошный в мелочах.

— Куба, — повторил премьер, дергая уже всей щекой. — Как вы знаете, до сих пор в нашей стране не было обнаружено больших источников нефти. Скважина Шенбаума — это аномалия, она находится в месте, которое всегда считалось безнадежным, в самом сердце страны, на Минскер-стрит, Тель-Авив...

— Пинскер, — поправил Шенбаум. — Как счета на воду присылать, так у вас адрес почему-то всегда правильный.

— Пинскер, — повторил премьер, опять дернув щекой. — Господа, благодаря умелым и своевременным действиям рав-алуфа Кишнера пожар на скважине ликвидирован. Но это лишь внешняя сторона событий. Научное объяснение произошедшего изложит алуф Мордехай Хаймович из службы геологии...

— Минуточку! — Шенбаум вскочил с кресла. — При чем тут какой-то Хаймович, когда у нас есть эксперт из Техаса, доктор по нефти. Хаим, а ну, встань!

— Э-э... — сказал профессор Хаймович, который чувствовал себя предельно несчастным в своем военном мундире и в непривычной обстановке вне аудитории. — Э-э... быть может, мы с мистером Хаимом разделим наше сообщение?..

Глаза присутствующих обратились к Хаиму. Он нервно откашлялся. Не каждый день человеку выпадает перспектива освободиться от таможенной службы.

— Ученым всегда казалось странным, — начал он, — что Израиль, находящийся в самом центре нефтедобывающего района, почти полностью лишен собственных запасов нефти...

— Правильно! — поддержал его Шенбаум. — Когда Господь избирал евреев, он не предвидел, что они захотят водить "Вольво".

— Я всегда предчувствовал, — продолжал Хаим, — что где-то здесь должны скрываться главные источники нефти на Ближнем Востоке...

— Э-э... разрешите? — перебил его профессор Хаймович.

— Пожалуйста, — неприязненно ответил Хаим, уже вошедший в свою роль.

— Э-э... можно предположить, — сказал профессор, — что эти источники открылись благодаря какому-то недавнему колебанию геологических пластов...

— Но такие колебания не зарегистрированы, — возразил Хаим.

— Позвольте мне, — многозначительно кашлянул премьер. — Я вынужден попросить всех присутствующих соблюдать строжайшую секретность в отношении того, что я собираюсь сообщить. Господа, несколько дней назад произошла небольшая утечка в нашем ядерном реакторе в Димоне.

По комнате прошел легкий шумок.

— Некоторое количество расщепляющихся материалов, — сказал премьер, осторожно подбирая слова, — случайно выпали из контейнера и сами собой собрались в виде небольшой бомбочки, что его знает как. В конце концов, это может случиться со всяким. И как-то так получилось, что эта небольшая бомбочка упала вниз, в яму, вырытую для приготовления чолнта для наших доблестных солдат. Чолнт, как вам известно, это тушеное мясо с картофелем и овощами, которое нужно варить в течение, по меньшей мере, 24 часов...

— 26 лучше, — заметил Шенбаум. — Моя Софи, зихрона ле-враха, готовила чолнт каждую пятницу, просил я или не просил.

— В течение, по меньшей мере, 26 часов, — дернувшись всем телом, повторил премьер. — В армии у нас, как вы знаете, много военнослужащих, поэтому чолнта приходится готовить много. Соответственно яма была большая. Вообще-то говоря, это была даже не яма, а такая себе подземная камера на глубине трехсот

футов. Вы же знаете, что чолнт любит тепло. Да, так вот, эта небольшая бомбочка случайно упала на этот чолнт, а чолнт был горячий, и эта небольшая бомбочка каким-то образом ухитрилась себе взорваться. Совершенно случайно рядом оказались многие наши армейские ученые, которые собирались снять пробу чолнта, и благодаря этому стечению обстоятельств они смогли зарегистрировать результаты. Как мне кажется, то геологическое явление, о котором мы говорим, было вызвано этим случайным перегревом чолнта. Этот маленький подземный взрывчик чолнта, вполне мог быть причиной, заставившей нефть хлынуть в широко распахнувшуюся...

Он бросил косой взгляд на побагровевшего Шенбаума и быстро поправился:

... в скважину. Вот так, примерно. Но как вам известно, наша маленькая страна не имеет права производить такого рода бомбочки. Она не имеет также права иметь собственную нефть. Я не уверен даже, имеем ли мы право изготавливать чолнт, который вполне можно использовать как отравляющее вещество, если его варить меньше 26 часов. Вот почему я призвал вас хранить секретность. Мы убеждены, что президент Картер — наш искренний друг. Зачем нам доставлять ему хлопоты с перевозкой нашего ядерного реактора обратно в Штаты? Это, конечно, шутка. Я не подразумевал ничего оскорбительного для американского президента, поскольку ЦРУ, возможно, нас подслушивает. Открытие нефтяного источника подобной мощности следует рассматривать как государственную тайну такого значения, что любое упоминание о ней может нарушить равновесие сил на Ближнем Востоке. Поэтому я обязываю всех присутствующих хранить эту тайну. Я требую от всех присяги...

— Извините... — перебил профессор Хаймович.

— Молчать! — Терпение премьера кончилось. — Я требую присяги в том, что никто ни одним словом, ни одним намеком, ни одним...

— Извините, — снова перебил его Хаймович. — Извините, но за окном льется нефтяной дождь...

Все повернулись к окну. Внизу люди разбегались, накрывая головы чем попало. Из соседних домов выносили канистры, кастрюли и чайники. Какой-то предприимчивый водитель открыл бак своего "Вольво" и самодельным раструбом направлял в него лившееся с неба горючее. Вдали, над скважиной Шенбаума,

огромный фонтан нефти поднимался в воздух на сотни футов.

— Э-э... — откашлялся Хаймович, — я предлагаю переименовать секретную скважину Шенбаума в Пинскерстритский нефтяной фонтан.

Присутствующие молча склонили головы в знак согласия.

— Господа, — сказал отошедший от окна премьер-министр. — В демократическом государстве нет места тайне и секретности. Коль скоро это уже совершенно неизбежно, надо признать, что честность — лучшая политика. — Он едва заметно улыбнулся. — Мы скажем всему миру правду. Израиль имеет свои запасы нефти. До тысячи баррелей в день бьет из широко распахнутого Шенбаума.

И, дернув напоследок щекой, он направился к двери. Заседание израильского правительства было окончено.

ПРИМЕЧАНИЯ:

(продолжение следует)

Хас ве-халила (ивр.) — означает отнюдь не “блаженной памяти”, ибо роман писался, когда Голда была еще жива (в 1977 году). Хас ве-халила — это просто “упаси боже!”.

Зихрона ле-враха (ивр.) — вот это как раз означает “блаженной памяти”. **Шикса** — нееврейская девушка. Считается, что все “шиксы” — очаровательные, стройные нимфоманки, поэтому значительная часть жизни еврейских юношей посвящена выяснению, так ли это.

Гешрай — шум и крики, обычно в форме “Гевалт!”. Что касается “гевалт”, то рассказывают, что, когда жена барона Ротшильда рожала, барон, нервничая, играл с домашним врачом в карты. Услышав из комнаты жены стон: “Мон Дье!” барон восторженно воскликнул: “Еще нет!” Затем из комнаты послышалось “О Боже!”. Барон опять восторженно воскликнул: “Еще нет!” Наконец оттуда донеслось: “Гевалт!” “О! — сказал врач. — Теперь пора!”

Шлимазл — пожизненный неудачник. Именно в тот момент, когда его соблазняет самая красивая женщина в мире, ушлимазла не открывается молния на брюках.

Шлемиль — почти то же самое, чтошлимазл. Именно в тот момент, когда он уже соблазнил самую красивую женщину в мире, у нее не расстегивается молния на платье.

Рош-Ашана — еврейский новый год.

Шматес — тряпье, тряпка. Например, самый дорогой костюм, как он выглядит нашлимазле.

Тов (ивр.) — означает “хорошо”. Самое популярное слово в Израиле. Когда один израильтянин спрашивает: “Что же будет?”, другой всегда отвечает: “Игийе тов”, то есть: “Будет хорошо”. А если он не спрашивает, ему все равно напоминает об этом песня: “Кама тов игийе бе шана, бе шана абаа!” что означает “Как будет хорошо в следующем году!”

Агора — одна сотая израильского фунта, который еще недавно составлял одну треть доллара, а сегодня — одну его двадцатую. Когда-то Иуда продал Христа за тридцать серебреников, то есть за триста агорот, а сегодня за эти деньги на рынке Кармель в Тель-Авиве купишь разве что дырку от бублика. Вот что делает с нами инфляция!

Мамзер — незаконнорожденный. Не самое худшее еврейское ругательство.

"Мене, мене, текел, упарсим" — огненные слова, возникшие на стене дворца царя Валтасара, во время царской пирушки и предвещавшие близкий крах валтасарова царства.

Мешугенер — сумасшедший. Или человек, который с нами не соглашается.

Фалафель — лепешка с вложенными в нее овощами и шариками из зерен фалафеля. В Израиле заменяет ланч, а также завтрак и иногда — обед. Недаром Эфраим Кишон предложил изображение фалафеля в качестве израильского герба.

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО

"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

выпускает в свет книги

В. Маркмана "На краю географии"

Цена по предварительным заказам 60 лир
(для заграницы — \$4)

М. Генделева "Въезд в Иерусалим"

Цена при предварительным заказам 60 лир
(для заграницы — \$4)

Заказы принимаются по адресу:

"Москва—Иерусалим", П. Я. 23121, Тель-Авив,
Израиль

Чеки выписывать на имя:

"Фонд "Москва—Иерусалим"

Поговорим о себе, а то о нас все время говорят другие.

Когда мы начинали этот журнал, мы назвали его органом еврейской интеллигенции из СССР в Израиле. Мы полагали, что наш журнал выражает лицо этой интеллигенции, говорит о волнующих ее проблемах.

Но вот читательница Майя Улановская из Иерусалима думает иначе. Она пишет: "Не оправдались наши надежды иметь журнал, серьезно и глубоко обсуждающий проблемы, волнующие русскую алию..."

Выходит, мы с М. Улановской по-разному понимаем, что такое русская алия и какие проблемы ее волнуют.

В этом, конечно, нет ничего удивительного. Разные люди – разные мнения. Бывает еще и иначе: люди разные, а мнение одно. Такое мнение, зачастую – ходячее мнение, поверхностный стереотип, шаблон.

Существует такой шаблон и в подходе к русской алии.

За истекший год нам пришлось услышать немало претензий – самых разных и предъявленных с разных позиций. Например, Р. Рабинович в статье, опубликованной в газете "Маарив", выступила с "ортодоксально-сионистских" позиций. Она обвиняет наш журнал в антисиионизме. А К. Любарский, письмо которого публикуется в этом номере журнала, выступает с позиций, которые можно назвать "ортодоксально-демократическими", и он обвиняет журнал в враждебном выпаде против демократического движения. Организация бывших узников Сиона в Израиле назвала наш журнал "антисемитским", а М. Агурский в парижской газете "Русская мысль" охарактеризовал его материалы как "русофобские".

Казалось бы, – что общего в этих взаимоисключающих определениях? Но стоит расположить их по "национально-идеологической" принадлежности, и общность немедленно обнаруживается. Оказывается, что с "русско-демократической" стороны группа русских евреев, издающих журнал, представляется враждебной "русским ценностям". А с "еврейско-сионистской" стороны та же группа представляется враждебно относящейся к ценностям "еврейским".

Я вижу в этом проявление одного общего, шаблонного подхода к русскому еврейству.

Рассуждают (про себя, конечно) так: что такое русские евреи? В чем особенность еврейской интеллигенции из России? Особенность эта – в ее двойственности. Одна (национальная) половина души у нее – еврейская, другая (культурная) половина – русская. Это определяет ее позицию. "Русская" половинка заставляет ее интересоваться русскими делами, а еврейская настраивает по отношению к ним враждебно; и наоборот.

У этой, довольно распространенной "модели русского еврея" есть логическое продолжение. Исход, – говорят ее сторонники, – позволяет враждующим половинкам души разделиться. Русские евреи, чувствующие себя больше евреями, направляются в Израиль; русские евреи противоположного толка – на Запад. В Израиле собираются, в основном, "еврейские" русские евреи, а в эмиграции – русские евреи "русские". И это правильно,

это хорошо! Русскому еврею открыто только два пути: либо окончательно "руссифицироваться" (отказаться от еврейских корней), либо полностью "евреизоваться" (отказаться от русской культуры). Или – или, третьего не дано, потому что третье – это плохо. Кто пытается – уже в Израиле – усидеть на двух стульях, неминуемо приходит к тому, что шарахается из крайности в крайность, от антисемитизма к русофобии и обратно, – как вот журнал "22"

Я не выдумал – такая модель существует. Многие считают ее единственной логичной. Вот что пишет читатель Д.: "Ваш журнал не нужен: одни его материалы могли бы с успехом быть опубликованы в "Сионе", другие – во "Времени и мы"..."

Читатель Д. не случайно упомянул именно эти журналы. Как известно, "Сион" заявляет себя "чисто еврейским", "чисто сионистским" журналом русской алии, а "Время и мы" претендует на роль единственного выразителя "чисто демократической" и "чисто русской" ее направленности. И так же не случайно читатель Д. назвал третий журнал лишним. За этим кроется глубокая убежденность, что интересы русской алии исчерпываются двумя вариантами: чисто еврейскими или чисто русскими, третьего не дано, третье поэтому – лишнее. Оно ничего и никого не представляет.

Это как раз то, с чего я начал, – утверждение М. Улановской. Вот почему я сказал, что за этим утверждением кроется совершенно определенное представление о русской алии и волнующих ее проблемах.

Такое представление можно условно назвать "количественным". Отдельные люди в нем рассматриваются как смесь такого-то количества русской культуры с таким-то количеством еврейской крови. У одних людей больше одного, у других – другого. Людей можно по этому признаку рассортировать. Более того – их можно переделать. Отсыпать немножко культурного, подсыпать немного национального и проверить на чистоту реакции. Если реакция окажется недостаточно однозначной (например, подопытный продолжает хранить русские пластинки), – повторить операцию в интересах самого пациента. Разве не "очевидно", что лучше быть стопроцентным евреем – или стопроцентным американцем, – чем болтаться где-то посредине?!

Этот подход имеет массу практических приложений – например, в политике культурной абсорбции или в тактике "борьбы с неширой". "Количественная модель" проста и потому пользуется большой распространенностью. Как мы видим, из нее исходят не только в Израиле, но и на Западе.

Она однако не единственно возможная. И раз уж мы апеллируем все время к читательским письмам, процитирую еще одно: "... Конечно, "Сион" и "Время и мы" – тоже журналы русской алии. Но они выражают позиции крайних ее групп, по разным причинам однозначно определившихся. "22" же выражает массовое лицо русской алии, как она есть, – растерянной, мятущейся, противоречивой, сводящей счеты с собой и всем миром..."

Некоторые израильские и западные наблюдатели приходят к такому же выводу. Примером тому – статья И. Орена, публикуемая в этом номере журнала. И. Орен говорит об "атеистическом мессианстве" русской алии. Он говорит об этом, как о ее интегральной характеристике, не разделяя русских евреев на атеистов и верующих. Иными словами, он не разделяет

их на два типа, по степени веры или неверия, а рассматривает как один тип с противоречивыми свойствами.

Эту вторую "модель русского еврея" я бы назвал "качественной". Согласно первой модели в русском еврействе господствуют два "чистых" вида отношения к действительности — еврейский и русский; немногочисленные "смешанные" типы — не характерный для него осадок. Согласно второй модели дело обстоит наоборот: господствующим является некий единый и особый тип, а "чистые" — немногочисленны и непредставительны. В первом случае чувства русского еврея могут характеризоваться такими терминами как "русофобия", "русофилия", "антисемитизм", "филосемитизм". Во втором случае такие "чистые" чувства характерны только для крайних, немногочисленных групп.

* * *

Мы евреи. Мы пришли из России. Сегодня мы в своем государстве. Нас окружают в нем другие. У всех у нас — свое прошлое, у всех — общее будущее. "Не то, чем мы были вчера, а то, чем мы все вместе будем завтра, — вот что соединяет нас в одно государство", — говорит Ортега-и-Гассет.

Но разве то, чем мы были вчера, не влияет на то, чем мы будем завтра?

Как живет человек? Инстинкт самосохранения диктует ему перестраивать мир. Непрерывно, как шелковичный червь, он прядет нить своего "я", преобразуя свое окружение в свое подобие. В формах возводимой им постройки он воспроизводит себя, свои наклонности, свои привычки, свои идеи. Он лепит мир, как птицы лепят гнездо, — чтобы его "я" было в нем поудобнее.

Что делает русская алия в Израиле, — вживаясь, ворча, радуясь, мучаясь, бунтуя, больно тычась в незнакомые углы чужой квартиры? Признаемся честно, — она хотела бы вылепить Израиль на свой лад.

Израильский писатель Амос Оз как-то сказал: "Каждая алия хотела бы построить в Израиле свой прежний дом, только без прежних недостатков — израильскую Польшу, израильскую Германию, израильскую Россию..."

Но что это такое — "свой лад"? Что оно — наше "я"? Кто мы, чего мы хотим, что мы можем?

Мы евреи, мы выросли в России, мы странный гибрид — русские евреи. Вчера были испанские евреи, немецкие евреи, сегодня вот — русские евреи. О нас говорят: евреи по национальности, русские по культуре. Разве культура и национальность — это костюм на манекене, вода в стакане? Когда чудовищный пресс вгоняет один металл в другой, их потом нельзя разделить, даже разрезав. Нас прессовали под огромным давлением, десятки лет. Мои национальные чувства уже не имеют иного выражения, кроме как в моей культуре. Моя культура насквозь проросла моими национальными жилками. Разделите меня, мне тоже интересно узнать: какие клетки моей души окрашены в русский, какие в еврейский цвет?

Но было не только давление, не только насильственное сращение — было еще и неожиданное средство этих проникающих друг в друга начал в каких-то глубинных душевных пластах. словно бы они дополняли друг друга до новой полноты: пространство временем, душевную широту — душев-

ной глубиной, всеприятие – всеотрицанием; и была взаимная ревность об избрании.

Поэтому у меня нет двух душ – враждующих друг с другом, обессиливающих одна другую, раздваивающих меня. Душа у меня одна. Просто она особая.

Все по-своему особы. Я не претендую на то, что моя особость лучше или значительнее других. Она просто другая. Но от этого – не менее цельная. Именно цельная: не двойственная, не раздвоенная, не смешанная – одна.

Я не могу разложить себя на две составляющие ни в одном своем отношении – к предмету мысли или объекту чувств. Я ловлю себя на том, что у меня двойное зрение. Там, где все видят один цвет, я вижу два. Я вижу, "как все", и еще – "иначе". Неправда, что к русскому я отношусь, как русский или как еврей, а к еврейскому – как еврей или как русский. К тому и другому я отношусь нерасторжимо и целно – как русский еврей: с любовью и сомнением одновременно. Моя любовь всегда открыта ревности, моя вера – недоверию; нет той душевной глубины, на которой они бы разделились. Я расту из двух почв, но стебель у меня один. Моя принадлежность никогда не исчерпывается однозначно, и это лишает ее определенности, присущей другим. Но иногда я думаю, что в этом ограничении есть своя свобода. Иногда я думаю, что в том мире несвободы, в котором мы жили, я – самый запутавшийся в своих отношениях с кровью и почвой – был потому и свободнее других в этих отношениях. О конечно, только внутренне свободный: снаружи-то нас всех окружала колючая проволока...

Еще о нас говорят: "ассимилированные", "они все такие"... Я не знаю, что такое "ассимилированный", – по-моему, тех, кто ассимилировался, вообще уже нет с нами. Но пусть так; я и тогда не такой, как все. Разве испанский еврей тоже жил под чудовищным прессом тотальной несвободы? Разве немецкого еврея тоже утонули под гигантским прессом тотальной догмы? Разве американский еврей тоже ощущал спасительное родство в глубинах иной культуры? Мы и в этом особые: "ассимилированные", как "все", и еще – иначе.

Несвобода лепила нас в своих окаменевших формах. Она навязала нам всем двойную жизнь, двойной язык, двойные мысли – для себя и для нее. Было только два способа избежать ее ледяных рук: поддаться без остатка или воспротивиться до последнего. Большинство из нас избирало третий путь: поддавались, сопротивляясь, пестуя свою отчужденность и соглашаясь на компромиссы. От догм шарахались в крайности антидогматизма и в нем оставались догматиками. Нам, всегда совмещавшим веру с неверием, такое совмещение противоположностей давалось – естественнее, что ли? было органичнее? Наша внутренняя свобода выражалась в ироническом отстранении от самих себя в любой из своих слишком пылких и однозначных ипостасей. Мы тоже мечтали о внутренней гармонии. Но природа души диктовала нам особый идеал: с детства поняв и приняв, что для нас достижима лишь одна цельность – противоречия, мы и гармонию видели противоречивой. Мы знали, что нам заказан любой путь, кроме своего, особого – и потому, не имея возможности изменить себя, хотели бы изменить мир – пусть станет, как мы. В таком мире мы бы, наконец, свели свои концы с концами: русские с еврейскими, коллективистские с индивидуалистичес-

кими, мистические с рациональными, атеистические — с религиозными. Только в таком мире совмещенных в единое противоположностей, где каждая истина права и неправа одновременно, могло бы найти разрешение изначальное противоречие нашего "я".

Но в том, несвободном обществе это необходимое для всякого "я" созидательное действие было невозможно, — и оно уходило внутрь, формировало не внешний мир, а мир духовный. Итогом этого процесса явилось появление нового типа личности, особого "я", непохожего ни на русское, ни на еврейское, ни на так называемое "ассимилированное". И чем определеннее становилась его особость, тем невыносимее становилось его существование в том мире, где оно не могло — и никогда бы не смогло! — реализовать себя таким, как оно есть. И тем более жизненно необходимым становился для него Исход.

* * *

Исход нас объединил — под общим названием "еврейской интеллигенции из России", — дав основание искать наши общие черты и общие причины нашего бегства. Называлось многое: гнет советской системы, преследования, несвобода, антисемитизм, желание быть евреем, желание не быть евреем.

Все это верно. Но я думаю, что главная, глубинная общая причина нашего Исхода в ином. Мы бежали — мы все бежали от невыносимости и безнадёжности ситуации русского еврея. Не еврея вообще, не "ассимилированного" еврея, а именно — от невыносимости русско-еврейского существования.

Достаточно перечитать показания "Кто я", опубликованные в Еврейском Самиздате, чтобы убедиться, что не само по себе еврейское или русское начало угнетало еврейскую интеллигенцию в России. Многие из высказывавшихся никогда не сталкивались всерьёз с антисемитизмом или политическими преследованиями. Угнетала их бесперспективность своего существования как русских евреев — носителей противоречия, которое в советских условиях не имело никакой надежды на разрешение, из которого не было выхода ни в одну сторону, от которого нельзя было бежать ни в "ассимиляцию", ни в "еврейство" и с которым становилось все невозможнее жить.

Сегодня уезжают из России те, кому это противоречие уже подступило к горлу. Завтра двинутся те, которым оно только подступает.

Исход не только нас объединил, — он нас и разделил. Объединяет ведь только несвобода; свобода всегда разделяет: у несвободных людей цель одна, у свободных цели разные. В чем состояло различие наших целей? Те, кто исходит из количественной модели нашей души, говорят: выбравшие Запад бегут от своего еврейства, выбравшие Израиль стремятся к еврейству. Поэтому в Вене и Риме бегущих убеждают, что не следует бежать от еврейства, что в Израиле хорошо, потому что там можно свободно быть евреем и вокруг — все евреи. А цифры отсева растут и растут.

Если спросить рядового еврейского интеллигента из России, выбравше-

го Израиль, приехал ли он сюда ради кошерной пищи и субботних свечей, только ли для этого? — что он ответит?

Я думаю, что все мы бежали от невыносимости нашего противоречивого положения русского еврея, но каждый по-разному понимал, как это противоречие разрешить.

Такое противоречие можно разрешить двояко: найти среду, где обе его составляющие сами собой отомрут, и душа станет иной; либо — оставаясь собой — выбрать среду, где обе составляющие могут развиваться свободно, не встречая сопротивления. Иными словами: либо найти место, где можно перестать быть русским евреем, либо найти место, где можно свободно быть русским евреем.

Я полагаю, что Запад выбирают те, кто бежит не от еврейства, а от своего опостылевшего русского еврейства. Не случайно многие из них готовы стать евреями американскими. Я полагаю, что основную массу выбравших Израиль составляют те, кто хочет остаться самим собой, то есть русским евреем, — даже если они не всегда и не все осознают это или осознают до конца. Это, в основном, люди, которые просто хотят быть такими, как они есть — не меняться, не приспосабливаться: пусть Израиль приспосабливается к ним! Иначе зачем они приехали, зачем им свобода?! Это они составляют большинство еврейской интеллигенции из СССР в Израиле: врач, недовольный порядками в израильских купат-холим, инженер, вкалывающий не за квиют, а за совесть, ликудовский активист, именующий себя "русским поэтом", активист Гуш-Эмуним, разрабатывающий план русского города в Шомроне, ученый, создающий свой производственный мошав "вне израильской структуры", музыкант, упорно прививающий израильскому истеблишменту терпимость к органной ("христианской") музыке, учитель, художник, журналист, архитектор, вносящие в любую работу свое, особое отношение к делу, свои требования, свои критерии и оценки. Их коллективное и противоречивое русско-еврейское "я" с его вынесенным из тоталитарного общества уроком: недоверия к "общим истинам" и "готовым ответам", веры в то, что самое нравственное на свете — правда и гласность, желания свободно искать свои решения, высокого уважения к чужой культуре, отвращения к насилию над личностью, жадности социальной и человеческой справедливости — это коллективное "я" уже сегодня стремится воплотить себя в формах израильской жизни, в том, "чем мы все вместе будем завтра".

Не только отдельный человек неповторим и потому ценен. Неповторимую ценность составляет и каждый особый тип личности: израильский сабра, марокканский еврей, русский еврей. Из таких коллективных личностей строится здание нашей нации. Нашу коллективную ценность составляет наше русское еврейство. Это единственная наша ценность, и, отказавшись от нее, мы отказываемся от самих себя. И это действительно ценность, не только для нас, но и для Израиля, несмотря на всю свою противоречивость, а может быть — именно благодаря ей.

Я знаю людей, от нее отказавшихся. Они отгораживаются от самих себя взятыми напрокат "ортодоксальными" истинами, готовыми формулами, чужими идеями. Ортега-и-Гассет говорит как будто бы специально о них: "Их "идеи" служат им, чтобы укрыться от действительности или от очной

ставки с собой". И будто бы о них — и о нас — продолжает: "Судьба нашей жизни не подлежит дискуссии: она либо принимается, либо отвергается. Если мы ее принимаем, то наше бытие подлинно; если отвергаем, то тем самым мы отрицаем и искажаем сами себя... Мы можем делать только одно, а именно то, что мы должны делать; мы можем быть только тем, чем мы должны быть. Единственная альтернатива — отказаться делать то, что мы призваны делать".

"Дезертиры своей судьбы", как называет их Ортега, уходят от нас — и потому именно они нападают на нас: за нашу противоречивость, наши поиски, наши сомнения. Они предлагают и даже навязывают свой товар: "единственно правильные" руководящие указания и общие "истины в последней инстанции". Этого добра мы уже имели навалом. Оставаться самими собой — значит сохранять то, что нам присуще больше, чем другим: инстинктивное недоверие к готовым ответам и общим истинам. Оставаться самими собой — наш единственный шанс изменить Израиль. Как сказал один мудрый израильтянин: "Вы только будьте самими собой, и тогда все будет по-вашему. И Израиль будет такой, как вы хотите..."

В Риме эмигранты жадно расспрашивают об Израиле. Больше всего их интересует: как там "мы" — русские евреи? Можно ли там решить "наши" проблемы? Я хочу иметь возможность сказать им: Израиль — то самое место, где можно свободно быть самим собой — русским евреем, французским евреем, американским евреем, где мы нужны — позарез нужны! — такие, какие мы есть, где наш уникальный опыт русских евреев высоко котируется и ценится как валюта, где звание русского еврея "высоко торчит".

* * *

Только оставаясь верными себе и своей судьбе, отстаивая свое право быть такими, как мы есть, можем мы рассчитывать сохранить Израиль свободным для себя — и для всех других. И только такой Израиль нам нужен и подходит. Но готовы ли мы сами для такой свободы, требующей умения и подчиняться, и приказывать, и творить добро, и творить необходимое зло, и ограничивать себя, и брать на себя ответственность за судьбы других? Не думаю, что на этот вопрос можно ответить однозначным "да" или "нет". Скорее всего, следует сказать, что всей предшествующей нашей жизнью, особенностями нашего "я" мы подготовлены к тому, чтобы освободиться в совместном действии.

Мы задумали этот журнал как школу такого освобождения, как его лабораторию, его полигон. Мы задумали его как еще одну часть духовного пространства, где еврейская интеллигенция из России может быть в Израиле сама собой, то есть как пространство ее свободы, в котором все подлежит проверке: мы сами, наши убеждения и цели, весь окружающий мир...

Я рад, что в своем лагерном одиночестве нашел понимание и отклик со стороны редколлегии журнала "22", взявшей на себя нелегкий труд редакции и публикации моих лагерных "Дневников" в том несовершенном виде, который был обусловлен вполне понятными трудностями их доставки на волю. Из-за тех же трудностей адресату не удалось устранить из текстов ряд камуфляжных фраз, включенных мною для маскировки от лагерной цензуры. Все необходимые исправления и дополнения будут внесены мною в авторизованный текст книги, подготовляемый в настоящее время издательством "Москва—Иерусалим".

Эдуард Кузнецов.

СВОБОДНЫ ЛИ МЫ ДЛЯ СВОБОДЫ?

ВОКРУГ ПУБЛИКАЦИИ ЛАГЕРНЫХ ЗАПИСОК Э. КУЗНЕЦОВА

Мы начинали этот журнал как трибуну свободного обсуждения проблем. Постепенно он все более превращается в трибуну обсуждения проблемы свободы. Не наша в том вина — видно, таково настойчивое требование жизни.

Кронид Любарский

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ВИКТОРУ БОГУСЛАВСКОМУ

Дорогой Витя! Мне очень жаль, что мое первое письмо к тебе оказывается открытым. Мы с тобой расстались, как ты помнишь, в начале июля 1973 года в девятнадцатой зоне Дубровлага. Тебя увозили на этап в Ленинград, и оттуда лежал тебе путь на свободу, а у меня впереди было еще три с половиной года Мордовских лагерей и Владимирской тюрьмы. Теперь мы оба — кто волей, кто неволей — на Западе, но вот не довелось до сих пор ни встретиться, ни обменяться письмами.

Признаюсь, я был рад, увидев твоё имя в списке членов редколлегии журнала "22". Зная твою гражданскую позицию и твой художественный вкус, я априори настроился к журналу благоприятно. Тем более, что рядом с тобой в этом списке были имена, к которым я также давно привык относиться с уважением.

Тем горше мне сейчас писать это письмо. Я думал было написать немного о направлении твоего журнала еще после третьего номера, который резко мне не понравился, но так и не собрался и сожалею об этом. Ибо последний, пятый номер — это уже не просто плохой журнал. Это безнравственный поступок, после которого обычно перестают подавать руку человеку, его совершившему.

Я пишу об этом тебе, ибо уверен, что лично ты в этом не соучаствовал: я видел (и порадовался), что ты печатно отмежевался от мерзости Юрия Милославского, “украсившей” № 3.

Да, ты правильно понял: я поведу речь о публикации дневников Кузнецова, точнее тех их страниц, где он пишет о своих лагерных товарищах. Страниц, где самым невинным из всего кажется простая брань в их адрес: “подлец”, “лгун”, “интриган”, “беспринципная сволочь”. Но куда хуже то, что без брани... Я давно не читал ничего, столь пропитанного спирающей глотку ненавистью, как эти строки. Я не припомню, чтобы хоть кто-то с такой озлобленностью писал даже о палачах Лубянки и Колымы. А Кузнецов пишет о товарищах. Почему?

Твой лагерный опыт невелик, но для тебя, человека с нравственным чувством, и он достаточен, чтобы дать ответ на этот вопрос. Может быть, мне сделать это и еще легче. Я, как и ты, не был в “особом” лагере, где живет Кузнецов, но у меня за плечами два с лишним года Владимира. Владимиру далеко до “особого”, но все же это уже некоторое приближение к нему.

Я не буду тратить лишних слов на подробное описание “особого” лагеря. Он описан многократно, в том числе самим Кузнецовым. Последнее потрясающее свидетельство появилось только что (анонимно) в № 19 “Континента”. Люди, грубо вырванные из привычной жизни; люди, годами иссушаемые непрекращающимся голодом; люди, у которых мир впечатлений двадцать четыре часа в сутки ограничен четырьмя стенами; люди, у которых главными чертами повседневности стали вонь параш и склизкая грязь тюремных стен; люди, годами оскотиниваемые тупым, бессмысленным, изматывающим трудом; люди, у которых связи с близкими, родными, друзьями систематически бесстыдно прерываются; люди, для которых мир за стенами камер исчез, замкнувшись в динамике камерной “радиоточки”. Какие требования к спокойствию и терпимости можем предъявить им мы?

И в таких-то вот внешних условиях человек на месяцы, а то и

на годы оказывается запертым с глазу на глаз с другим, столь же измученным и истощенным, да еще — не дай Бог — не вполне близким тебе духовно и не с легким характером (а у кого он легкий?..) ! Кто станет ближайшим объектом неприязни, а то и ненависти? Брежнев-то далеко, а сокамерник — вот он, только руку протяни...

Я помню год, который мы провели с глазу на глаз в пятой камере второго корпуса Владимирской тюрьмы с Гилелем Бутманом. Со стыдом вспоминаю теперь, как первые "медовые" месяцы радостного общения на исходе года сменились все нарастающим раздражением по пустякам, переходящим порой в гнетущую напряженность, готовую вспыхнуть разрывом при малейшем поводе.

У нас обоих хватило ума и характера, чтобы не дать этому произойти, и, более того, продолжать дружно участвовать в совместном внутритюремном сопротивлении. И почти сразу, как мы расстались и прекратилась принудительная совместность, мне стало остро стыдно за каждую нашу нелепую размолвку, за ненужные и бессмысленные обидные слова. Я знаю, что и Гиля испытал потом то же самое. Сейчас, спустя три года, нет у меня в памяти о нем ничего, кроме глубокого уважения и благодарности за этот год. Но — это было.

У Кузнецова и его союзников — не год, а годы, лишённые даже малых передышек. Наверное, не каждый из членов редколлегии твоего журнала может это почувствовать, но умом-то разве нельзя этого понять?

Мера сил, физических и духовных, может быть перейдена у каждого из нас. Но если человека, ежедневно пытая и унижая, сумели довести до состояния скотского, кого мы будем клеймить: этого человека, надменно величая его скотом, или того, кто довел его до такого состояния?

Мы читаем в "Дневнике", как сокамерники Кузнецова О. и К. среди ночи "по-бабы" дерутся, а сам Кузнецов ("ноги калачиком") наблюдает за ними "без помех" и "со смесью удовольствия и брезгливости". Неужели ты не видишь, что в этой сцене — три человека, доведенные до состояния скотского: двое дерущихся и "с удовольствием" наблюдающий Кузнецов? Да и весь "Дневник" — свидетельство того же. Сравнивая первый, знаменитый том "Дневников" с публикацией твоего журнала, со щемящим чувством боли убеждаешься, что в чем-то смяли-таки и этого не-

сгибаемого человека. Не смогли сделать стукачом, не потянули на раскаяние, не убили ума и таланта, но какие-то нити нравственности и добра — оборвали! Но Кузнецова ли мы будем винить в этом?!

Если бы, публикуя “Дневник”, твой журнал предварил его чем-то подобным тому, что я только что написал (только изложив более ярко, как и подобает профессиональным литераторам), то можно было бы даже понять эту публикацию. Тогда это было бы неловким, но честным поступком. Но Наталья Рубинштейн в своем предисловии совсем по-иному аттестует “Дневник”: “Ненавистник пропагандной лжи, (Кузнецов) увидел, что и на нашей стороне уже скопились горы дутых репутаций, пустых деклараций, прямого пропагандного вранья. И он это вранье разоблачает, не веря, что правому делу может повредить правда. Он предлагает назвать сумасшедшего — сумасшедшим, подлеца — подлецом, а начинающего фашиста — фашистом, даже если такое заявление темнит нимбы лагерных страдальцев”.

Я очень рад, что мы никогда не узнаем, как бы называли лагерные подруги Наталью Рубинштейн после того, как она отбыла бы тридцатилетний лагерный срок, и как бы воссияла от этого правда. Хочу лишь пожелать ей, чтобы, если бы это, не дай Бог, случилось, рядом с нею оказался бы кто-то сходный не с Кузнецовым, а с мудрым Аликом Гинзбургом. Ведь это у него спросили его впечатление о К., том самом “подлеце” и “беспринципной сволочи”, о котором пишет Кузнецов, том самом, срок которого — именно названные мною тридцать лет, а не три, как у тебя, или пять, как у меня. Алик обронил одно только слово: “Пересидел”... И в этом одном слове больше боли, человечности, глубины и правды, чем во всех многословных страницах Кузнецова.

Не дай Бог “пересидеть” Наталье Рубинштейн! Во что бы превратилась она, если уже сейчас, не посидев, она считает актом гражданского мужества публично “назвать сумасшедшего — сумасшедшим”, как будто еще столетия назад человечество не доросло до понятия врачебной этики!

Не трудно заметить, впрочем, что ваша редакция и сама испытывала некое неудобство, публикуя “Дневник”. Отсюда потребность в самооправдании, выраженная в редакционном введении, где заявлено, что “борьба за свободу предполагает ниспровержение и своих собственных мифов и нетерпимость к своей собственной

лжи". Отсюда и помещенная в одном номере с "Дневником" дискуссия "Свободны ли мы для свободы?".

Разреши мне, вступая задним числом в эту дискуссию, сказать, что большинство твоих коллег по редакции рабски несвободны для свободы (речь идет не о тебе, тебе я жму руку за твоё выступление в этой дискуссии). Им еще учиться и учиться тому, что такое свобода, пока они не поймут, что "моя свобода размахивать руками кончается там, где начинается нос моего ближнего" (Р. Эмерсон). Им, дорвавшимся наконец до свободы внешней, кажется, что чем больше традиционных многоточий они заменяют откровенными словами (в прямом и переносном смысле), тем они свободнее. Как дети. К сожалению, как злые дети. Или, может быть, применить к ним семантически очень подходящее слово — вольноотпущенники? Нравственная репутация вольноотпущенников в древнем Риме вошла в поговорку.

Я помню, какое впечатление произвел на меня щит, стоящий у входа на Трафальгар-сквер в Лондоне, с крупной надписью "ЗАПРЕЩАЕТСЯ". Меня заинтересовало, что же может запрещаться в этой явно свободной стране. Я подошел и прочел: "категорически запрещается нарушать покой и комфорт каждого отдыхающего на этой площади". В этом уважении к личности и есть истинный смысл свободы, увы, непонятый пока твоими коллегами.

Публикация "Дневника" Кузнецова растоптала и унизила достоинство многих его союзников. Я сейчас не могу и не хочу разбирать вопрос о том, прав Кузнецов или нет по-существу. До меня доходили и прямо противоположные сообщения об этих конфликтах, равно как и противоречивые сообщения о самом Кузнецове. Для нашего разговора это не имеет никакого значения.

Важно совсем другое: оскорбительный материал опубликован о людях со связанными руками и с заткнутым ртом. Не мне тебе объяснять, что не ходит почта-экспресс из Сосновки в Иерусалим; не мне тебе объяснять, что иной зэк, то ли в силу обстоятельств или случая, то ли в силу личных качеств, находит "канал" на волю, получает поддержку друзей с именем и вопреки ментовским усилиям начинает говорить с миром. Другой же немотствует перед миром годами, и все, что он пишет, становится лишь добычей кума после очередного шмона. Ты ведь встречал таких?

Когда еще К., Г., М., О. и другие узнают, как широко журнал "22" поведал о них миру "правду", и какую именно "правду"? Когда еще они смогут, сохранив от шмона, написать ответ? Ког-

да еще найдется надежный путь рукописи за запретку? Когда еще отыщется кто-то на воле, кто потрудится вывезти ее и из "большой зоны"? И будет ли это вообще когда-нибудь?

Эка гражданская смелость "разоблачать" безответных людей! Если это "свобода для свободы", то тогда самым свободным человеком следует признать А.Б. Чаковского или неизвестного мне редактора "Вестей с Украины". Уж они-то немало потрудились над "затемнением нимбов лагерных страдальцев"!

Поэтому позволь мне тут сформулировать главный вывод моего письма: быть лежачих — подлость. Публикация "Дневника" — подлость. Наталья Рубинштейн очень хотела, чтобы "подлецов называли подлецами". Вот я это и делаю. Хочу теперь только знать, достаточно ли твои коллеги свободны для свободы, чтобы это опубликовать.

Чтобы не было недоговоренностей, я хочу еще раз подчеркнуть, что подлостью я называл не "Дневник" Кузнецова, а публикацию его. И не только по причинам, о которых я писал в начале, не только потому, что Кузнецов — сам жертва, не меньшая, чем оскорбленные им люди, и ему можно лишь сострадать. Дело еще и в том, что Кузнецов сумел все же удержаться на достаточной моральной высоте, чтобы понять, что написанное им может еще быть доверено близким людям, но не может быть в таком виде опубликовано. Не случайно в самом остром месте своего "Дневника" (а точнее — письма, ибо "Дневник" — скорее собрание писем), Кузнецов специально оговаривает, что сообщаемая информация предназначена лишь адресату для личного сведения. Поразительно, что журнал публикует все это, даже не опустив оговорки!

Я сознательно не ставлю здесь вопроса о наличии или отсутствии ясно выраженной воли о публикации — самого Кузнецова или доверенных лиц. Это абсолютно несущественно. Пусть даже в редакции где-то тайно лежит нотариально заверенное волеизъявление самого Кузнецова. Все равно — долг редакции был понять, в каком положении находится Кузнецов и его союзники. За ней последнее слово. Редакция должна была понять, что недопустимо устраивать заочное судилище над людьми, лишенными возможности защищаться.

Я надеюсь, что твои коллеги не спрячутся за жалкое оправдание, что фамилии-де заменены инициалами. Их там, политзэков в Сосновке, всего десяток с малым. Для тех, кто их не знает, ничего

не скажут и полные имена, а для знающих — инициалы ничего не скрывают.

Я очень боюсь, что публикация "Дневника" для вашего журнала не случайность. Я уже упоминал о тревожных симптомах в № 3. Есть и другие. Не случайно, что, выйдя всего лишь пятым номером, журнал заслужил уже издевательское обыгрывание его названия, как картежного термина — "Перебор". Что делать, действительно перебрали!

Я не могу и не хочу тут писать о всех материалах журнала, вызывающих тревогу. Многие из них и не заслуживают разбора — вроде "романа" Ю. Милославского, в отношении которого ты справедливо ограничился лишь гадливой репликой. Но один маленький материал я бы все же хотел отметить: рецензию Блехмана (псевдоним) на сборник "Память" в № 3. Точнее говоря, финал рецензии с панихидой демократическому движению ("сошло на нет"), самиздату ("сошел на нет"), оставшимся в стране ("одинокие путники в глухом лесу", к которым "подбирается вязкая трясина — беспамятство. И никого вокруг. Только лес шумит. Тогда хватаются за "Память").

Боже мой, Витя, сколько я повидал их тут, уехавших, твердо убежденных, что с их отъездом "история прекратила течение свое". К счастью, мало кто решается заявить это печатно. Блехман — решился (если только можно назвать решимостью псевдоним). Концепция его проста, как мычание: историческая миссия демократического движения состояла в том, чтобы добиться его, Блехмана, выезда в свободный мир, и теперь оно, как самка лососа, выметавшая икру, умирает. Даже как-то неудобно пересказывать ему, Блехману, события хотя бы истекшего, 1978, года, в покинутой им стране. Сделай это, Витя, в частной беседе с ним. Поскольку я пишу письмо открытое, я слишком уважаю своих (возможных) читателей, чтобы унижаться до такого ликбеза.

От меня передай, пожалуйста, Блехману лишь одну просьбу, как "свободному для свободы" человеку — раскрыть свой псевдоним, чтобы мы хоть знали, кто нам поведал такие откровения о нашем прошлом, настоящем и будущем.

Парфразируя обращение твоего соредатора А. Воронеля к В. Марамзину: "Откройся, Блехман, ну что тебе стоит!"

Извини меня за резкий тон письма и за его длину. Но сказать все это было необходимо.

Братски обнимаю

Был очень обрадован самим фактом твоего письма, был очень досадливо удивлен его содержанием, его тоном, его аргументацией.

Ты меня извини, но это письмо обиженной барышни, трепетно хранящей трогательный образ из рассказанной ей в детстве сказки о прекрасном принце, томящемся в застенках злодея Кегебекова. Барышне, правда, самой пришлось побывать в той же камере и — увы — убедиться, что прекрасный принц — это Квазимодо, да еще свихнувшийся за время сидения, но сказка была так красива, что барышня предпочла, выйдя на волю, забыть уродство и сумасшествие и продолжает рассказывать о прекрасном пленнике. И вдруг — о горе! — приоткрылась щелочка, и другие увидели, что страдалец уродлив и безумен. И посмели показать это миру... Сказка кончилась... и барышня обиженно топает ногами на Наталью Рубинштейн: "А если бы ты была там, ты бы еще и не так свихнулась!"

Но ведь ты-то там был, Кронид, и поскольку я там был с тобой, то утверждаю, что ты не можешь не знать, что в действительности представляет собой масса "политзаключенных" в Мордовских лагерях.

Ты прекрасно знаешь, что политлагерь на шестьдесят процентов состоит из "полицайской" сучни, которая с полицейской старательностью служит властям, стуча направо, налево, на

**ОТВЕТ КРОНИДУ
ЛЮБАРСКОМУ**

каждого и всякого вплоть до самой себя. (Не уверен, при тебе ли был случай, когда один из них сообщил оперу, что мент ему (!) разрешил вынести со свиданья неположенные продукты. Под дружеский хохот ментов опер повелел продукты отобрать, приведя стукача в растерянность — тот привык к поощрениям) .

Ты прекрасно знаешь, какое количество случайных людей стараниями провинциальных (да и столичных) Органов попало в разряд “политиков” и как из этих людей — не имеющих подчас никакой идеологии вовсе, — в условиях лагеря делают провокаторов. Стараниями одного из них (или даже не одного) ты был определен из лагеря в камеру Владимирской тюрьмы.

Ты помнишь, конечно, что далеко не все противники режима являются борцами за Свободу, ты помнишь, как один из “лидеров” повелел в его, “новой”, России высечь тебя, Кронида Любарского, “на конюшне плетью” за общение с нами, евреями.

Ты помнишь, безусловно, как лагерь ломает и крошит людей. Как вчерашний демократ объявляет себя религиозным мистиком ради удобной позиции “непротивления администрации”, как недавний “борец за права человека”, узнав о процессе Якира-Красина, отказывается от участия в голодовке, пишет поэму “Как сладко пахнет труп еврея...” и за что-то вдруг получает легкую работу...

Ты знаешь, какое количество людей сходит с ума в лагере, сколько их, подчас почти невменяемых, слоняется по углам зоны. При нас молодой парнишка, став по слабости и неразумию предателем и осознав это, впал в буйное бешенство, а затем стараниями лагерной “медицины” (лошадиными дозами уколов) в две недели был превращен в тихого идиота (за месяц до освобождения, после всего лишь четырехлетнего срока) .

И ты прекрасно знаешь, Кронид, как мало среди всего этого зверинца было людей, сумевших сохранить достоинство, порядочность и здравый ум. Ведь среди шести сотен зеков зоны ЖХ-385/19 таких людей можно было пересчитать по пальцам...

Способность к самосохранению у Эдика Кузнецова поистине уникальна. Через семь лет лагерей, которые съели его юность, через тяжелейшее следствие, смертный приговор и вот уже девять лет жутких условий “особого режима” он сумел пронести живой интерес, острый взгляд, остроумие и блестящую трезвость анализа.

Его строки, написанные в той самой обстановке, о которой они

рассказывают, рассказчиком, находящимся в том же состоянии, что и описанные им персонажи — **уникальнейший документ** человеческой мысли, интереснейшая литература и жестокое обвинение режиму, так расправляющемуся со своими гражданами за их якобы нелояльность.

И у тебя ведь нет сомнений в истинности его изложения, ты лишь возражаешь против предания гласности этой правды. Но что же это, Кронид? — то, что дозволено знать зеку — недозволено иным? То, о чем могут судить зеки, — не могут иные? Значит, мораль и этика не едины, не универсальны?

Подобной позиции придерживался твой знакомый П.Я. и ты знаешь, куда она привела его и других. (Тебя эта его позиция одарила лагерным сроком) .

Если допустимо деление морали, кастовость ее, то ведь допустима и мораль коммунистов, с ее претензиями на закрытость, замкнутость, секретность.

И ведь именно вопреки этому основным тезисом Демократического движения всегда была гласность всего происходящего.

Эдик, участник Демократического движения, остается и сегодня верен этому принципу. Ему, профессиональному политзаключенному, не легко дается решимость предать гласности эти горькие истины. Не хочу заниматься цитированием, но перечитай хотя бы страницу тридцатую его записок, — с какой тревогой, осторожностью и болью он пишет о необходимости оглашения печальной правды.

А ты, вместо того чтобы его внимательно выслушать, ты — после всего, что он написал, — подаешь его в своем письме эдаким хихикающим злюкой-невротиком. Это недостоверно, это **непорядочно** по отношению к Эдику. С твоей стороны — со стороны недавнего лагерника — тем более.

Ты считаешь, что взгляд человека, находящегося в заключении, не может претендовать на **объективность**, — а чей взгляд и в каком положении может?

Походя, промежду строк, ты замечаешь, что сегодня мы оба — ты и я — находимся на Западе, "один вольно, другой — невольно".

Я полагаю, что именно в этом "вольно-невольно" и заключается причина наших разногласий во взглядах на материал журнала.

Не по своей воле ты оставил Россию (я помню наш разговор в лагере, помню твое горячее нежелание уезжать из твоей страны). Ты оставил там любимую работу в любимой тобой обстановке научного мира Москвы, ты оставил там единственно близкий тебе круг людей, объединенных общим неконформизмом, диссидентством, Соппротивлением...

Все, что дорого тебе, все твое осталось там, где тебя нет.

Мне знакомо это состояние. Я знал в России многих, да отчасти и сам был таким, кто, посвятив все свои мысли и помыслы Израилю, буквально отдав ему душу, любую информацию, пусть самую правдивую, но роняющую престиж этой страны, воспринимал с естественным протестом и негодованием.

Эту позицию мне понять легко, но ведь они были неправы, Кро- нид, так же как сегодня неправ ты, негодую по поводу любого камешка, пущенного в огород российского диссидентства.

"Ибо в конце концов все пройдет, а правда останется. Я настаиваю: единственно возможная позиция — полная правда, сколь бы она ни была некрасива и сложна".

Как видишь, я все-таки не удержался от цитирования Эдика. Просто потому, как считаю, что сам его текст — лучший ответ на твое письмо.

И в заключение — несколько слов о позиции журнала "22" и моей лично.

Ты справедливо замечаешь, что журнал вызывает многочисленные нападки. И причина — именно в его позиции.

Я полагаю, что если бы мы издавали жестко идеологический, "сионистский" журнал, то избежали бы вовсе нападок — со стороны русских их не было бы, потому что они бы его не стали читать, а со стороны евреев тоже и скорее всего... по той же самой причине: они тоже не стали бы читать, ибо у русскоязычной публики давняя аллергия к идеологическому чтиву.

Поскольку все мы из той же самой публики, то и решили ни с какой "идеологией" жестко не смыкаться, а увидели журнал просто как модель некоего (в идеале — искреннего, то есть честного) взгляда на мир.

Как ты, наверно, знаешь, есть в Израиле журнал "Время и мы" Он также декларирует самый широкий взгляд на мир. Его отли-

чие от нас (не скажу — недостаток, это дело вкуса, а именно отличие) состоит в том, что он не ограничивает не только широту взглядов и их направление, но и *точку отсчета*.

Мы, как-то уж само так получилось, сошлись на определенной *точке отсчета*: мы тут, и наш взгляд на мир — это взгляд российских евреев, живущих в своей стране — стране Израиля.

Как это осозналось — тут уж я могу говорить только о себе (интимные нюансы редколлегия не согласовывает).

Я стремился не к идеальному (то есть недостижимому), а к оптимальному состоянию, которое всего точнее передается пушкинской формулой: “на свете счастья нет, но есть **покой** и **воля**”. Так вот, душевный **покой** — это прежде всего обретение почвы под ногами, сознание, что ты (то есть я) находишься там, где тебе судьбой и Богом определено находиться. Здесь. А обретя **покой**, как точку наблюдения, можно заняться реализацией **воли** — то есть глядеть на мир и думать.

Я знаю, Кронид, что ты сегодня лишен такого **покоя**. Я полагаю, что это отсутствие покоя есть основная составляющая “эмиграционного состояния”. Мне кажется, что именно “классовое чувство” (извини за выражение) обделенности и вызывает у некоторых из русской эмиграции раздражение нашим израильским **покоем**, являясь поводом к обвинениям нашего журнала в “излишней еврейскости”. И за обвинениями в “еврейскости”, должно быть, кроется подозрение в неприязни — чуть ли не ненависти — ко всему русскому. А от обвинений в ненависти или нелюбви оправдываться, как ты знаешь, бесполезно.

Но если со стороны русских основой для обвинений служит наш **покой**, то евреев-соотечественников раздражает наша **воля**, которая, как им кажется, “не туда” направляет наши взгляды, и они упрекают нас за нашу “излишнюю” любовь ко всему русскому, идущую в ущерб любви к “родным сионистским партиям и правительствам”.

Поскольку от обвинений в любви так же бесполезно оправдываться, как и от обвинений в ненависти, то мы порешили принять, как должное, что позиция нашего журнала дает возможность как израильтянам, так и эмиграции считать нас “своим журналом” и посему предъявлять претензии, а всю сумму этих противоречивых претензий приняли как неизбежную плату за наши “**покой** и **волю**”. И решили в меру своих скромных возможностей продолжать свое дело.

Кронид, как и ты, я сожалею, что наш первый "западный" контакт принял столь официальную форму обмена "открытыми письмами", и надеюсь на его более интимное продолжение.

Твой Виктор

КНИГОТОВАРИЩЕСТВО
"МОСКВА—ИЕРУСАЛИМ"

выпускает в свет книгу

Эдуарда Кузнецова "Мордовский марафон"
(предварительное название)

Автор книги — советский политзаключенный, один из двух главных обвиняемых по "самолетному делу". Его "мордовский марафон" неожиданно и счастливо закончился на наших глазах прибытием в аэропорт Лод. Книга покинула Большую Зону задолго до автора. Она составлена из писем, документов, художественных произведений, созданных в лагере, но говорится в ней не только о лагерных делах. На фоне лагерной литературы эта книга выделяется глубиной нравственной проблематики, остротой сюжетных конфликтов и беспощадной писательской зоркостью.

Цена при предварительном заказе 100 лир (для заграницы — \$7).

Заказы принимаются по адресу:

*"Москва—Иерусалим", П. Я. 23121, Тель-Авив,
Израиль*

*Чеки выписывать на имя:
"Фонд "Москва—Иерусалим"*

Письмо Кронида Любарского адресовано не мне. Не ему и отвечаю. Письмо он прислал "открытое": дескать, Виктору Богуславскому, конечно, вручить, но вручить непременно при большом стечении народа читателей. Вот читателям я и отвечаю. Не на письмо Любарского, а по поводу его письма.

Суть отношения Любарского к проблеме лагеря в литературе проста: о тех, кто сидит, либо ничего, либо хорошо. Он добивается для них статуса мертвецов. Мы не согласны. Мы полагаем их живыми, хотя и временно отсутствующими, хотя и погруженными в чудовищные, адские условия, действительно предписывающие и сострадание, и понимание, и снисхождение, — но живыми и живущими в одной с нами реальности. Нравственные проблемы, которые перед Эдуардом Кузнецовым поставила зона, перед иными его современниками ставит повседневный быт НИИ или редакции, а перед другими — общественное существование в русской эмиграции.

Было бы ханжеством считать, что дурное о лагерниках писать нельзя и печатать невозможно. Было бы лицемерием утверждать, что писать о лагерниках плохо — легко, а решиться напечатать — просто. По тексту Кузнецова видно, как мучительно он решает для себя эту проблему, — но решает. Я — редактор книги — и мои товарищи по редакции журнала решали для себя вопрос о публикации в журнале этих отрывков из "Дневников" не просто

ЧИТАТЕЛЯМ

так, захлебываясь от восторга, что нам перепала такая сенсация, решали трудно, — но решили.

Одно было нам ясно. Зэк годами прячет рукопись от шмонов, находит тайные каналы, по которым она уходит на волю. Ему везет, и десятки людей, передавая из рук в руки его листки, вытаскивают рукопись — или фотокопию, или микрофильм — за кордон. Надзиратель не отобрал, ГБ не словило, таможня не досмотрела. Кто смеет стать последней инстанцией, которая заткнет зку рот, во имя... Во имя чего? Да и удастся ли заткнуть? Свободное слово, как вода, текуче, и как вода, всепроникающе. Не этот журнал напечатает, так другой. Не по-русски, так по-английски или по-французски. Кто из людей, мало-мальски посвященных, знающих не понаслышке и не из книг о ситуации в лагерях, не знает, не слышал, не мог бы догадаться, что отношения (в том числе, и идеологические отношения) между узниками противоречивы и обострены порой до крайности? Вопрос был только в том, выступим ли мы, журнал "22", на стороне Эдуарда Кузнецова, разделяем ли мы его позицию в деликатном вопросе о гласности в приложении к лагерю или мы попытаемся противостоять его потребности в правде. Мы обсудили этот вопрос на редакционной коллегии, взвесили его аргументацию, приняли во внимание наш собственный опыт — сидельцев и несидельцев — и решили, что мы его позицию разделяем, что его текст отражает наши проблемы, что мы — с ним, и если он берет на себя ответственность сказать то, что он хочет сказать, то мы с ним эту ответственность делим. При этом мы отчетливо сознавали, что непременно будут благородно-возмущенные письма, вроде того, которое прислал в редакцию безупречный лагерный рыцарь Кронид Любарский.

Когда автор письма упрекает меня, что я позволяю себе иметь суждение о людях, прошедших через лагерное страдание, сама этому страданию не причастившись, не зная меры своих сил, и даже намекает слегка, что — возможно — в столь чрезвычайной ситуации я на высоте удержаться бы не смогла, — что отвечать на это? Если этот не слишком корректный пассаж продолжить в том же сослагательном наклонении, то — в случае моей недостаточной нравственной стойкости — ничто не помешало бы никому осудить меня, как осуждает Кузнецов своих недостойных товарищей. Ничто ведь не мешает тому же Любарскому писать обо мне так даже сегодня, еще до предполагаемых грехов и падений: "Не дай

Бог "пересидеть" Наталье Рубинштейн! Во что превратилась бы она, если уже сейчас, не посидев, считает актом гражданского мужества публично "назвать сумасшедшего сумасшедшим", как будто еще столетия назад человечество не доросло до понятия врачебной этики". Особенно замечателен, хотя и не совсем понятен, упрек в забвении врачебной этики. Действительно, человечество доросло до нее давно, но как будто бы Эдуард Кузнецов вовсе не доктор, да и у меня, к сведению Кронида Любарского, совсем другая профессия. Профессия моя — филолог. По роду своих занятий я всю жизнь связана с текстом. Я знаю, что текст обязывает прочесть его внимательно и честно. Я предлагаю Крониду Любарскому обратиться к тексту Эдуарда Кузнецова:

"... это попытка наметить принцип подхода к таким ситуациям вообще (довольно типичным для лагеря, да и для лагеря ли только?)."

"... всему есть предел, ибо всякому миролюбию, всякой заботе о сплоченном противостоянии врагу есть свой предел, за чертой которого измученное компромиссами нравственное чувство начинает судорожно биться в истерике, вопя: "Не нужно мне победы над врагом такой ценой — ценой союза с явной дрянью!"

"Реноме — штука нужная и важная нам позарез, но все же не любой ценой, реноме — хорошо, а правда — лучше. Ибо в конце концов все пройдет, а правда останется..."

"... Поразительно, что в созданных нам условиях все мы еще не спятили, поразительно, что мы каждодневно не бросаемся друг на друга, словно дикие звери; ликующим врагам нашим мы говорим: "Окажись вы в этом бедламе, вы давно бы уже одичали, а мы еще держимся". Другьям нашим, благодушно взывающим к миру и всепрощению, мы говорим: "Во-первых, уступки лишь поощряют агрессора; во-вторых, всякое движение, перестав быть кабинетной болтовней, обречено на болезненные муки избавления от балласта; в-третьих, не сотвори себе кумира, а паче из дерьма, сотворив же таковой, можешь лобызать его, но не принуждай к тому другого; и, в-четвертых, лучше меньше, да лучше!.."

"... Заслуживает всяческого сострадания тот, кто репрессирован за достойную идею или правое дело, каким бы дрянцом он ни был сам по себе, ибо интеллектуально-нравственный уровень конкретного человека — не способ характеристики отстаиваемой им идеи: если поп невежда, развратник и пьяница, это не значит, что Бога нет, и наоборот".

Все это, мне казалось, так ясно, что, составляя маленькую вступительную заметку к первой публикации, я испытывала некоторую неловкость, повторяя другими словами то, что достаточно решительно и четко высказал Кузнецов. Читатель Кронид Любарский оказался поразительно глух к основной проблематике Кузнецова. От обсуждения он отделяется осуждением. А Кузнецов спрашивает себя и нас — и, в частности, Кронида Любарского: “Я вот последнее время все пытаюсь решить для себя такую задачу: как поступить, если обнаружишь, что рядом с тобой завелся маленький Гитлер?.. Публично сорвать с него маску — значит ударить по престижу славословящих этого страдальца и борца; промолчать — значит подложить им изрядную свинью: ведь он когда-нибудь явится поклонникам своим, и они обалдеют от горестного изумления. Но не сразу обалдеют, не сразу... Пока они его раскусят, он успеет изрядно напакостить...”

Никто так не глух, как те, которые не желают слышать. И Любарский не слышит, не видит или делает вид, что не слышит и не видит связи между лагерем — бездной страданий и лагерем — кузницей будущих лидеров религиозных, демократических, националистических и иных течений. Я прошу Любарского, если Кузнецов ему не слышен, вдуматься в свидетельство другого лагерника, Андрея Синявского: “Ничего не остается, как встать и раскланяться: “Тогда предупреждаю заранее: как русский человек и как писатель, я буду против вас в вашей будущей православной России”... Усмехается: “Посадим, Андрей Донатович, посадим!..” — “Так мне предпочтительнее сидеть, извините, в большевистской тюрьме, нежели потом — в вашей православной...” Вот какими речами обмениваются иногда “русские мальчики”, сидя не в трактире, а в лагере...” Кстати, заглавие статьи Синявского — “Называя имена”... Идея, к которой он пришел независимо от Кузнецова.

А с чем выходят на волю бывшие лагерники? Да кто с чем! Лагерники-то они — как на свободе, так и в лагере — все разные. Авраам Шифрин вышел, например, с прожектом — и о том журнал “Посев” рассказал одобрительно — посреди американских просторов показательный лагерь устроить. С вышкой, запреткой, БУРом и вертухаями. Для невинной, значит, западной интеллигенции образовательная игра: записываются желающие в диссиденты, их в течение десяти дней неожиданно хватают и в “воронок” запикивают, потом суд — срока дают не огромные, а день за год, то есть не

пятнадцать лет, а пятнадцать дней, а далее — этап, барак, шмон, баланда. В начальство предлагаются бывшие советские узники, как люди с опытом, которые туфты не допустят. Ну, как, нравится проектик? Спасибо, американская полиция игру еще до начала запретила. Но каково в изобретателе желание — хоть понарошке, а каждого в лагерь запихнуть, а самому на вышке с автоматом постоять, начальством заделаться?!

В бредовом этом проекте отразилась все-таки одна сокровенная и типичная для нашей лагерной литературы мысль о какой-то необычайной ценности лагерного страдания для выявления истинных качеств души. Дескать, только в экстремальной ситуации душа в последней глубине раскрывается. Одним словом, как говорит Классик: “Благословение тебе, тюрьма!”

Для меня в Кузнецове неприятие культа страдания, может быть, и есть самое значительное. Неизвестно, что ли, что в любом человеке всего намешано — и дурного, и хорошего?! И для чего она нужна, такая ситуация, которая среднему человеку на добре своем удержаться не дает, на зло его провоцирует и наизнанку выворачивает?! Да и кто знает, какая ситуация экстремальная? Одного лагерь ломает, а другой в лагере молодцом, так его послелагерная слава доламывает и к мании величия склоняет. Одного бедность до подлости доводит, а другой испытания богатством не выдерживает. У каждого свои пределы и каждому свои испытания положены. Кузнецов проклятье шлет тюрьме и ничего в ней возвышающего душу не видит, в ценность страдания не верит. А верит, по-моему, в какие-то другие ценности, в ценности духа, и от деформации души по-своему спасается — напряженным и постоянным размышлением, противостоянием мысли тюремному маразму. Надежный способ, по-моему. Я бы рекомендовала его всем. Включая Кронида Любарского...

ВЫШЛА В СВЕТ БРОШЮРА
“СТАТЬИ И ПАМФЛЕТЫ” АМРАМА

О политическом и военном положении Израиля.

52 стр. Цена 12 лир с пересылкой.

Заказы по адресу: “МАОЗ” Р.О.В. 14094, Тель-Авив

Взявшись отвечать на письмо К. Любарско́го в качестве представителя редколлегии, я испытываю потребность писать “мы” вместо “я”, и это ставит меня в тяжелое положение. Кто это “мы”? Мы все абсолютно согласны лишь в одном: мы все хотим, чтобы каждый член нашей редколлегии имел свое собственное мнение. Большое счастье, если эти мнения совпадают. Это счастье, как и всякое другое, случается редко. “Что же это за журнал?!” — может быть, воскликнут некоторые. — “У них нет собственного лица!”

Никто еще этого не сказал — и не случайно. У нас есть собственное лицо, и оно, по-моему, в значительной мере, определяется тем, что мнения членов нашей редколлегии независимы друг от друга, мнения наших авторов независимы от нашей воли, и мы ищем авторов и читателей, которые ценят свое собственное мнение, а не навязанное им редколлгией, другими авторитетами или сложившимися политическими установками, и вырабатывают это мнение на основе собственных размышлений.

Нас многое объединяет. Прежде всего — тот факт, что мы живем в Израиля. Ни в каком варианте объяснения это не может быть названо случайностью. Мы живем здесь потому, что мы хотели этого, и все, что здесь происходит, близко нас касается и отражается в публикуемых нами материалах. Затем, — поскольку это первое решение было очень серьезным, — мы думаем, что с ос-

тальными решениями — по социальным и нравственным вопросам — нам (и нашим читателям в России и на Западе) не следует спешить. И без нас есть в мире слишком много людей и групп, знающих решения всех вопросов и навязывающих эти решения всем окружающим.

В политической системе эти решения обычно связаны, так сказать, — самосогласованы, так что если я соглашусь, например, с Э. Кузнецовым в его оценке К. и М., то “политизированный” читатель предъявит мне потом претензию: почему мы печатаем С. и П., которые принадлежат к той же компании...

И вот здесь наступает тот тонкий момент, который, по-моему, не все улавливают. Ни одна реальная система, ни одна партия, ни один живой человек не могут быть все время “самосогласованы”. Иными словами, реальные системы и люди ведут себя нелогично. Это происходит не потому, что они не знают логики, а потому что реальная жизнь нелогична и, в конечном счете, выше логики. Поэтому то, что сегодня правильно, может завтра оказаться неправильным и даже губительным. Только то, что умерло, уже не изменится завтра, и только то, что сокрыто, никогда не сможет быть обсуждено.

Поэтому главное для нас — опубликовать то, что важно, а дать “правильное” толкование мы всегда успеем. Вот если не опубликовать — тогда и говорить будет не о чем.

Надо однако сказать, что эта наша позиция вызывает непонимание и даже раздражение некоторых читателей. Только с пятого номера нашего журнала мы начали систематически публиковать письма таких “раздраженных”. Но следует отметить, что не было ни одного номера, который не вызвал бы гневных протестов какой-нибудь группы. “Как вы смели предоставить свои страницы антисемиту?!” (Это — по поводу статьи М. Скуратова в № 1). — “Зачем вы печатаете Янова? Что, уже и печатать больше нечего?” (По поводу статьи А. Янова в том же номере первом). — “Какое право имеет В. Лазарис судить о Демократическом движении? Ну, зачем вам Лазарис?!” (В связи со статьей В. Лазариса в № 2). — “Почему вы рекламируете Э. Севеллу?!” (По поводу рецензий на произведения Э. Севеллы в № 2). — “Хулиганская выходка!” (М. Агурский о рецензиях и повести Ю. Милославского в № 3). — “Я ваш журнал уничтожу!” (Это по поводу рецензии Б. Сидорова на книгу Д. Маркиша в № 4). — “Ну, как мы можем показать такой журнал кому-нибудь вне Израиля?! Это абсолют-

но исключено!” (Из-за статьи М. Юрьева в № 5, где сказано, что надо отбить у израильских торговцев охоту класть тухлые яйца в пирожные; заметим, что данные статьи были основаны на фактах реальных злоупотреблений, показанных по израильскому телевидению).

Все эти высказывания и письма принадлежат людям, которые каким-то образом знают “правильную” точку зрения (а мы знаем только несколько возможных), “истинную” русскую историю (а мы знаем только интерпретации различных историков, включая и летописцев), знают, кому нужно, а кому нельзя судить о Сионистском и Демократическом движениях в России (а мы-то думали, что поскольку движение — Демократическое, то как раз всем и можно о нем судить), знают, что можно и что нельзя знать евреям в Израиле (а нам Израиль так нравится, что мы полагали: чем больше будут знать правды о Израиле, тем лучше, даже если эта правда иногда и неприятна — ведь мы хоть и живем в сионистском государстве, но не можем утверждать, будто уже живем в Сионе; Сион — это только идеал, который нам предстоит достигнуть во времена мессии, а отнюдь не тот трагикомический пейзаж, который мы сейчас наблюдаем в окрестности этой горы. И кстати, — покажите мне такой девственный остров, где торговец не вложил бы в пирожные любое дерьмо, если есть шанс, что это сойдет ему с рук!).

Мы думали, что если мы напечатаем объективную рецензию на Э. Севеллу, это будет лучше, чем притворяться, будто мы не знаем, кто такой Севелла, которого широко читают и обсуждают, — только не в наших журналах. Мы думали, что лучше напечатать остроумную и ядовитую рецензию Б. Сидорова на роман Д. Маркиша, чем не заметить этот роман вообще. Мы также думали, что евреям лучше знать точку зрения некоторых русских националистов из первых рук, чем в пересказе.

И вот мы получили от К. Любарского письмо, где сказано, что мы неправильно (и даже низко) поступили, опубликовав некоторые части дневников Э. Кузнецова (впрочем, все его части взаимосвязаны, так что без этих страниц многое было бы непонятно и не стоило публикации). Письмо состоит из двух неравных частей. В одной из них высказывается определенная точка зрения на описанный в “Дневниках” конфликт между политзаключенными. Это, на мой взгляд, прекрасный публицистический материал, за который я К. Любарскому глубоко благо-

дарен. “Мера сил, физических и духовных, может быть перейдена у каждого из нас. Но если человека, ежедневно пытая и унижая, сумели довести до состояния скотского, кого мы будем клеймить: этого человека, надменно величая его скотом, или того, кто довел его до такого состояния?” — пишет К. Любарский. Кто может быть с этим несогласен? Но вот что интересно: как бы К. Любарский написал об этом, если бы “Дневник” не был опубликован?

И тут мы подходим к совсем другой части его письма, где он высказывается совершенно категорически по поводу моральных качеств редакции, опубликовавшей “Дневник”.

Здесь К. Любарский ни в чем не отличается от всех других наставников, которые поучают еврейский и русский народ в эмиграции, как им жить, что им можно, чего нельзя. “Моя свобода кончается там...” цитирует К. Любарский и не видит, что это относится и к нему. Он высказывает ту мысль, что и Э. Кузнецов не на высоте, когда он слишком жестоко судит своих товарищей, и что эти товарищи имеют свою правоту и уж, во всяком случае, заслуживают милосердия. Хорошая мысль! Но мне интересно, — кто из нас намеревался занять позицию в этом споре? И кто собирался судить о К. и М. по письмам Э. Кузнецова? И почему, если я и К. Любарский догадались, что в тюрьме между людьми и не такое еще случается и это не повод для оргвыводов и политических оценок, то читатель не догадается?

С сожалением и горечью нужно признать, что К. Любарский в значительной мере прав и большинство читателей действительно не догадывается о том, что явствует из текста, без специальных разъяснений. Здесь мы грешны. Наш журнал оставляет очень многое — возможно слишком многое — необъясненным. Это слабость, которая может быть преодолена только совместными усилиями большой интеллигентской группы, постоянно сотрудничающей с журналом. Но сделать из этого вывод о необходимости вообще сокрыть материал от читателя, для меня — невозможно. Уж лучше пусть читатель будет несколько шокирован и что-нибудь недопоймет, чем попрекнет нас впоследствии, что мы от него что-то скрыли. Давайте представим себе на минуту, что процессы П. Якира и В. Красина кончились не так, как было обещано П. Якиру и В. Красину, а дали бы им обоим по 15 лет (ведь КГБ только недавно стал выполнять свои обещания, и эта практика еще не может быть признана вполне обычной). Так

могло произойти, и судьба П. Якира и В. Красина (особенно учитывая их прежний тюремный опыт) была бы в высшей степени достойна сожаления. Они были бы замученными жертвами (как они есть и сейчас), и их жалкое поведение на суде и следствии забылось бы на фоне этих фантастических наказаний. Но как личности они остались бы теми же, что и сейчас, и для людей, которые с ними сталкивались, их личные качества были бы столь же существенны.

Саня Липавский был скользкий, противный тип и до того, как стал всемирно известен, как провокатор, а возможно (в сталинские времена это было безусловно возможно) его сотрудничество с КГБ дало бы ему только 25 лет лагеря, и он был бы еще вдобавок несчастный страдающий человек (как, по-видимому, и есть, судя по многим обстоятельствам). А. Петров-Агатов был мистификатором и полусумасшедшим и до того, как напечатал по заданию КГБ гнусный пасквиль на А. Гинзбурга. А учитывая астрономические цифры его сроков (что-то около 30 лет), я не поколеблюсь назвать его жертвой режима и страдальцем, хотя он и сумасшедший. И это определение не может измениться от того, что он после этих 30 лет вдруг взбесился в другую сторону. Сама эта измена может быть поставлена в вину режиму, нуждающемуся в таких услугах. Но сам А. Петров-Агатов был и остался несерьезной личностью.

И вот тут мы подходим к исключительно важному пункту. В человеческих отношениях, в поведении и оценках мы исходим из нормальных критериев, которые велят держаться в стороне от алкоголиков, сумасшедших и мерзавцев. Мы можем пожалеть их, когда они оскорблены и унижены, но мы не станем пользоваться их услугами и оправдывать их поступки. А вот в политической ситуации алкоголизм П. Якира, кликушество А. Петрова-Агатова и скользкость А. Липавского почему-то не заставляют нас держаться от них в стороне. Единомышленники... Но я вполне допускаю, что и А. Липавский — искренний сионист и действительно верит, что евреи должны иметь свое государство. И даже, может быть, верит, что хорошему еврею следует переселиться в это свое государство. Ну, а он, к сожалению, вынужден был поступить против своих убеждений по личным обстоятельствам, которые достаточно запутаны. Разве никто из нас никогда не действовал против своих убеждений? Я — действовал. Но разница между порядочным человеком и подлецом состоит

совсем не в убеждениях. Непонимание этого факта страшно влияет на всю российскую общественную жизнь. Разница состоит в том, какую относительную роль играют убеждения (любые) и личные мотивы в поведении человека. В России почему-то принято считать, что достаточно человеку быть против советской власти, чтобы он заслуживал уважения. (До революции таким критерием было отношение к царскому режиму). Я думаю, что моральные качества распределяются среди сторонников и противников режима если и не одинаково, то во всяком случае очень далеко от простого соотношения, подсказываемого идеологией.

К. Любарский напрасно приводит цитаты из Э. Кузнецова, доказывающие, что тот небрежно куражится над своими сокамерниками. Кузнецов и не рассчитывал, что мы будем всерьез разбирать каждую его погрешность против придуманного нами же его ангельского облика. Но чего он всерьез хотел, — чтобы не создавали политических репутаций на основании непроверенных данных. И он хотел, чтобы его личные впечатления от некоторых из его коллег были известны другим людям. Я лично не знаком с М. и К. Но я уже давно и хорошо знаком с ними благодаря их политической известности, и это факт небезопасный. "Моя свобода ограничена носом моего ближнего", — цитирует К. Любарский. Я готов ограничить свою свободу. И свободу нашей редакции. Но не свободу Э. Кузнецова. Она в достаточной мере ограничена. И я буду последним человеком, который захочет поучать его, что следует и чего не следует писать.

Я хочу спросить К. Любарского: согласен ли он принять все политические последствия того, что К. и М. имеют громадную политическую репутацию? Я верю, что аятолла Хомейни пострадал от шахского режима. Но мое политическое сочувствие к нему от этого не увеличивается. Русская оппозиция настолько привыкла к безнадежности своего дела, что забывает, что когда-нибудь все это кончится и эти нынешние лагерники будут лидерами, от которых будут зависеть судьбы миллионов людей. И К. "пересидел", и М. "переголодал", но людям, которые от них пострадают, это будет безразлично. Политика требует ответственности, а ответственность жестока и не знает милосердия, как обычная жизнь. Когда появится русский Хомейни, поздно будет напоминать, что 78-летнего человека, много лет просидевшего в тюрьме, тогда надо было пожалеть, а теперь — не надо. Он до своей смерти успеет сделать много такого, что не пойдет ни в какое сравнение

с его собственными страданиями, и безответственные либералы, поддерживавшие его "из принципа", еще много раз почувствуют себя виноватыми.

То, что опубликовано, может быть обсуждено и оспорено. Может быть, Кузнецов прав, а может — и нет. Кто хочет, верит Кузнецову, кто не хочет — остается при своем. Как свежий воздух не может повредить здоровому человеку, так опубликование любых материалов не может повредить здоровому движению, а больное движение не спасет и секретность. Но сокрытие каких-то материалов всегда вредно и рано или поздно мстит за себя.

К. Любарский правильно заметил, — мы все плоть от плоти той русской интеллигентской среды, для которой этот вопрос непрост. И совсем напрасно он честит нас "вольноотпущенниками", подчеркивая, что он как будто из другого теста. Мы все вольноотпущенники, и у нас у всех есть несмываемые клейма. Это не значит, что этим все объясняется и что мы можем поносить за это друг друга. Мы не собираемся создавать у читателя впечатление, что мы опубликовали это с легким сердцем. Мы вовсе не фанатики открытой печати. Если бы обсуждалось опубликование каких-нибудь фактов или имен, неизвестных КГБ и могущих повредить людям в России, мы все были бы согласны, что их публиковать не надо.

Но мы решили именно так и не собираемся раскаиваться. Вопрос для нас облегчается тем, что волею судеб нам приходилось обсуждать не вопрос о том, публиковать или нет, а только — публиковать ли на русском или предоставить французскому, английскому и другим читателям знать больше, чем русскому. Они и так знают больше о нашей истории, о наших движениях, конфликтах, о наших героях. Они, конечно, понимают меньше, но фактов о нас самих они знают больше, и это часто освобождает их от наших заблуждений. Мы не хотели бы добавлять к этому спонтанному и необъятному незнанию нашими читателями самих себя, своей истории и своих героев еще и нашу сознательную злую волю.

К. Любарский правильно догадался, что наша мысль шире публикации "Дневника" Э. Кузнецова и повести Ю. Милославского и что мы хотели бы заставить читателя задуматься о том, всегда ли его "прогрессивные взгляды" оправдывают его неприглядное поведение. Здесь у нас есть опыт, которого нет у К. Любарского и который сравним только с долгим лагерным опытом. Здесь тот

факт, что все мы живем в Израиле и видим, как ведут себя в условиях свободы наши бывшие соотечественники, наши герои и мученики, наши вожди и рядовые, оказывается очень существенным. В Мюнхене это, может быть, не так заметно, но здесь бросается в глаза. И это поведение бросает ретроспективный свет на наше прошлое в России, которое теперь тоже кажется нам безупречным. Для К. Любарского, который встречается с 10–20 выходцами из СССР и не должен думать о том, как организовать дальнейшую жизнь этой группы, может быть, нет такого вопроса. Но для нас, живущих в окружении тысяч этих выходцев, вопрос о взаимоотношениях людей, о дозволенном и недозволенном, об авторитете и репутациях, о соотношении политики и морали — вопрос насущной жизни. Благородный Алик Гинзбург мудро сказал о К.: “Пересидел...” Но ответ ведь зависит от контекста, в котором задан вопрос. Вряд ли тот же Гинзбург был бы так же сдержан, если бы у него спросили: “А не выбрать ли нам К. в депутаты парламента?” И наконец его сдержанности, я думаю, совсем бы пришел конец, если бы К. уже был избран и выступал бы от его, Алика, имени.

В этих условиях мы не можем не восхищаться Э. Кузнецовым, который в обстоятельствах, казалось бы, исключающих такие мысли, чувствует, однако, такую ответственность, как будто он и его коллеги-узники именно и представляют парламент России — парламент ее совести. В этом смысле он уже живет на свободе. И думает о том, что было бы с Россией в условиях свободы. Провозглашая общие истины милосердия, К. Любарский не чувствует ответственности, которая ложится на человека в связи с историческим действием, и не представляет себе людей, о которых говорит, в условиях свободы. А мы только это и видим вокруг и знаем, что это проблема не менее трудная, чем борьба с режимом.

Книгоиздательство “Москва-Иерусалим”
выпускает книгу стихов Владимира Лазариса
“ПРОВОДЫ”,

в которую вошли избранные стихотворения последних десяти лет, объединенные в циклы “Пробуждение”, “Ожидание тебя” и “Опыты”.

РУССКАЯ АЛИЯ ГЛАЗАМИ ИЗРАИЛЬТЯН

*Смотреться в зеркало чужого
сознания — полезное занятие:
узнаешь себя — и о себе, —
как бы ни были сильны иска-
жения; и одновременно отра-
жающее сознание раскрывает
тебе себя — в тебе...*

Ювал Нееман

О РУССКОЙ АЛИЕ — БЕЗ РАЗОЧАРОВАНИЙ

Ювал Нееман — выдающийся израильский ученый в области ядерной физики, профессор (ранее — ректор) Тель-Авивского университета, председатель Комитета ученых при Общественном совете солидарности с евреями СССР; живет в Тель-Авиве.

Мое отношение к русской алии — самое доброжелательное. Мои ожидания, мои надежды, связанные с этой алией, имеют давнюю историю. В конце 1952 года я стал руководителем группы перспективного планирования национальной обороны. Прошло лишь три с половиной года после создания государства. Большинство министерств еще не было. Но была организована правительственная комиссия, которая должна была разработать план обороны страны. Оборона вообще была организована лучше, чем другие области, просто потому, что едва закончилась война, в министерстве обороны были люди. Итак, я возглавил департамент планирования. В моей группе было человек шестнадцать.

все с хорошим академическим образованием, молодые, и мы пытались представить себе будущее Израиля. Чтобы понять нужды и возможности обороны, следовало прежде всего оценить, какой будет численность населения страны. Как раз в то время шла большая иммиграция, население Израиля резко увеличилось — с шестисот тысяч до миллиона двухсот тысяч человек. Я понял, что для разработки даже трехлетнего развернутого плана нужно иметь хотя бы перспективный десятилетний план. А для создания последнего оказалось необходимым сделать наметки на целых двадцать пять лет вперед! Поэтому я выстроил план с перспективой на одно поколение — просто, чтобы представить себе, куда мы идем.

Я исследовал карту: что у нас есть и чего нам следует добиваться? Я пытался понять, каков вообще оптимум населения для самостоятельной нации. Существует количественный минимум: если страна не может позволить себе больше одного университета, в ней невозможна никакая свободная конкуренция идей. Если нет достаточного числа людей, говорящих на данном, специфическом языке, у писателя нет никакого стимула творить на этом языке. И так далее. Есть множество критериев такого рода, и я определил тогда, что минимальная для нас цифра составляет четыре миллиона. Албания, например, с этой точки зрения — не самостоятельная страна. С другой стороны, Финляндия, в которой тогда проживало от трех до четырех миллионов человек, имела достаточную "критическую массу", чтобы выжить, чтобы создать собственную науку и культуру. Короче, я изучил все примеры и остановился на плане, который исходил из цифры в три с половиной — четыре миллиона жителей через двадцать пять лет.

Это было в 1952 году. Мой "плановый" срок истек в 1977-м. В общем, наши предсказания оказались верными. Но любопытно другое. Тогда, четверть века назад, я исследовал не только будущее население, но и возможные его источники — источники еврейской иммиграции. Пришлось сделать ряд довольно радикальных политических предположений. Я утверждал, что еще при жизни нашего поколения Советская Россия тоже откроет ворота для евреев. Я не мог сказать, когда и как это произойдет, но я был уверен: что-то обязательно должно произойти. Ошибка оказалась лишь в том, что я переоценил этот источник. В названной мною цифре — от трех с половиной до четырех миллионов человек — разницу между двумя пределами, пятьсот тысяч, составляли как

раз русские евреи. Но даже в наименьшем варианте — три с половиной миллиона — я предполагал иммиграцию полумиллиона русских евреев. В этом я ошибся. Все остальное было угадано правильно. Я ожидал большего, потому что полагал, что русская алия будет следствием общего хода событий. И с этих позиций я разрабатывал свой проект — то была большая работа, она заняла много месяцев и была завершена в конце 1953 года.

Сегодня, спустя 25 лет, я вижу: наше предсказание оказалось правильным, но осуществилось не так, как мы ожидали. Впрочем, тогда мы и сами не принимали своих предположений слишком всерьез, то были грубые прогнозы. Сегодня я по-прежнему уверен, что через десять—пятнадцать лет мои наибольшие цифры окажутся верными. Но в настоящее время мы имеем лишь около ста — ста тридцати тысяч русских евреев в стране. Признаюсь, — были минуты, когда я думал, что к исходу "планового срока" мои цифры все же оправдаются.

Размышляя — тогда и сейчас — о русской алии, я не видел и не вижу для нее какой-либо специфической задачи в израильском обществе. Для меня она просто часть еврейского народа. Еврейский народ включает йеменских евреев, и марокканских евреев, и русских евреев, и всех других. Все они — евреи, и в той же мере, в какой я заинтересован в русской алии, я заинтересован во всякой другой. В конце пятидесятых годов, например, я был более непосредственно связан с алией из арабских стран — я даже прожил в одной из них некоторое время нелегально, чтобы организовать эту алию. Так что для меня русская алия — это прежде всего евреи, для которых и был создан Израиль. Они принадлежат Израилю, и Израиль принадлежит им. Это прежде всего.

Когда мы говорим об алии из Советского Союза, следует помнить, что в ней имеются различные еврейские группы. И каждая группа может привнести в Израиль различные элементы своего опыта. Совершенно ясно, что опыт дагестанских евреев — не тот, что, скажем, опыт евреев московских. Я считаю, что все виды опыта необходимы и важны для Израиля. Евреи Москвы могут привнести утонченность и интеллектуализм, черты западной культуры, имеющей в русском преломлении — начиная с Петра 1 — много своеобразного и интересного. Подобный вклад внесла некогда в Израиль вторая алия (тоже "русская" по преимуществу), и эти элементы прижились. С другой стороны, существенны и те стороны сознания, которые связаны с опытом жизни при коммунистичес-

ком режиме. Это также должно иметь некоторое воспитательное значение для нашего общества в целом, позитивное или негативное — оно в любом случае существенно. Опыт советских евреев может помочь открыть глаза тем людям, которые все еще верят в социалистическую утопию. Когда-то, в 1942 году, еще студентом Техниона, я сам, помню, подписывал телеграммы поддержки “лично товарищу Сталину”.

Любая часть советского еврейства имеет свои ценности. Например, таты привносят упорство, которое они продемонстрировали, оставаясь евреями в условиях малой изолированной общины, в среде, где все так резко отличалось от их обычаев и образа жизни. Подобно йеменским евреям, они с большим достоинством сохраняли свою собственную культуру. И это достоинство и упорство — тоже очень важные качества. Они присущи и евреям Грузии, Бухары и Прибалтики. Бухарские евреи — вообще давние участники жизни в Израиле: в Иерусалиме существует Бухарский квартал, где евреи из Бухары начали селиться уже более сотни лет назад. У этой группы накоплен чрезвычайно ценный исторический опыт существования внутри мусульманской культуры.

В силу моей принадлежности к академической среде, а быть может потому, что до некоторой степени лидерами русской алии являются ученые и сама собственно русская алия является весьма академически ориентированной, я, конечно, полагаю, что в определенном смысле и она может сыграть особую роль. Более того, я считаю, что она ее уже играет. В нашем Тель-Авивском университете можно на каждом шагу встретить русских евреев, и профессоров, и студентов. В группе выпускников, где я читаю еженедельный спецкурс, есть немало русских евреев. Несомненно, их присутствие уже ощущается в академической среде. Они привнесли в израильское общество дополнительный элемент интеллектуализма. И это очень хорошо. Но должен сказать, что я радуюсь и другим проявлениям “русского” участия в нашей жизни. Месяц назад я встретился с активистами Гуш-Эмуним*. Среди них была и русская группа. И я гордился этим. А прошлую ночь я провел на встрече в Беер-Шеве, и там была представительница поселения, которое было создано возле Ямита** буквально на второй день после подписания

* Гуш-Эмуним — движение религиозной националистической молодежи за заселение Иудеи и Самарии.

** Ямит — город в Синае, который по Кемп-девидским соглашениям должен отойти к Египту.

Кемп-девидских соглашений. Эта девушка, русская еврейка Израэла Кузнец, пришла как представительница израильского пионерского поселения. Это было замечательно!

Я считаю, что русская алия уже заметно присутствует в израильской жизни, во всех ее областях. Я не изучал статистические данные и не знаю, есть ли в этой среде уголовники и бандиты, но думаю, что и бандиты должны быть; может быть, в начале в несколько меньшей пропорции, чем среди израильтян, ведь алия сама по себе — избирательная система. Разумеется, русские ученые входят в наши университеты с иной подготовкой, они приносят другие методы, иногда это методы школ, в которых они формировались — в России есть математические школы, принадлежащие к лучшим в мировой математике: школы Гельфанда, Крейна. К нам прибыли другие последователи этих школ, они успешно работают в Израиле, и, скажем, нынешнее ощутимое повышение общего математического уровня в Тель-Авивском университете основано прежде всего на вкладе русских евреев. Разумеется, и в методологии, и в психологии существуют большие различия между этими новыми израильтянами и их коллегами-старожилами, — и это очень хорошо. Мы — выходцы из совершенно иных школ, мы воспитанники американской академической системы, и очень неплохо иметь здесь и другой элемент: их соревнование полезно.

Я не отчаиваюсь от того, что попытки русской алии организовать собственные научные коллективы в Израиле пока не увенчались успехом. Израильтяне тоже проваливались на этом поприще и даже более злосчастным образом и в течение более долгого времени. За нами — двадцатилетний опыт неудач именно такого рода. Лишь на двадцатом году появилась первая удача — с Эльроном. А до этого — десятки провалов и сотни разочарованных людей. Сегодня, например, братья Диамант в Аршахе демонстрируют фантастическое упорство в этом направлении. Даже среди израильтян не так часто можно встретить людей такого типа, как они. Мне очевидно, что в их случае нужно найти решение, которое было бы приспособлено к их взгляду на вещи, к их подходу, который мне представляется плодотворным: они хотят сделать нечто на свой манер, согласно своим специфическим представлениям, они доказали свою способность делать прекрасные, нужные стране технологические и научные вещи. Сложность, однако, в том, что с течением времени мы приобрели сложившиеся структуры, и наш подход стал более косным. Двадцать лет назад еще было место для инди-

видуальных решений, сегодня преобладает стремление к типовым методам, одинаково пригодным для всех. Повторяю, будь я на месте министра, я бы проявил здесь максимальную гибкость, я бы создал что-нибудь очень специальное для этого молодого, чисто "русского" научно-производственного коллектива, дал бы им шанс. Но я бы хотел ответной гибкости и от них.

На этом вопросе о гибкости стоит остановиться. Разумеется, нелепо утверждать, как некоторые иммигранты из СССР, что израильское общество "закрыто" для русской алии и ее попыток и поисков. Это чепуха. Я уверен, например, что Тель-Авивским университетом еще через несколько лет будут заправлять русские евреи. А что вообще до возможности нашей маленькой страны поглотить такое большое количество академической алии, которое предлагает Россия, то это зависит от того, как мы будем решать возникающие отсюда проблемы. В принципе, если Израиль собирается развиваться, а не оставаться в застое, ему неизбежно придется подняться на уровень страны с высоко развитой технологией. И тогда понадобится множество специалистов. Но такое развитие может быть только постепенным. Проблема специалистов — общеизраильская проблема. Она стоит перед израильтянином точно так же, как и перед прибывшим из другой страны евреем. Когда выпускник Техниона не видит себе применения в стране, для него это тоже крах и разочарование. Сегодня восемьсот выпускников Техниона живут в Штатах. Среди них есть очень хорошие специалисты. Но развитие технологии и промышленности не всегда идет в ногу с количеством выпускников высших учебных заведений. Немецкая алия 30-х годов состояла из профессоров. Многие из них стали фермерами — и хорошими фермерами. Некоторые специалисты, прибывшие из России с хорошими академическими дипломами, поменяли профессию; я знаю инженера, который преуспел как строительный подрядчик. Но в целом в русской алии, по сравнению с немецкой, готовность адаптироваться и покинуть академическую среду, мне кажется ниже. С другой стороны, вот чего, возможно, не понимают русские евреи — специфики израильского и вообще западного общества.

Наше общество очень конкурентно. Всякий молодой израильтянин, который идет в науку, знает, что он идет на очень большой риск. На всякой другой работе, проработав год—два, он может получить постоянство, — но не в университете. С другой стороны, русский иммигрант, который в СССР имел постоянную исследо-

вательскую работу, внезапно оказывается в ситуации, когда он не знает, что его ждет в ближайшем будущем. Психологически это очень тяжелое состояние. Но это — нечто, присущее всему западному обществу. Невозможно избавить человека от этого чувства неустроенности — разве что он родился и вырос в стране, где это вообще не ощущается как проблема. Только став профессором, можно рассчитывать получить постоянную работу в университете. Но зато западное общество открывает другие возможности. Так что можно заранее сказать, что из каждых десяти исследователей только один получит постоянное место, а остальные пойдут в промышленность, станут учителями и так далее. Кстати, в учителях в Израиле и сейчас еще есть большая потребность. Хуже обстоит дело с врачами. Евреи любят быть врачами, и все тут. Мы говорим молодым израильтянам, что им не стоит идти в медицину, потому что в стране нет работы для такого количества врачей. Тогда они уезжают и все-таки изучают медицину — не в Израиле, так в Италии, в других странах, и сделать тут что-либо невозможно. Следовательно, нужно как-то учесть и использовать эту тенденцию. Возможно, планирование будущего страны должно исходить из задачи превращения Израиля в нечто, подобное Швейцарии. Нужно сделать Израиль местом, куда бы люди приезжали на операцию, в санаторий и тому подобное — и тогда возникает работа для тысяч врачей. Так постепенно и делается, это не только благие пожелания. Можно предложить и иной путь — путь массовой смены профессий, превращения учителей, врачей, ученых в фермеров. Лично мне такой путь не нравится. Конечно, следует проявлять определенную гибкость. Нельзя рассчитывать делать всю жизнь то, что вы делали прежде. Но, повторяю, та же проблема стоит и перед израильской молодежью, они тоже предпочитают быть докторами, а не фермерами.

Профессиональные проблемы русской алии — не ее специфические проблемы. Это проблемы израильского общества. Какая разница, от чего увеличится число лиц с высшим образованием — потому ли, что больше молодых израильтян пойдут в университеты и потом не найдут работу по специальности, или потому, что придет больше образованных русских евреев? Это общие проблемы развивающейся страны, которая хочет превратить свои интеллектуальные возможности в одно из главных преимуществ. У нее нет других преимуществ, поэтому ей придется зарабатывать на жизнь своими мозгами. Я, например, содействовал созданию в нашем универси-

тете медицинской школы для американских студентов. Это тоже может стать новой большой статьей экспорта. Вы привозите сюда студентов, они кончают здесь, а потом возвращаются в Штаты готовыми врачами. Это приносит стране доллары, а кроме того создает места для наших врачей, которые будут их учить.

Мы постепенно идем к такому обществу. Это делается ощупью, медленно, не очень сознательно, но мы движемся в этом направлении — это главное.

Есть еще одна важная проблема — духовной интеграции. Существование русских журналов и газет доказывает, что основная масса русских евреев продолжает жить в сфере русского языка. Это удивительно. В стране до сих пор, например, существует газета на немецком языке, хотя немецкая алия прибыла сюда около сорока лет назад. Так что это общая особенность Израиля, как страны непрерывной алии. Ни одна алия не интегрируется немедленно. Каждая алия сохраняет свою специфическую культуру в течение долгого времени. И в определенном смысле это тоже обогащает жизнь в Израиле. Конечно, собственно русская алия — это в основном алия интеллектуалов, ее духовная интеграция происходит и быстрее, и медленнее одновременно. Но это не первая “алия интеллектуалов”, — немецкая алия была такой же, с ней в Израиль прибыли, например, такие люди, как Макс Брод, Арнольд Цвейг, Артур Кестлер. Говорить, будто существование культуры на русском языке в Израиле не нужно, вредно или опасно — нелепица. Процессы, идущие в этой культуре, составляют часть духовных процессов израильского общества, они даже сходны с ними во многом. Я, например, знаком с опубликованной в вашем журнале повестью Милославского — она напоминает мне многое, что я читал в современной израильской литературе, и я рад, что это опубликовано, я стою за то, чтобы публиковать такие вещи. Конечно, они атакуют многие устоявшиеся верования, но это — общая черта израильской литературы, это необходимая черта. Глупо говорить, будто русская алия своей неустроенностью “отравляет” израильское общество — уж, скорее, наоборот. Но я думаю, на самом деле идет обычный процесс интеграции, процесс создания единого общества и параллельно — процесс вызревания нового типа государства, в котором русская алия найдет свое место — и профессионально, и духовно.

Первые сведения о пробуждении советского еврейства начали доходить до нас в начале семидесятых годов. Постепенно мы стали понимать, что речь идет не об отдельных личностях, не о "миньянах" верующих евреев, а о больших группах — численностью в тысячи, быть может, многие тысячи человек. Все это возбудило в Израиле большие надежды; я бы даже определил тогдашнее настроение как эйфорию, как чувство подлинного счастья.

Дело в том, что при "проверках личного состава" еврейского народа, российское еврейство никогда не бралось в расчет, оно считалось безвозвратно потерянным. Разумеется, мы не обвиняли русских евреев, — мы попросту считали, что в России еврейства не существует. Мы были уверены, что коммунистический режим — а вернее, коммунистическое воспитание и коммунистическая концепция, — в сочетании с воздействием российской культуры и искусства привели к практически полной ассимиляции русского еврейства. Может быть, если хорошенько поискать, там обнаружатся некие жалкие остатки былого величия: тысяча—другая стариков, соблюдающих еврейские традиции, причем тайно, почти подпольно. Но еврейство России как целое — вычеркнуто со страниц еврейского бытия.

НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЯ

Вот почему известия о пробуждении русского еврейства вызвали в Израиле чувства, похожие на те, что возникают в семье, когда узнают о близком родиче, долгие-долгие годы считавшемся погибшим. То, что мы испытывали, очень походило на чувства братьев Иосифа, когда он вдруг им открылся. Но это не все. Пробуждение русского еврейства укрепляло также нашу веру в жизненные силы еврейского народа вообще. Оказалось, что целая еврейская популяция, возвращенная на антиеврейской, антиизраильской пропаганде, давно утратившая связь с остальным еврейством мира, все же не погибла. Очевидно, для уничтожения еврейского духа и пятидесяти лет "промывки мозгов" недостаточно! Это обнадеживало: значит, и в других странах могут возродиться еврейские общины, как будто давно сошедшие со сцены; значит, не так-то просто уничтожить наш народ...

Первые потоки русской алии казались нам весьма многообещающими. В отличие от некоторых других волн алии эта не была паническим бегством, следствием невыносимого экономического положения или результатом глубочайшего духовного кризиса. Разумеется, первые репатрианты из России не производили впечатление очень уж богатых и духовно благополучных людей; тем не менее их исходный материальный и духовный уровень казался достаточно высоким. Не думалось, что эта алия будет нуждаться в многолетней опеке, — ее первые представители были воодушевлены свежими идеями и большими планами. Чувствовалась, я бы сказал, доброжелательная готовность творить большие дела. Короче говоря, складывалось впечатление, что это "элитарная алия". Под элитарностью я понимаю даже не культурный или образовательный уровень; я определил эту алию как элитарную прежде всего потому, что впервые после многих лет то была — или, по крайней мере, казалась — сионистская алия. Ее движущей силой была идеология. Эта идейная закваска русской алии и казалась нам необычайно важным элементом. Мы надеялись, что эта алия (я повторяю, речь идет именно о массе, а не об отдельных исключительных личностях) сможет внести в жизнь Израиля существенные изменения, сравнимые с теми, что внесли в жизнь ишува ее предшественники — первые русские сионисты.

Нужно вспомнить, что это было за время. Русская алия началась в период между Шестидневной и Октябрьской войнами, когда еврейское государство — по крайней мере, в лице его мыслящих представителей — вдруг почувствовало, что погружается в рутину. Было ощущение, что все дремлет, ничего не движется.

И на этом фоне стало усиливаться понимание, что мы попросту не можем быть "обычным государством" — обществом без цели, без идеалов, без высших принципов. Многие понимали, что такая "роскошь" непозволительна ни с точки зрения внутреннего положения страны, ни с точки зрения ее обороны. Были, конечно, и такие, которые надеялись, что пробуждение придет изнутри, но многие, очень многие предполагали, что именно русская алия — поскольку она доказала свою духовную силу в борьбе с советским режимом — станет тем ударным отрядом, который вызовет достаточно серьезные перемены в израильском обществе, изменит его облик.

Их так и встречали, этих первых репатриантов из России: не просто приветствовали, как обычных новоприбывших, но как людей, от которых ждали прилива свежей крови в жилы "спящего государства".

На этом я позволю себе покончить с воспоминаниями о больших — и несбывшихся — надеждах. Сегодня всякому ясно, что влияние русской алии на Израиль оказалось нулевым — во всяком случае покуда. Государство осталось таким же, каким было; русская алия на него не подействовала. Инерционные силы израильского общества превысили силы русской алии. А сами русские евреи, так успешно противостоявшие ассимиляции в марксистско-ленинской (назовем ее так) культуре, весьма быстро втянулись в процесс ассимиляции в культуре израильской — точнее, в процесс усвоения ее пороков. Конечно, в этом смысле они не более "виновны", чем, скажем, алия из Марокко, — но ведь на марокканскую алию не возлагались столь великие упования...

Алия из России мыслилась как алия освобождающая. Но что же выяснилось — и очень скоро? Идейная основа — то, что мы называем сионизмом, мечтой, — выветрилась из плоти русской алии точно так же, как она выветрилась до того из плоти израильского общества. Единственное отличие состояло в том, что множеству людей в Израиле для растраты последних капель идеализма потребовались десятки лет, тогда как русской алии хватило несколько десятков месяцев.

Сходство с израильским обществом выразилось и в том, что русская алия крайне быстро сосредоточилась на достижении ближних и дальних материальных целей, безжалостно отшвыривая в сторону все, для достижения этих целей бесполезное.

Еще раздаются из ее толщи время от времени голоса, робко

вещающие нечто о культуре, искусстве и тому подобном, но в целом русская алия, кто во что горазд, бросилась создавать “материальную базу”. В этом смысле у нее не было особенных привилегий, но она быстро сориентировалась — и опять-таки и в этом плане успешно влилась в израильскую повседневность.

И наконец последнее. Израильское общество в процессе своего недолгого исторического бытия выработало некую контридеологию. Ее содержание можно выразить одним словом — это идеология “контробвинения”. Если что-то не так — виноват кто-то посторонний. Русская алия с энтузиазмом восприняла эту контридеологию. Виноваты “другие”. При этом совершенно неважно, кто же, собственно, виноват. Каждый обвиняет окружающих — таков он, всегдашний израильский порочный круг. Подобная реакция на трудности — результат интеллектуального и духовного обнищания, атрофии самокритических возможностей. Она характерна для всего израильского общества. И новоприбывшие из России восприняли эту реакцию со всей свойственной и доступной им интенсивностью. Едва у них возникли трудности — в том числе, и идеологические — они рьяно бросились на поиски “виновных”. И они, эти “виновные”, не замедлили отыскаться: Еврейское агентство, министерство абсорбции, израильское общество, сефарды, собственные соседи — кто-то “иной” непременно “виноват”. Найти таких виноватых было, разумеется, не так уж сложно... Я не хочу сказать, будто виноватых нет совсем. Но главное не в них, а в том, как индивидуум или общество подходит к решению своих проблем, в чем они усматривают их суть. Русская алия поразительно быстро утратила всякую силу противостояния и стала успешно имитировать все, что происходило на соседней улице — в израильском обществе.

Обнаружились и некоторые специфические особенности самой русской алии. Опять же — я не обвиняю, а лишь констатирую факты. Русская алия — за исключением буквально считанных людей — не имела глубоких корней в еврейской почве. Возможно, было много любви, но еврейской культуры — самая малость. И огорчительно, что в этом смысле русская алия не изменила или почти не изменила свой уровень. Иврит выходцы из СССР изучили весьма быстро, быстрее многих других. Но они остались вне еврейской культуры. Еврей из Йемена и еврей из Соединенных Штатов, приехав в Израиль, как будто бы не могут общаться — у них нет общего языка, они не знают иврита. Но, несмотря на это, у них все же есть нечто общее — еврейство, как присно-

сущая им обоим культура. Российский еврей прибывает таким же безъязыким, но и общего для наших "йеменита" с "американцем" культурного базиса у него нет. Однако главная беда состоит даже не в этом, а в том, что новоприбывшие российские евреи не используют открывающиеся им в Израиле возможности — узнать хоть что-нибудь, получить хотя бы минимальную еврейскую "подготовку".

Еще одну особенность русского еврейства, сохранившуюся и в Израиле, составляет сектантство. Понятно, что в тех условиях, в которых русские евреи "овеществляли" свой сионизм в СССР, их деятельность не могла быть полностью публичной и гласной. Неизбежно образовались группы и группки, которые действовали практически без контактов, самостоятельно — по крайней мере, на первых порах. Разумеется, периодически предпринимались попытки связаться, но о подлинном слиянии не могло быть и речи. Так сложились весьма различные группы. Их основы были весьма разнородными. В больших городах — Москва, Ленинград — действовали даже не одна, а несколько групп — каждая со своими принципами, руководством, иерархией и т. д. То была вполне естественная ситуация. Прибыв в Израиль, члены таких групп старались держаться вместе. Быть может, у некоторых групп действительно имелась своя идейная установка; но я хочу подчеркнуть, что первоначально эти группы организовывались не по идейному принципу, а как дружеские компании. Оно и понятно: особенности советского образа жизни вели к тому, что только хорошо знакомые и доверяющие друг другу люди могли решиться на какие-либо совместные действия, не опасаясь провокации. Это создавало естественные препятствия к объединению. Но вот эти люди прибыли в Израиль, обнаружили, что и здесь общество расслоено на партии, "клики", "секты" — и создали свое собственное сектантство и групповщину, причем на таком высоком уровне, которого не найдешь у других репатриантов. У тех тоже имелись и имеются свои группы, объединенные по идеологическим, культурным и прочим признакам. Но российские евреи пошли гораздо дальше, — и это их "достижение" одно из немногих совершенно самостоятельных. Группы российских евреев не только отгорожены одна от другой. Они, эти группы, умело используют в своих интересах существующие в Израиле расколы (а Израиль расколот и разобщен сверх всякого разумения). Бесчисленные "клики" русских репатриантов тратят массу времени на междоусобные войны, пытаются дублировать действия друг друга (что,

понятно, приводит к значительно меньшим результатам, чем если бы все принялись вместе за общее для всех дело) и в результате создают фактическую невозможность вступить в контакт с русской алией как целым.

Последнее очень важно. Русская алия репрезентует себя израильскому обществу посредством тех, кто уже прибыл и является (объявляет себя) как бы представителем всего русского еврейства. На самом деле никто не знает и не может знать, что за "сила" стоит за спиной той или иной группы. А их, этих групп, до того много, что при решении каких-либо всеобъемлющих проблем (алия, абсорбция, "нешира"), когда предпринимаются попытки объединить усилия всех новоприбывших, дело заходит в тупик: все друг друга ненавидят, все друг на друга клеветают. Так возникает недоверие ко всем сразу, и это вынуждает принимающих решение действовать самостоятельно — ведь им, по существу, оказывается не с кем консультироваться. Силы алии растрачиваются впустую. Зачастую конфликты между группами вообще лишены всякого смысла. Зачастую в них слышится нестерпимо личная нота, на самом что ни на есть низком — я бы сказал, "кухонном" — уровне. Так получается, что русская алия не в состоянии представлять сама себя. Иногда кажется, что некто "третий" — какой-нибудь порядочный человек — мог бы усадить многие группы рядышком и помочь им прийти к согласию по вопросам, в которых в сущности нет сколько-нибудь значительных расхождений.

И вот итог: духовное влияние русской алии не ощутимо — мы не слышим ни ее, ни ее писателей, ни ее мыслителей. Все происходит — если происходит, — в крохотной и замкнутой "эксрусской колонии".

Вместе со всеми я ощущаю упадок оптимизма. И все же мне думается, что у русской алии есть огромные резервы. Беда в том, что — по высказанным причинам — она их не использует. Но если русская алия того захочет, она и сегодня еще сможет занять в Израиле подобающее ей место.

Книгоиздательство "Москва — Иерусалим"

**Алин Штайнзальц
"СУТЬ ТАЛМУДА"**

**Предварительные заказы принимаются по адресу:
"Москва — Иерусалим", РОБ 7045, Рамат-Ган, Израиль**

Когда редакция журнала "22" обратилась ко мне с предложением написать статью на тему: "Чего я ожидал от советского еврейства?", я, как истинный еврей, непроизвольно и искренне ответил вопросом на вопрос: "Почему ожидал? — Я все еще ожидаю".

Пораздумав, я осознал, что, пожалуй, поставленный вопрос мне самому намного понятнее, чем мой ответ. Ведь считается, что советское еврейство разочаровало нас, не оправдало возлагавшихся на него надежд, а надежды были едва ли не мессианского свойства. Отрезанное от еврейского мира, затянутае в плавильный котел фа-раоново-сталинской империи, оно, казалось, было окончательно потеряно для еврейства, — и вдруг: возрождение сионистского движения в России, возврат к древнему Моисееву призыву: "Отпусти народ мой!" И если история создания Государства Израиль может казаться современным повторением героических действий времен Иегошуи бин Нуна и царя Давида, то в нынешнем исходе советского еврейства новейшее время точно извлекло из глубин прошлого, захватывая еще более вглубь и вспять, модель великого Исхода из Египта.

ИСПОВЕДЬ

Драматическое восприятие современности в ее исторической перспективе, характерное для моего поколения израильтян, является, я думаю, следствием двух

катаклизмов, свидетелями которых мы были. С одной стороны, Катастрофа, уничтожившая треть нашего народа, с другой — возрождение на древней родине. Чутьем поэта Х.-Н. Бялик на рубеже XIX и XX веков обозначил эти две равнонаправленные силы, действующие в трагедии еврейского существования, в двух поэмах: “Сказание о погроме” и “Мертвецы пустыни”. В первой — обреченность еврейского существования в галуте, как бы предвещающее Катастрофу, во второй — близкое возрождение.

С одной стороны:

И вновь пойдя к спасенным от убога
В дома, где молится постящийся народ.
Услышишь хор рыданий, стона, воя,
И весь замрешь, и дрожь тебя возьмет:
Так, как они, рыдает только племя
Погибшее навеки — навсегда...
Уж не взойдет у них святое семя
Восстания, и мщенья, и суда.

А с другой:

— Мы — соперники Рока.

Род последний для рабства и первый для радостной воли!

Мы разбили ярем и судьбу мятежом побороли;

Мы о небе мечтали, но небо ничтожно и мало,

И ушли мы сюда, и пустыня нам матерью стала.

На вершинах утесов и скал, где рождаются бури,

Нас учили свободе орлы, властелины лазури.

И с тех пор нет над нами владыки!

Пусть замкнул Он пустыню во мстительном гневном Своем:

Все равно — лишь коснулись до слуха мятежные клики,

Мы встаем!..

Сквозь преграды, и грохот, и гром урагана

Мы взойдем на вершину!

Пафос лирики Бялика, на которой воспитано мое поколение, не позволяет спокойно измерять высоту взлетов и спадов еврейского движения и сохранять объективность, определяя наклон плоскости, по которой катятся под гору идеалы. Мы с отвращением отворачиваемся от того, что происходит сегодня в Вене, вспоминая, как Моисей разбил скрижали при виде оргии вокруг золотого тельца, — а ведь то были израильтяне, которые едва освободились из-под египетского плена, только что восторженно пели Песню

Моря, славя Бога за чудодейственное рассечение вод. Но, отворачиваясь, мы уже не замечаем тех ста сорока тысяч советских евреев, которые живут рядом и вместе с нами: музыкантов, грузчиков, врачей, ученых, кибуцников, студентов и солдат. Возможно, мы недостаточно их замечаем, потому что они — как мы. Как многие из нас в свое время, с неимоверными усилиями, медленно и туго осваивают иврит и скучают по насиженным местам и близким сердцу людям, тоскуют по родной речи и культуре, завидуя гортанному ивритскому выговору своих детей. Но, ропща и отплевываясь, даже отчужденно замыкаясь в стенах русских кварталов, они, сами того не создавая, проходят через процесс групповой интеграции в Израиле. А другой нет и не было никогда для первого поколения иммигрантов.

Всего этого мы не замечаем. Но зато, как на экране, живо проходит перед нами аморфная людская масса — персонажи некоего мрачного фарса. При виде этого сброда я с испугом ловлю себя на том, что в памяти всплывают ярлыки из сталинского идеологического набора: “безродные космополиты”.

Впрочем, аналогия со сталинским временем не обязательна. Можно вполне ограничиться библейской. В книге Чисел рассказывается:

“Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: кто накормит нас мясом?

Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели, огурцы и дыни, и лук и репчатый лук и чеснок...

Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего; и сильно воспламенился гнев Господен, и прискорбно было для Моисея”.

Плач по египетскому изобилию — дело заразительное, даже когда своих дынь, луковиц и чесночных головок имеется вдоволь. В Вене, Риме и Остии разыгрываются сцены, достойные кисти Босха и Гойи. Сюрреалистическое сочетание трагикомизма с достоинством, клокающий “стан” героев бабелевской Одессы рядом с выхолощенными московскими неоаристократами первого поколения в стиле Бенджамина Дизраэли, этого достойного еврейского предводителя английских лордов и пэров*.

*Как известно, Дизраэли считал себя истинным выразителем английского духа, гордясь при этом без стеснения своими марокканскими предками, происхождение которых этнографически восходило к Ираку, то есть “непосредственно” к праотцам Аврааму, Исааку и Иакову.

В романе Жаботинского "Самсон Назорей" один из героев пишет своему другу: "Не странно ли, Тэфнахт, что именно картины разрушения потрясают душу своим величием, тогда как зрелище созидания, которое, казалось бы, во много крат значительнее — заставляет утонченный взор отворачиваться со скукой и даже отвращением". Легче с интеллектуальным сладострастием говорить о крушении надежд на советское еврейство, рассуждать о двухтысячелетнем галуте и извращениях странствующего жида, упиваясь причудливыми "картинками из жизни" итальянского городка в окрестностях Рима, чем делать исторические выводы из муравьиных иудейских забот повседневной жизни в галилейском городке развития.

Не удивительно, что вопрос: "Чего вы ожидали от советского еврейства?", — был поставлен мне в прошедшем времени.

X X X

Мой ответ был не только искренним. Он был также и правильным. Я не только ожидал, я продолжаю ожидать. И мое ожидание становится все более напряженным. Более того: сам вопрос взбудоражил во мне что-то сокровенное, интимное. Опасаясь показаться смешным даже самому себе, я отказывался четко осознать это до конца. Именно оно, это "нечто", всегда толкало меня к общественной деятельности, способствующей интеграции русского еврейства. Но в своем литературном творчестве я лишь иносказательно или в очень завуалированной форме позволял себе коснуться факта его существования. Теперь, отвечая на прямой вопрос, мне не избежать раскрытия этой части моего мировоззрения и необходимости логически его обосновать.

Недавно в Израиле вышла в свет книга Лео Рауха "Вера и революция — философия истории". Рассмотрев множество концепций — теологических, социальных и даже космических, — автор приходит к следующему выводу: "Каков же смысл истории? Поддается ли он конечному определению? Эта книга пытается показать, что все усилия окончательно определить смысл истории в конце концов потерпели поражение; за каждой попыткой вскоре следовала другая... Мы можем утверждать только одно: смысл истории в том, что она сформировала человека как существо, которое задает вопрос о смысле истории, и этот вопрос таит в себе достаточное обещание".

Я категорически отказываюсь принять это признание человеческого бессилия. Я искренне убежден, что история имеет свой смысл, но он открывается нам в тот момент, когда историю перестают рассматривать с антропоцентрической точки зрения. Человечество — не самоцель. Оно часть природы, предназначенная поднять ее на новую стадию развития, причем не сам человек представляет собою эту стадию, а создания его творческого духа, выстроенная им человеческая цивилизация. То обстоятельство, что эта высшая стадия обретает свой смысл только в пределах самого человечества и превращается в ничто вне его — совершенно несущественно. Имманентное бытие культуры и цивилизации, равно как и органический мир Земли — это орудия производства новых имманентно существующих миров, высших по шкале мутаций космического бытия и создающих свой пространственно-временной фон.

В основах своих мое мировоззрение не ново. Оно старо, как еврейский народ. И как ни странно это может прозвучать, в том, где искать основу основ эволюционной системы, я почти всецело стою на библейской точке зрения. Ибо суть моего кредо составляет постулат, что в указанном процессе еврейскому народу предназначена особая роль. Поэтому для меня основная проблема — не предугадывание исторического развития, а попытка уяснить назначение еврейского народа в нем, пользуясь достижениями современного мышления и оставаясь верным методу, господствующему в Библии, — методу схематического абстрагирования, то есть изъятия феномена из окружающей среды. Тогда исследуемое явление приобретает размеры и выпуклость, позволяющие тщательное изучение. Оговорюсь: употребление научной терминологии в этом контексте есть символический прием. В отличие от древнегреческой философии, Библия — не умозрительная научная система, а "торат-хаим" — книга жизни, где космогония и история поданы как подоснова норм и предписаний, регламентирующих каждодневную жизнь еврея.

В основе библейского мировоззрения — договор между Богом и его народом на горе Синай. Это не просто договор — это "брит" (союз, завет). Он требует полного повиновения единому Богу. Для библейского сознания другие народы — не что иное, как орудие Бога в историческом процессе соблюдения и нарушения евреями заключенного союза; и даже сама природа служит только фоном для великой драмы, развертывающейся в Библии между Богом и избранным Им народом. Только Израилю всенародно открылся

Бог, освободил его от рабства и дал ему Тору, возлагающую на него тяжелую ответственность. Еврейская история — цепь возмущений и бунтов против Бога, за которыми следуют Господние кары. Мятельность усложняет ход истории, но она не в состоянии изменить Божественное предопределение. В конце концов выполнение кодекса Торы приведет не только к избавлению и искуплению Израиля, — на всей земле воцарится мир, вся Вселенная будет обновлена. Поэтому со времен разрушения Первого Храма до эпохи эмансипации львиная доля духовной энергии еврейского народа была направлена на разработку учения, основанного на библейском завете и на претворении его в жизнь. Задача нашего поколения — интерпретировать библейское мировоззрение в терминах современного технологического общества.

X X X

Но какую связь имеют мои философские концепции с вопросом о советских евреях в Израиле и для Израиля? Вместо того, чтобы извиниться перед читателем за эту историософскую эскападу, я, пожалуй, совершу еще одну.

Библейское мировоззрение складывалось на протяжении многих веков. Наука располагает множеством гипотез о происхождении библейских книг, о времени их появления, об авторах и редакторах, о их канонизации. Помня о некоторых из этих гипотез, мы рискуем предложить свою, быть может, несколько смелую конструкцию, но зато приложимую в качестве некоей действующей модели и к современности.

Еврейский народ ведет свое происхождение из Месопотамии. По-видимому, первоначальной причиной его некоторой обособленности послужил нарастающий протест против пороков окружающей цивилизации. Этот процесс привел к первым зачаткам монотеизма. Затем один из родовых кланов покинул Месопотамию и направился на юг в Ханаан. Как и все кочевники древнего Востока, евреи Ханаана в период засухи отправлялись в плодородный Египет. Некоторые из этих племен надолго оседали там.

Египетская цивилизация и культура не уступали месопотамской, но имели более тоталитарный характер. Египетское искусство было монументальнее, государство — монолитнее и власть — авторитарнее. Египтяне, как все народы тех времен, были язычниками. Время от времени одного из богов провозглашали главой

пантеона. В XIY в. до н. э. один из фараонов произвел своего рода "культурную революцию", объявив солнце единственным богом. В это время высшие слои еврейского населения приобрели большое влияние в правящих кругах, а один из евреев достиг высокой власти, став главным вельможей фараона. Когда же монотеистическая революция потерпела крах, еврейские племена были порабощены.

В XIII в. до н. э., при фараоне Рамсесе II, который, используя еврейский труд на строительстве пирамид, довел гнет до невыносимых размеров, евреи взбунтовались, покинули Египет и отправились в ту землю, где род их предков стал формироваться в народ со специфическим самосознанием. В море ханаанских племен израильтяне представляли собой архипелаг островков, слабо связанный общими воспоминаниями-мифами и общеплеменным божеством. Последняя группа выходцев из Египта надолго задержалась в Синайской пустыне и пережила там духовное потрясение, которое Моисей сумел использовать для претворения в жизнь своей идеи о "царстве священников, народе святом". Достигнув Ханаана, эта группа тоже включилась в борьбу еврейских племен за господство над страной. Среди десятков народностей, принадлежавших к различным этнографическим группам, среди множества очагов сложной ближневосточной культуры теплилось и моисеево мировоззрение с его видением будущего. Лишь более полутысячи лет спустя, накануне крушения еврейского государства, это учение приобрело наконец решающее влияние, и только после разрушения Храма оно заняло господствующее положение в еврейской истории и культуре.

В самом конце VII в. до н. э. в Храме была найдена рукопись одной из книги Моисеева Пятикнижия. В ней коротко обобщались события, связанные с Исходом, и содержался основной свод законов и предписаний Торы. Ее обнародование произвело на евреев неизгладимое впечатление. Они обязались беспрекословно следовать ее законам. Полтора века спустя, после Вавилонского плена и возвращения евреев из изгнания, были канонизированы все пять книг Торы, и Моисеево законодательство было провозглашено основой жизни еврейского народа.

Х Х Х

Алия советского еврейства включится в Израиль, как алия из всех других стран. Дети нынешних "иммигрантов" будут такими

же израильтянами, как дети немецких беженцев, спасшихся от гитлеровских преследований, марокканских, сирийских и иракских евреев, бежавших от мусульманского фанатизма, и йеменской диаспоры, прибывшей на "орлиных крыльях" "ковра-самолета" с воодушевленным убеждением в том, что наступили времена Мессии. Они включатся в культурную и социальную жизнь государства, пройдя через все муки приживания в новой стране. Но только в советском еврействе я вижу силу, способную выдержать сравнение с построенной мною исторической моделью древнего Исхода из Египта, только от него можно ожидать обновляющего духовного движения и, я думаю, только оно сможет стать трансформатором для переключения библейского мессианского идеала в "электромагнитное поле" современной цивилизации.

Почему только от него?

Потому что только оно испытало на себе крушение идеалов, предвещавших новую эру человечества. Свержение фараона завершилось новым, еще более жестоким фараонизмом. Только оно воспитано на тоталитаризме и сознательно или подсознательно тяготеет к обобщающей, всеобъемлющей теории, которая была бы в состоянии заполнить вакуум, оставленный потерянными раем религиозного мировоззрения. Только советское еврейство, насыщенное апокалиптическими прогнозами русской литературы, перенесшей на русский народ сознание избранности и мессианского призвания (что в немалой мере повлияло на византийскую форму, которую принял победоносный социализм и коммунизм в России). Для русского еврея народ-богоносец — не дикий анахронизм, а историко-культурный термин, ассоциирующийся с живым представлением о сгустке энергии, и ему легче, чем члену какой угодно другой этнографической группы нашего народа, вернуть это понятие из славянофильского галута в лоно своего еврейского первоисточника.

В силу обстоятельств советские евреи, десятилетиями оторванные от западноевропейского общества и от еврейской культуры, оставляя Россию, волей-неволей пребывают в духовной и социальной пустыне, которая накладывает на них неизгладимый отпечаток. Никто не ощущает так глубоко, как они, что сосредоточенность на социальных проблемах искажает человечество, в лучшем случае превращая эгоизм личности в эгоцентризм общества. А отсюда недалеко до полного отрицания антропоцентризма и поисков новых путей включения человечества во вселенную — такую,

какой она существует в нашем понимании сегодня. Не случайно столь велик процент еврейских ученых в области естественных наук, рассматривающих себя не только как цвет русской интеллигенции и советской науки, но и как духовную элиту чуть ли не всего мира. При всем отталкивающем впечатлении, которое производят на меня связанные с таким сознанием надменность и высокомерие, меня впечатляет и ошеломляет искреннее, кажущееся непроницабельному взгляду наивным и обреченным на неудачу стремление использовать накопленные знания, технику экспериментирования, методы научного мышления и умозрительного теоретизирования для построения единой, монистической (не монотеистической) системы всеобъемлющего мировоззрения. Вся эта сконцентрированная духовная энергия не могла разрядиться в пределах крепостных стен советского режима, под гильотиной марксистской догматики.

Допустив некоторый разгул фантазии, я могу представить в своем воображении своего рода "орден научных работников", задавшийся целью под давлением жгучей солнечной энергии в раскаленных песках пустыни — эти имажинистские образы надо, конечно, понимать иносказательно (в духе всех предшествующих высказываний), найти математическую формулу, по которой будет восстановлено утараченное звено, связывающее творчество человечества с окружающим его космосом. Не знаю, сколько веков пройдет до того, как это звено примет форму новой конституции Израиля. Поживем — увидим, ведь время циклично, и история повторяется.

Так ответ на животрепещущий вопрос вылился в исповедь. В любой исповеди есть элементы бреда. Но бред — это и видение, и видение. Эта пара понятий передается на иврите столь же родственными словами **רִצְיוֹן** и **רִצְיוֹן**. Но **רִצְיוֹן** — слово необычайно емкое, оно означает и прорицание, и замысел, и идеал, и мечту. А библейское изречение (Притчи 29:18) в русском синодальном переводе Библии звучит так: "Без откровения свыше народ необуздан..."

ИЕРУСАЛИМСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Кризис израильского общества — явление несомненное, если уж о нем — почти одинаково — пишут и новый иммигрант, и человек, выросший в этом обществе и принадлежащий к его элите. Оба утверждают, что в основе всех бед современного Израиля лежит кризис идеологии. Что ж, диагноз поставлен, лечение предложено, а успех... успех, как это чаще всего бывает, — сомнителен. И тревога — остается...

Наум Вайман

Что Израиль находится на перепутье, было ясно еще в Москве. И конечно же, у доморожденных еврейских "философов" не было недостатка в предложениях и прогнозах. Но этот взгляд "извне", несмотря на его определенные преимущества, всегда казался мне неполным, неточным. Мне казалось необходимым дополнить его взглядом "изнутри".

И вот я в Израиле. Я раскрываю израильские газеты, я читаю рассуждения и высказывания тех, у кого есть, по крайней мере, право на такие рассуждения и высказывания. И меня захлестывает поток отчаяния, самобичевания, истерических требований срочно заштопать очередную прореху и тому подобное. Все пишут о кризисе

КРИЗИС ЦЕЛИ

се — о кризисе экономики, о внешнеполитическом кризисе, о моральном кризисе, о кризисе власти и так далее. Наличие кризиса почти не вызывает споров. Зато насчет причин у каждого свое мнение. В качестве факторов, влияющих на ситуацию и определяющих ее развитие, фигурируют, как правило, факторы “внешние”: арабская угроза, давление Америки, политическая и моральная изоляция, враждебность России, алия и йерида и т. п. Решения принимаются или рекомендуются на основе наспех составленных комбинаций этих же факторов (причем каждая общественная группа опирается при этом на свой, для нее субъективно важнейший критерий). Похоже, что у нации, чье “упрямство” вошло в поговорку, вдруг исчезла собственная воля. И становится ясно, что в период решающих испытаний нация не имеет никакой единой, долгосрочной, общенациональной программы и каждая общественная группа действует на свой страх и риск в обстановке почти полной анархии.

Все это — признаки только одного, самого главного, общего кризиса — кризиса цели.

В истории человечества еврейство как общественная система явило собой яркий пример поразительной выживаемости и способности возрождаться после испепеляющих катастроф.

Причина такой выживаемости — в том, что еврейство создало совершенно новую основу для общности, новый, более высокий тип взаимосвязи между людьми — духовное единство.

Духовное единство, общая духовная цель и оказалась таким типом внутриобщественной связи, которая оказалась способной пережить гибель всех других общественных систем, типов связей и взаимодействий: государственных, экономических, территориальных и даже языковых. Многие общества гибли и гибнут при потере одной только государственности, ибо ничто больше не может их объединить.

Такое духовное единство было достигнуто на основе общей религии.

Само по себе значение религии для выживания общественных систем было понято очень давно, еще до евреев и независимо от них. Мы знаем о многочисленных попытках скрепления в утробного единства больших государств и империй путем “принятия на вооружение” той или иной религиозной системы. Как правило, это помогало ненадолго. Почему?

Видимо, дело не в религии как таковой, а в том, какая это религия. Дело не только в определенном (религиозном) типе общественных связей, а еще в степени их одухотворенности и целенаправленности. Чем выше и одухотвореннее, чем недостижимее "цель", тем надежнее будущее. Еврейское духовное творчество, сосредоточенное в Библии, обладает такой мощной устремленностью к осуществлению вековых и сокровенных чаяний Человека о любви и справедливости, что фактически оно является своего рода духовным "перпетуум мобиле", обеспечившее бессмертие тех, кто хранил его заветы.

Итак, нужна великая духовная цель. Такая цель выделила евреев из других народов и такая цель обеспечила бессмертие. Само понятие цели возникло из еврейского мироощущения — ощущения истории как развития и движения всего народа к осуществлению промысла Божьего.

Еврейская религия всегда была не столько средством решения каких-то внешних по отношению к народу задач, сколько основой внутренней структуры еврейского сообщества, единственно возможным фундаментом его существования. У этого народа не было ни земли, ни государства, и он создал новый фундамент: страсть к свободе и справедливости.

Что же происходит сегодня в израильской действительности?

Идейный фундамент сегодняшнего израильского общества закладывался в конце прошлого века. Идейная ситуация конца прошлого века характеризовалась кризисом религий; господством позитивизма и науки; возникновением новой "научной" религии — марксизма; наконец — появлением новых, провозглашавших грандиозные цели моделей общества, отличавшихся той общей особенностью, что в них не было места для евреев с их определенной, специфическим образом функционирующей общественной структурой.

Любопытно, что христианство со временем приспособилось в известной степени к этим новым моделям. Это связано с особенностями христианства и его истории. Христианство возникло как религия личности или общины, противостоящей враждебному и злобному миру и прежде всего враждебной государственной власти. Завоевав господство, христианство вошло в затяжной идейный кризис, отождествившись с системой государственного угнетения, причем зачастую — в самых чудовищных формах. И выжило оно

именно как личная, экзистенциальная религия, лишь вновь отделившись от государства и заняв в нем роль обособленной духовной общины.

Иудаизм же с самого начала был религией всего общества. Он направлен не столько на личное "спасение", сколько на "спасение мира", и без этого важнейшего компонента теряет большую часть своей потенции, если не вообще теряет смысл. Иудаизм возник как религия общества, ориентировавшая его на высокую мессианскую цель и внутреннюю гармонию, и именно как религия общества получил свое глубочайшее развитие в трудах пророков. Без народа нет иудаизма, как без иудаизма нет народа.

В диаспоре иудаизм стал религией общины и личности, лишился постоянно обновляющего влияния еврейской общественной и государственной жизни, начал задыхаться в тесных рамках гетто. К концу прошлого века этот затяжной кризис фактически привел еврейство в тупик ассимиляции и физического вымирания. Как с религией личности, с иудаизмом успешно конкурировали христианство и модные атеистические и философские концепции, как религия общества он не имел почвы под ногами: еврейство как единый организм практически не существовало. Иудаизм еще держался инерцией обрядности да в немалой степени — невежеством забитых и загнанных в черту оседлости евреев Восточной Европы. Душа еле-еле теплилась в истерзанном теле. И этот момент совпал с крайним обострением антисемитизма во всем мире, когда не праздно, а насущно встал вопрос о дальнейшем физическом существовании еврейства. Чтобы выжить, нужно было создать новую общественную организацию на обновленной идейной платформе, с общими для всей нации перспективными целями. Так возник сионизм — эта единая и долгосрочная национальная программа, определившая дальнейшую историю народа. Ее главной целью было провозглашено воссоздание государства.

Эта программа страдала изначальным изъяном, который в конечном счете и породил нынешний кризис. Несмотря на кажущуюся недостижимость основной цели сионизма, она на деле оказалась слишком близка, слишком проста, поверхностна и плоска по сравнению с иудаистским мессианством. Это была политическая, а не духовная цель. Ее сила была в конкретности, ее слабость — в достижимости. Для многих это было очевидно с самого начала. Государство должно было быть не целью, а средством для осуществления настоящей — недостижимой и потому вечной — цели.

Пусть средством главным, жизненно необходимым для восстановления общественного характера нашей жизни, но все же средством, за которым мы не должны были терять из виду главную цель — духовное обновление.

Государство было создано.

Цель была достигнута, потенция — исчерпана. Остались лишь ошметки великой цели: обеспечение безопасности в борьбе с соседями, предоставление приюта гонимым беженцам и тому подобное. Государственная идеология еще пытается поддержать энтузиазм, эксплуатируя проблемы безопасности или алии, а фактически — спекулируя на этих проблемах. И вот уже нам реально угрожает ситуация: “Что делать без врагов?” Жить как “все”? Но “как все” можно жить и во Франции, и в Америке, и даже в Советском Союзе — если записаться русским. А если мы хотим жить “как евреи”, то что это значит?

Еврейское существование всегда означало и означает стремление к тому, к чему призывали пророки: к формам общественной жизни, основанным на началах справедливости и любви, мира и милости. Никакие территории, вооружения или комбинации союзников не обеспечат нашей безопасности, как и безопасности любого другого государства, на все времена, ибо важно не сколько жить, а как жить, важно не когда умереть, а за что. И если мы будем строить такую жизнь, о которой мечтаем, и будем готовы умереть за эту жизнь и эту мечту, мы будем счастливы и бессмертны, как бессмертны все те, кто сохранил нас в этом мире и привел в эту страну: пророки, солдаты, мудрецы и мученики, бессмертные мученики нашего народа.

Прошлой осенью, вскоре после отставки, полковник Хаздаи опубликовал книгу "Правда в тени войны" (см. "22" № 5), вызвавшую огромный интерес среди израильских читателей (отрывок из этой книги под названием "Государство — это еще не все" был опубликован нами в журнале "Сион" № 15). Один из откликов на эту книгу пришел от эмигрировавшего в Канаду молодого израильтянина, которому Хаздаи ответил нижеследующим письмом.

ЧТО НАМ ДЕЛАТЬ

С ИЗРАИЛЕМ?

Дорогой Ярон!

Я прочитал твое письмо со смешанным чувством. Мне было приятно его получить, приятно было увидеть, что ты помнишь время, проведенное нами вместе в армии. Я с грустью узнал, что ты эмигрировал. Я не собираюсь разубеждать тебя. Полагаю, что прежде чем принять свое решение, ты много думал о нем и сам знаешь все возражения и доводы, которые я могу привести.

Я прослужил в армии более двадцати лет и командовал целым поколением солдат. Я хорошо знаю это поколение. Много раз я пытался убедить своих молодых подчиненных остаться на сверхсрочную службу. Отказывались обычно по разным причинам. Одни хотели пойти в университет. Другие хотели вернуться в свои кибуцы. Третьи хотели побывать за границей. Никто не сказал мне, что он собирается заняться общественной или политической деятельностью.

Это очень характерно для вашего поколения. Оно не ощущает потребности заниматься политикой. Мы выиграли все войны, наш уровень жизни вырос, наша ситуация, казалось, становится все лучше, — и в этих условиях поколение, выросшее между Синайской кампанией и войной Судного дня, полагалось на своих руководителей и не видело для себя ни цели, ни места в общенациональных делах.

Все изменилось после войны Судного дня. Наша военная, политическая и экономическая ситуация стала выглядеть более тревожной, чем когда-либо, и люди начали терять веру в свое руководство. Многие представители этого сражавшегося поколения начали подумывать, не включиться ли им в общенациональные дела, взяв их из рук обанкротившихся лидеров. Некоторые попытались это сделать, но вскоре вернулись к своим частным делам — теперь уже не потому, что думали, будто другие сделают это лучше, а ясно почувствовав, что у них нет никаких шансов что бы то ни было изменить.

Твой поступок — крайний случай поведения, типичного для всего нашего поколения. Многие из твоих сверстников ушли в университеты или в бизнес, многие вернулись в кибуцы и мошавы, а некоторые, подобно тебе, предприняли более радикальный, менее достойный шаг — быть может, их отчаяние было глубже — и покинули Израиль на время или навсегда. Общим для всех вас было стремление избежать борьбы за изменение характера нашего государства.

Потрясение войны Судного дня положило начало глубоким изменениям в израильском обществе. С одной стороны, возникло и стало бурно расти движение протеста, целью которого были фундаментальные перемены в социально-политической структуре. С другой стороны, политические лидеры, активные члены правящих и оппозиционных партий, высшие чиновники, армейские офицеры, крупные бизнесмены и капиталисты сплотились, чтобы защитить свои позиции и отстоять сложившийся порядок.

Общественное возбуждение и протест выражались по-разному. Возникли прецеденты разрушения старых политических структур и создания новых таких, как Движение за перемены и Демократическое движение Гуш Эмуним и Мир сегодня. Люди обнаружили также готовность порвать с устоявшимися схемами голосования, как мы убедились во время "переворота" в мае 1977 года.

Истеблишмент парировал это наступление, чтобы сохранить статус-кво. Прежде всего государственные и военные деятели объе-

динились в попытке доказать, что единственной причиной наших провалов в войне Судного дня была "неожиданность", что произошла несчастная случайность, а в остальном все в порядке: мы одержали "нашу величайшую победу", и все может оставаться по-старому.

Затем истеблишмент обратился к подкупу. Новое правительство, подобно старому, непрерывно пыталось сохранить уровень жизни и даже повысить его, чтобы усилить ощущение личной удовлетворенности и заглушить требования реформ.

И вот вместо того, чтобы последние четыре года готовиться к предстоящим нам "тощим годам", мы пожертвовали своей независимостью в обмен на высокий уровень жизни. Как нам сегодня не хватает этих четырех лет!

Когда предыдущее правительство обнаружило, что, несмотря на все свои усилия, оно теряет доверие народа, и когда нынешнее правительство увидело, что оно утрачивает доверие, которое было ему временно оказано, оба они реагировали с одинаковым высокомерием. Наши лидеры, прилюдно и в кулуарах, обзывали народ "кучей тунейдцев" и утверждали, что нация "устала", что она хочет мира любой ценой и не согласна ни на какие усилия. И по той же причине нынешние руководители, как и прежние, объявляли группы протеста фанатиками или пораженцами.

Я глубоко убежден, что нация не "устала", не находится "в шоке", не представляет собой "кучу тунейдцев". Народ возмущен поражениями, которые навлекло на него руководство во время войны Судного дня; он растерян, потому что ему не говорят правду о войне и нынешнем положении; он подавлен, потому что ощущает бесплодность всех попыток изменить ход вещей.

Народ готов принести жертвы, но только в том случае, если получит новых руководителей — не тех, что кормят его зрелищами, церемониями, напыщенными, но пустыми фразами, а тех, кто скажет ему правду, подаст личный пример, будет стойким и заслужит доверие.

Формально движение протеста победило. Большое количество голосов, поданных за Демократическое движение за перемены на выборах 1977 года, и сама победа блока Ликуд были, в сущности, настоящим политическим переворотом. Но в течение нескольких месяцев "Демократическое движение за перемены" уютно устроилось на прежней политической сцене, утратило специфику и фактически распалось; режим Ликуда оказался той же старой

рухлядью лишь в новой упаковке; а многие из прежних наших болячек обнаружались в еще более грозном виде.

Провал движения протеста ныне очевиден всем. Этот провал вызвал чувство разочарования и бессилия именно в тех группах, которые всегда были костяком нашего общества. Теперь, после столь горького краха иллюзий, трудно убедить людей снова подняться на борьбу.

Как видишь, я согласен с тем, что сегодня в Израиле есть объективные причины для разочарования и отчаяния. Вопрос состоит лишь в том, является ли бегство единственным выходом. Существуют ли другие пути для людей, которые не хотят мириться с создавшимся положением? Я думаю, что существуют.

Нам нужно прежде всего сохранить самоуважение, не поддаваться настроениям типа: "Пей, гуляй и веселись..." или "Все воюют, а я что — лучше?", продолжать следовать нашим принципам и ценностям и бороться с подступающей тьмой, высоко вздымая собственные факелы.

Но этого недостаточно. Нужно еще, чтобы каждый подумал, не может ли он что-нибудь улучшить. Нас не должны пугать презрительные клички вроде "простак" или "утопист". Даже если шансы кажутся ничтожными, нужно внести свою лепту. Чем больше людей рискнет поставить на эти ничтожные шансы, тем большим будет наш совместный выигрыш.

Я решил бороться за свою "Утопию". Сначала, сразу же после войны Судного дня, я полагал, что главная опасность состоит в недостатках нашей армии и что первоочередная задача — лучше подготовить армию к следующей войне. Активность в этом направлении показала мне, что причины нашей предвоенной неподготовленности не исчезли и что реформа армии должна стать частью всеобъемлющего процесса обновления всего нашего общества.

Затем политическая реальность последнего года показала мне, что угроза нашему существованию может возникнуть не из-за очередной военной неожиданности, а из-за нелепой, разрушительной внешней и экономической политики.

В итоге, я решил опубликовать книгу, которую ты сейчас прочитал. Я не знал, как она будет встречена. Ход мирных переговоров создал у всех мрачное настроение, и мне казалось, что первым и главным делом должно быть правдивое признание трудности нашего положения.

Итог "переворота" 1977 года и то, что произошло в Демократическом движении за перемены, серьезно подорвали все надежды на перемены, но ничуть не повлияли на наше национальное руководство. По-прежнему в обществе ощущается глубокое недоверие к существующим политическим силам и слишком знакомым лидерам. Существующие политические силы находятся в явном упадке. Рано или поздно, но они сойдут со сцены или радикально изменят свой характер. Нация готова оказать доверие новым политическим силам и ищет руководителей, которые могли бы предложить иной подход к проблемам и иной способ их решения.

Я пришел к выводу, что имеет смысл предпринять новую попытку перемен, которая будет учитывать уроки предшествующих поражений.

Я полагаю, что можно выделить три главных требования, вокруг которых могли бы объединиться все граждане страны. Это, во-первых, требование социальной справедливости и ликвидации этнического разрыва. Это, во-вторых, требование, чтобы наш социальный порядок основывался бы, насколько это возможно, на свободных, независимых действиях отдельных граждан и как можно меньше на действиях вождей, от которых граждане зависели бы и на которых они должны были бы оказывать давление, чтобы заставить их выполнить свой долг. И, в-третьих, это сохранение уровня и образа жизни, совместимого с возможностями страны.

Я не знаю, каковы шансы на возникновение такого движения, а тем более — на его успех. Но мне кажется, что только такое движение может вывести нашу страну из того состояния отчаяния и безнадежности, которое охватило ее сегодня, и провести нас через предстоящие трудные годы. Я пишу тебе все это для того, чтобы показать, что есть иной путь, кроме отчаяния и бегства, путь борьбы и надежды. И я надеюсь, что это заставит тебя подумать.

ПОРТРЕТЫ В ПРОФИЛЬ

Иной раз жизнь сама выстраивает биографии действующих лиц одной эпохи попарно, словно требуя для них современного Плутарха. Но Плутарха нет, и остается только расположить эти судьбы рядом, чтобы попытаться понять, что же хотела сказать этой параллелью история.

Хаим Вейцман



КОНЕЦ ЖЕНЕВСКИХ ДНЕЙ

Моя молодость кончилась в Женеве, — не по годам, по которым она кончилась раньше, а потому, что здесь прошел водораздел в моей жизни. Конец моих женевских дней совпал с мрачным периодом еврейской истории в России, с потрясениями и разочарованиями, вызванными “Угандийским проектом” в рядах сионистского движения, со смертью Герцля. Моя молодость не кончилась сама по себе — она была прервана. Затем наступило своего рода междувременье — и возрождение для новых поисков; но это было уже не в Женеве.

В начале 1903 года я был по горло занят химией — и сионизмом. Долгие дни, а зачастую и целые ночи я проводил в лаборатории, увлеченный иссле-

Из автобиографической книги “Поиски и заблуждения”, подготовляемой к печати издательством “Библиотека Алия”.

дованием, которое было интересно само по себе и обещало открыть новые возможности в химии; обещанию этому суждено было сбыться. Это исследование предопределило направление моей работы на многие годы вперед. И тем не менее химии была отдана лишь половина моего времени, и та не полностью, ибо, хотя научные занятия никогда не вступали в конфликт с моим увлечением еврейскими делами, еврейские дела не покидали меня даже в лаборатории. Да и могло ли быть иначе? То было напряженное время, и запах гари уже чувствовался в воздухе.

В марте 1903 года, не в силах больше вынести свое добровольное заточение в Женеве, я прервал свою научную работу и отправился в Россию, чтобы посетить тамошние еврейские общины. Это было самое долгое путешествие из всех, какие я когда-либо предпринимал — и последнее в Россию. Мой маршрут пролегал через всю Черту, через многие города севера, юга и юго-востока. Непосредственной целью путешествия была пропаганда идеи Еврейского университета; более широкой задачей была сионистская пропаганда. Я начал с университетских городов — таких, как Киев и Харьков, — и повсюду встретил воодушевляющий отклик. В Киеве професор Мандельштам, известный окулист и ярый приверженец Герцля, организовал мне встречу с Бродским — сахарным королем России. Господин Бродский был противником сионизма, но и он проявил большой интерес к идее университета и обещал нам свою безоговорочную поддержку. Он не был одинок в этом отношении. Тогда, как и позднее, многие богатые евреи, которые продолжали ощущать некую ответственность за судьбы своего народа и в то же время не разделяли чаяний низов, готовы были оказать нам определенную помощь левой рукой — при условии, что правая ничего об этом не будет знать. Для них помощь будущему Иерусалимскому университету была филантропией; для нас эта идея означала национальное возрождение. Они готовы были дать — с оговорками; мы готовы были взять — со сдержанностью.

Пропаганда сионизма в России была рискованным делом. Разумеется, не таким опасным, как революционная пропаганда, но тем не менее не чем-то открытым и свободным. Я вспоминаю любопытный случай, произошедший во время этой поездки. Из Киева я направился в Николаев — военный и торговый порт на Черном море. Я не собирался заниматься в Николаеве пропагандой, но, поскольку я уже приехал, местные сионисты не хотели упустить такой случай. Был созван митинг — в синагоге, разумеется. Закон

не запрещал молитвенных собраний. К сожалению, большое скопление народа привлекло внимание властей, и в самый разгар митинга здание было оцеплено казаками, полиция ворвалась в помещение и препроводила всех собравшихся, включая, конечно, и докладчика, в участок. Я был доставлен к полицейскому чину, который подверг меня долгому и изнурительному допросу.

Во время этой поездки по русским еврейским общинам я увидел, какой контраст существует между сионистским и революционным движением. Да, мы явно добились заметных успехов; множество способных и отлично подготовленных мужчин и женщин работали в сионистском движении, пропагандируя, организуя и вселяя надежду в людей. Но нельзя было не видеть, что мы мало преуспели в сравнении с подъемом ассимиляторских, революционных настроений. В начале Песах я снова был дома, в Пинске, а на пасхальные каникулы решил съездить в Варшаву, к Нахуму Соколову, который возглавлял в этом городе весьма влиятельный комитет в поддержку Еврейского Университета.

Соколов принадлежал к старшему поколению сионистских лидеров. Он давно уже был знаменит в еврейском мире — по крайней мере, в той его части, которая питала ивритско-культурные и сионистские сантименты, — когда на сцене появился Герцль. Соколов был "илуй" (подросток-гений), непревзойденный в знаниях Талмуда и иврита, и среди ивритских писателей заслужил репутацию "европейца". Он был многосторонне талантлив, особенно когда речь шла об усвоении языков. Во времена моей учебы в Берлине и еще много лет потом он был редактором газеты "А—Зефира" — ведущего еврейского издания того времени и главного органа еврейского культурного возрождения. Соколов жил в Варшаве, и в своих челночных рейсах между Берлином (или Швейцарией) и Россией я всегда останавливался там, чтобы нанести визит в его дом. Станный это был дом: он напоминал пересадочную станцию. Нерпрывно появлялись и исчезали какие-то люди, преимущественно молодежь, притом в самые неподходящие часы. Сам Соколов бывал дома только от случая к случаю. Он приходил после обеда или чуть позже и снова уходил к вечеру, отправляясь в свое любимое кафе, где оставался до полуночи. По возвращении он обычно засиживался до утра, готовя очередной выпуск "А—Зефира". У него всегда были наготове несколько загодя написанных передовиц, и он, случалось, заполнял целый выпуск газеты собственными материалами. Он способен был писать о чем угодно и в

каком угодно жанре — фельетоны, критические статьи о литературе, театральные обзоры, политические анализы и философские эссе.

Соколов всегда относился сочувственно к молодежи, особенно к ее стремлению выдвинуть на первый план культурные аспекты сионизма. Но его поддержка была умеренной, осторожной, мягкой, без особого энтузиазма. То же отсутствие практичности, которое он обнаруживал в ведении "А—Зефира", было характерно и для других его начинаний. Я помню, как на одном из первых сионистских конгрессов он предложил блестящую идею издания Еврейской энциклопедии и даже сообщил, что уже получил на это деньги. Разумеется, он был самым подходящим человеком для такого дела, и мы, молодые, были в восторге, когда он попросил нас сотрудничать с ним. Когда улеглось возбуждение, связанное с конгрессом, мы отправились с ним через озеро в Интерлакен, чтобы без помех все обсудить. Он угостил нас великолепным завтраком и говорил о чем угодно — кроме энциклопедии. Мы расстались с ним, слегка ошеломленные, и никогда больше не слышали от него ни слова на эту тему.

Из своих контактов с Соколовым я вынес впечатление о нем, как о человеке, отличавшемся крайней пестротой мнений и убеждений. В "А—Зефира" он выступал как националист и гебраист; но одновременно он издавал также и польскую газету, "Израэ-лита", обслуживавшую в основном ассимилированных евреев, и в этом издании его национализм был куда менее заметен. Эта двойственность его позиции в общем-то не была раздражающей, ибо ему по природе свойственно было стремление примирять крайности. Мы были тогда воинственными юнцами — и все же нас влекло к Соколову. Он чувствовал нашу догматичность, наше доктринерство и пытался привить нам способность к пониманию чужой точки зрения, смягчить то, что он считал нашей еврейской и славянской нетерпимостью. Он всегда стоял за компромисс. "Мир не рухнет, — говаривал он, — если вы чуточку уступите, зато жизнь станет чуточку более сносной".

Нынешнее поколение, пережившее трагедии, далеко превосходящие Кишиневский погром, наверно удивится тому, какой ужас вызвал он в тогдашнем еврейском мире. Не знаю, был ли Кишиневский погром самым страшным из российских зверств начала 900-х годов, и уж конечно он не идет в сравнение с тем, к чему мы привыкли в четвертом и пятом десятилетиях этого века, но, воз-

можно, именно в этом и состоит объяснение: "К чему мы привыкли"... А может быть, мы были потрясены не вполне осознанным предчувствием того, что нам готовит наступающее столетие.

Сорок пять убитых, более тысячи раненых, пятьсот разрушенных и разграбленных домов и лавок — таковы сухие цифры Кишиневского погрома. В течение 24 часов евреи Кишинева были отданы во власть разъяренной толпы, состоявшей из городских и собравшихся из окрестностей подонков. Только вечером второго дня, выполняя запоздалый приказ министра внутренних дел, омерзительного фон Плеве, полиция вмешалась и приостановила зверства и разрушения.

Волна гнева и отчаяния, захлестнувшая всю еврейскую общину от одного конца России до другого, была усилена смешанными чувствами гнева и беспомощности. Вероятно, самой мучительной особенностью Кишиневского погрома было то, что евреи дали убивать себя, как овцы, не оказав массового сопротивления. Несмотря на дикую погромную агитацию Крушевана, они отказывались поверить в возможность побоища, организованного с благословения властей; и нападение, произошедшее в самый разгар последних дней Песах, застигло их врасплох. Противник же был тщательно подготовлен, и погром перебрасывался из одной части города в другую с почти военной четкостью. Шансов организовать хотя бы импровизированную самооборону не было никаких. А там, где молодежь, у которой оказалось под рукой оружие, пыталась сопротивляться, ее тут же разоружала полиция.

Из Варшавы я собирался вернуться в Женеву. Но теперь я махнул рукой на лекции и бросился назад, в Черту. Вместе с друзьями и знакомыми я занялся организацией групп самообороны во всех больших еврейских центрах. Когда вскоре после этого погром вспыхнул в Гомеле, неподалеку от Пинска, хулиганы неожиданно наткнулись на сильные и организованные еврейские отряды. Вмешалась полиция, которая сделала все возможное, чтобы разоружить евреев; но группам самообороны все же удалось отразить первую волну нападения, и погром уже не смог набрать свой первоначальный размах. Постепенно по всей Черте разгорелась своеобразная партизанская война между евреями и русскими властями, в которой партизаны пытались сохранить порядок, тогда как власти поощряли беспорядки. Возмущение евреев нарастало, и наша жизнь поэтому становилась все более невыносимой. Долгие недели мы находились в состоянии войны. Наши мечты о Палестине, планы соз-

дания Еврейского университета — все было забыто. Глаза не видели ничего, кроме крови замученных мужчин, женщин и детей, уши не слышали ничего, кроме их воплей.

Вернувшись наконец в Женеву, я нигде не мог найти себе места. Каждое письмо, которое я получал из России, звучало как похоронный плач. Я был подавлен; все, чем я занимался, казалось мне ничтожным, а сделать я ничего не мог. Летнего, шестого по счету, конгресса я ждал со смешанным чувством безнадежности и какого-то мистического упования.

Я понимал, что Кишиневский погром и развязанное им царство террора не предвещают нашему движению ничего хорошего. Во времена паники планы всегда теряют четкость, творческая работа становится невозможной, в движении доминируют бредовые и неосуществимые идеи. Груз панических настроений, ставший лишь более заметным после Кишиневского погрома, тяготел над сионистским движением в течение многих лет. Необходимость “неотложного решения” преследовала нас на каждом конгрессе, отвлекая нас от трезвого планирования и тех неизбежных скромных начинаний, которые должны предшествовать всяким большим свершениям. В погоне за призрачными дипломатическими победами официальное сионистское руководство предало забвению духовную сторону движения.

Вернувшись в Женеву в конце весны 1903 года, я направил Герцлю меморандум, в котором изложил критические возражения нашей Демократической фракции. Я сообщал о положении в России, о распространении революционных настроений среди еврейской молодежи, о новых преследованиях, организованных фон Плеве, и о трудностях, тормозящих развитие сионистского движения среди русского еврейства.

Однако Герцль, даже если он и признавал справедливость наших замечаний, уже не мог уклониться от избранной им линии поведения. Бедствия русского еврейства подавляли его; он предвидел новую волну массовой эмиграции, вызванную погромами, и удваивал свои дипломатические усилия. С приближением лета стали циркулировать неясные слухи о каких-то политических переговорах с Англией, а затем стало достоверно известно, что Герцль добивается встречи с фон Плеве — человеком, руки которого были обгажены еврейской кровью! И в начале августа, незадолго до открытия конгресса, Герцль действительно приехал в Россию, чтобы получить аудиенцию у палача Кишинева.

Этот шаг вызвал ожесточенные споры. Некоторые полагали, что еврейский лидер не может себе позволить чрезмерную взыскательность и обязан встречаться с кем угодно, даже с убийцей, если это может принести хоть какую-нибудь пользу. Другие не могли примириться с мыслью об этом последнем унижении. Но были еще и такие — я принадлежал к их числу, — которые считали этот шаг не только унижительным, но и абсолютно бесплодным. Как оказалось, Герцль надеялся не только убедить фон Плеве подавить разгул “Черных сотен”, но и мечтал заручиться поддержкой России в своих попытках убедить ничтожного правителя Турции Абдул Хамида открыть нам ворота Палестины. Нельзя себе представить ничего более оторванного от реальности. Антисемиты принципиально не могут помогать созданию еврейского национального очага; их взгляды не позволяют им делать что бы то ни было, что могло бы действительно помочь еврейскому народу. Погромы — да; преследования — да; эмиграция — да; но ничего такого, что может способствовать освобождению евреев.

Отчаяние русского еврейства было столь бездонным, что поездка Герцля по еврейским общинам России приняла характер чуть ли не мессианского шествия. Но его “сердечные” переговоры с фон Плеве, разумеется, не дали никаких результатов — решительно никаких, если не считать, конечно, разочарования и еще более глубокого отчаяния, а также еще более глубокого нашего размежевания с революционерами, у которых это заигрывание с реакцией вызвало бурное негодование. Было сказано много общих слов, фон Плеве повторял ходячую фразу, что все евреи — революционеры, и давал некие туманные обещания, которые и не думал сдерживать. В обмен Герцль, выступая перед еврейскими руководителями в Санкт-Петербурге, предостерегал их от покровительства радикальным элементам в своей среде! Меморандум, который я ему направил, не возымел никакого результата.

Но самое худшее ожидало нас на самом конгрессе. Он открылся под знаком Кишиневского погрома и визита Герцля к фон Плеве; он завершился историей с Угандой.

Я помню одну глубоко знаменательную деталь первого дня заседаний. У нас уже сложился обычай вывешивать на стене, тут же за председательским креслом, карту Палестины. На этот раз она была заменена картой Уганды, и этот символический акт задел нас за живое и наполнил мрачными предчувствиями. Герцль начал свою речь, яркими красками обрисовав текущее положение, которое

мы, российские евреи, знали слишком даже хорошо. Из своего выступления он сделал один-единственный вывод — о настоятельной необходимости безотлагательной и широкой акции. Необходимы срочные меры. Он не отвергал идею Палестины как еврейского национального очага. Напротив, он намекнул, что обещание фон Плеве оказать нажим на Турцию улучшает наши перспективы в Палестине. Но в отношении первоочередных наших задач появилась совершенно новая, крайне важная перспектива. Британское правительство предложило нам территорию в Британской Восточной Африке. Разумеется, Британская Восточная Африка — это не Сион и никогда им не будет. Это только вспомогательный вариант, — но в общенациональных и государственных масштабах.

То была необыкновенная, тщательно продуманная речь — как оказалось, даже слишком тщательно продуманная, ибо ее осторожные, взвешенные фразы невольно выдавали скрытые в ней принципиальные противоречия. На предварительном закрытом заседании Исполнительного комитета Герцль уже натолкнулся на резкое сопротивление. Но все же он получил там большинство и сумел добиться согласия представить конгрессу британское предложение от имени Исполкома в целом. Понимая, что на пленарном заседании конгресса он встретит не меньшее сопротивление, он не предлагал немедленно принять угандийский проект. Он смягчил удар, предложив направить комиссию для обследования обсуждаемой территории и доклада о ее пригодности.

Делегаты конгресса были невероятно возбуждены. Впервые в изгнаннической истории еврейства правительство великой державы вступило в официальные переговоры с избранными представителями еврейского народа.

Национальный суверенитет, легальная правомочность еврейского народа были возрождены и признаны. Таковы были результаты, достигнутые нашим движением; результаты эти сами по себе были впечатляющими. Но по мере того, как содержание британского предложения доходило до сознания делегатов, их охватило ощущение тревоги и удрученности. Можно было сколько угодно твердить, что Уганда является вспомогательной и временной мерой, но необходимая для этой чисто спасательной акции затрата сил означала на практике, независимо от намерений Герцля, ликвидацию сионистского движения во всем, что было связано с Сионом.

Как могло случиться, что Герцль готов был согласиться на такую подмену целей? Это было логическим следствием его пони-

мания сионизма. Для Герцля и для многих, кто следовал за ним — вполне возможно, что и для большинства еврейских представителей, собравшихся в Базеле, сионизм означал немедленное решение проблем, угнетавших наш глубоко измученный народ. Если он не мог дать такого решения, то он, по их мнению, вообще ничего не мог дать. Такое представление было одновременно и упрощенным, и наивным, и чрезмерно возвышенным. Подлинно исторические проблемы вообще не имеют немедленных решений. Можно лишь продвигаться в направлении их решения. Герцль, наш руководитель, придерживался противоположного мнения; и ему суждено было пережить жестокое разочарование. Он побывал в России и бросил испуганный взгляд на Черту и ее страдания. Отчаявшееся еврейство повсюду встречало его как своего избавителя; и теперь он чувствовал себя обязанным принести это избавление. Он не считал возможным ждать, ибо волна антисемитизма нарастала, “нижние этажи еврейского дома, по его словам, были уже затоплены”.

Как бы то ни было, конгрессу было предложено “всего лишь” создать комиссию. Никто однако не обманывался насчет подлинного смысла этого предложения. На конгрессе обозначился глубокий, болезненный и непримиримый раскол. Когда первое заседание было прервано и делегаты столпились в коридорах, какая-то молодая женщина взбежала на сцену и яростно сорвала со стены карту Уганды, повешенную там вместо обычной карты Сиона.

Я торопился на заседание русской делегации, самой большой на конгрессе, где нам предстояло обсудить нашу позицию. Усышкин, глава русских сионистов — он был, конечно, яростным антиугандистом, — находился тогда в Палестине; другие русские лидеры — Бернштейн-Козн, Шмарьягу Левин, Виктор Якобсон — выступили решительно против Уганды. Польская делегация разделилась; Соколов — это было для него характерно — не высказался однозначно; мой отец (он был моим соделегатом из Пинска) и брат Шмуэль оказались в том русском меньшинстве, которое выступило проугандийски, и впервые в жизни между нами возникла некоторая отчужденность.

Я произнес на заседании страстную речь против угандийского проекта и перетянул на нашу сторону многих колебавшихся. Дело шло о попытке полностью изменить весь характер сионистского движения. Тот факт, сказал я, что Мизрахи, то есть религиозные сионисты, в большинстве своем стоят за Уганду, а Демокра-

тическая фракция, в большинстве своем, против, показывает нам, в чем состоит существо дела.

“Влияние Герцля на людей очень велико, — продолжал я. — Даже противники Уганды не свободны от него, и поэтому они не могут решиться открыто заявить, что это предложение представляет собой отход от Базельской программы. Герцль, который основал ныне существующее движение “Хиббат Цион”, связал себя с ним. Но время шло, а палестинские попытки не достигали успеха, и Герцль стал сожалеть о содеянном. Он стал считаться только с внешними обстоятельствами, тогда как мы исходили из соображений, глубоко связанных с психологией нашего народа и его жизненными чаяниями. Мы отдаем себе отчет, что для приобретения Палестины потребуется длительное время, и поэтому мы не отчаиваемся, если та или иная отдельная попытка нам не удастся”.

Обсуждение проекта было возобновлено после сепаратных заседаний всех групп. Напряжение достигло высшей точки. Семейные узы и долгие дружеские связи трещали по швам. Резолюция голосовалась поименно. Каждый делегат должен был произнести “Да” или “Нет”. Ответы падали в мертвой тишине подобно ударам молотка. Мы чувствовали, что решается судьба сионистского движения. Двести девяносто пять делегатов произнесли “Да”, сто семьдесят пять сказали “Нет”. Около ста воздержались. Я живо помню, как Герцль назвал фамилию Соколова. “Господин Соколов”. Молчание. “Господин Соколов”. Молчание. И в третий раз: “Господин Соколов”. С тем же результатом.

Самым удивительным было то, что огромное большинство отрицательных ответов дали делегаты из России! Все кишиневцы были против Угандийского проекта!! Это превосходило всякое понимание западных делегатов. Я помню, как после голосования Герцль подошел к одной из групп в коридоре и в ходе короткого обмена мнениями воскликнул по поводу упрямых русских евреев:

— У этих людей удавка на шее, а они все же упорствуют!

Рядом с ним оказалась та самая молодая женщина, которая сорвала карту Уганды. Она гневно воскликнула: “Господин президент, вы нас предали!” Герцль повернулся на каблучках.

Формально Герцль получил большинство голосов, но всем было совершенно очевидно, что согласие на британское предложение не даст никаких практических результатов. Различие в голосовании было слишком незначительным. К тому же, именно те люди, ради которых конгресс принял предложение об Уганде, страдающие,

угнетенные российские евреи, решительно от нее отказывались. Они не хотели изменить Сиону.

Когда были объявлены результаты поименного голосования, те члены Исполкома, которые на его закрытом заседании выступали против Герцля, спустились со сцены и покинули зал заседаний; их сопровождало огромное большинство русских делегатов. Это была страшная минута. Членов, Корнберг и другие старейшие деятели движения плакали, не скрывая слез. Когда диссиденты собрались на свое сепаратное заседание, некоторые из них, дойдя до крайнего отчаяния, сели на пол в традиционной позе, предусмотренной для оплакивания покойника или в память разрушения Храма в день девятого Ава. Я помню, что вскоре после этого Ахад-Гаам написал статью "А—Бохим" ("Плакальщики"), в которой с глубокой скорбью напоминал, что он всегда указывал на отсутствие подлинно народного сионизма у западных руководителей, готовность изменить Палестине, утверждал он, скрыто присутствовала в них с самого начала; она впервые проявилась в книге Герцля "Еврейское государство", в которой Сион не был даже упомянут; затем в его "Альтнойланд" ("Староновой стране"), утопическом романе, где описывалось будущее еврейское государство без еврейской культуры; и вот теперь наступила развязка — отказ от величия еврейской исторической родины в обмен за чужую, никому не известную африканскую землю.

Подавленные, полные горького разочарования, сидели мы в своем тесном кругу; и тут нам передали, что Герцль хотел бы с нами поговорить. Мы ответили, что будем рады выслушать его. Он пришел, осунувшийся и измученный. Его встретило мертвое молчание. Никто не поднялся в знак приветствия, никто не аплодировал, когда он кончил говорить. Он выговаривал нам за то, что мы покинули зал; он понимает, сказал он, что это была всего лишь стихийная демонстрация, а не бунт; он приглашает нас вернуться. Он заверил нас в своей непоколебимой преданности Палестине и снова заговорил о неотложной необходимости найти сиюминутное убежище для огромных масс бездомных скитальцев. Мы слушали его в молчании; никто не пытался отвечать. Это был, наверно, единственный случай, когда Герцля, кумира всех сионистов, так встречали на каком-либо сионистском собрании. Он ушел с тем же, с чем пришел; но я думаю, что во время этой короткой встречи он впервые понял всю глубину чувства, связывавшего нас с Сионом.

Это был последний раз, когда я видел его вблизи, не на трибуне. Он умер в следующем году в возрасте сорока четырех лет.

Из Угандийского проекта не вышло ничего. Через год после смерти Герцля, на седьмом сионистском конгрессе в 1905 году, он был окончательно отвергнут, и Израиль Зангвилл и некоторые другие вышли из сионистского движения с тем, чтобы основать Еврейскую Территориальную Организацию, которая в течение нескольких лет пыталась найти другую территорию для расселения больших масс евреев в собственных национальных границах, но никогда, никогда ничего не нашла.

Шестой конгресс с его драматическим обострением споров вокруг еврейского вопроса многому меня научил. Я ощутил крайнее несоответствие сионистского движения, каким оно стало, той трагедии, которую переживал еврейский народ. Кишинев лишь усилил в русских евреях неискоренимое стремление на еврейскую родину в Палестине — в Палестине, а не где-нибудь еще. “Где-нибудь еще” означало для них лишь еще один этап многовекового изгнания. Они стремились в Палестину, ибо это означало возрождение во всех смыслах этого слова. Но сионизм не мог предоставить им Палестину немедленно; и постепенно некая ложь и измена собственной цели проникла в сионистское движение. Угандийский проект-суррогат был химерой; в нем не было ни отзвука древней надежды и вековых воспоминаний. Сионизм подошел к распутью; ему предстояло либо научиться терпению и выдержке и познать трудную науку естественного развития, либо сойти на нет в бесплодных затеях.

Я ощущал, что тоже подошел к распутью и что мне тоже надлежит сделать некий решительный шаг — шаг, который выразил бы мою убежденность, что все нужно начать с начала. 4 июля 1904 года в Вене умер Герцль; и в тот день, когда делегация студентов выехала в Вену для участия в похоронах, я подвел черту под первой главой моей сионистской жизни и отправился в Англию, чтобы начать вторую.



НА ПОДМОСТКАХ ИСТОРИИ

Глава из книги "Троцкий"
подготавливаемой к изданию
фондом "Москва-Иерусалим".

На переломе века, накануне раскола революционного движения вдоль жестко обозначившихся разграничительных линий, многочисленная русская эмиграция была рассеяна по всей Европе — в Париже, Лондоне, Цюрихе, Женеве, Вене, Брюсселе. Ее "спянные братством, энтузиазмом и усердными занятиями группы" вели довольно приятную светскую богемную жизнь. Энтузиазм этой студенческой среды, возбуждаемый общением с немногими профессиональными революционерами, дополнительно подогревался еще одним фактором — приверженностью общему делу. "Общей для всех революционных течений была некая, внутренняя убежденность, некая, в глубоком смысле слова, вера в неизбежную Революцию, которая вскоре освободит Россию".

Эта беспечная, яркая, захватывающая жизнь немедленно увлекла молодого Троцкого. В свои 23 года (сам Ленин был всего лишь на 9 лет старше) он вдруг оказался в самой гуще событий.

Для начала его испробовали как лектора. Ленин направил его с выступлениями к лондонским эмигрантам. Когда-то николаевский его дебют завершился плачевно; но тут неожиданно и непостижимо он проявил себя как блестящий оратор. То он был, в сущности, косноязычен — недостаток, еще усугублявшийся мальчишеским стремлением блеснуть эру-

дицией; а тут вдруг у него выработался сокрушительный атакующий стиль — этакий эффектный фейерверк внезапных выпадов, хлестких ударов и ловкой изворотливости, да еще в сочетании с глубоким завораживающим голосом, который подавлял оппонентов и буквально электризовал аудиторию.

Его внешний облик был теперь под стать этому ораторскому стилю. Один из знакомых так описывает его: "Высокий, худощавый, молодой, с длинными волосами и — в желтых ботинках. Эти желтые ботинки тем более привлекли мое внимание, что в то время никто из нас таких не носил. Он был похож на свою сестру (... жену Каменева), хотя у нее, впрочем, глаза были черные, а у него, скорее, светло-серые. Но у обоих у них было что-то одинаково хищное в выражении лица. В нем эта хищность еще более бросалась в глаза благодаря его особенному рту — большому, кривому, вот-вот готовому укусить. Жуткий рот!"

Ораторской виртуозности молодого Троцкого и суждено было проложить ему путь к славе. Многие из революционеров умели неплохо писать. Некоторые умели выступать. Мало кто говорил хорошо. И лишь очень немногие — блестяще. Ораторское дарование Троцкого взорвалось в этой революционной среде с ошеломляющей силой. Те идеи, которые он так стремительно усваивал в свои двадцать-двадцать два года, теперь внезапно сплывались с его столь же стремительно развернувшимся ораторским талантом; этот синтез превратил его в первоклассного актера на тех подмостках, где суждено было разыгрываться судьбам русского революционного движения.

Ленин проявил к нему исключительную благосклонность. Оказалось, что и его приглашение было частью задуманного Лениным плана создания организации: для этого Ленин нуждался в талантливых новобранцах. Он тут же предложил Троцкому переделать свое первое выступление в статью для марксистского теоретического органа "Рассвет"; по сравнению с этим "серьезным" журналом "Искра", почти невразумительная за пределами узкого круга "посвященных", казалась чуть ли не бульварным листком.

Троцкий не чувствовал себя готовым к этому; он ограничился более короткой статьей для "популярной" "Искры"; Ленин в свою очередь ограничился довольно снисходительной правкой статьи, после чего направил Троцкого в обычное для таких случаев турне по западноевропейским столицам, куда по каплям просачивались русские изгнанники.

Путешествие в Париж перевернуло его личные планы. Первая встретившаяся на его пути девушка — Наталья Седова, своего рода опекуна всех заезжих лекторов, — немедленно влюбилась в него.

Наталья была типичной представительницей “кающегося дворянства”. Еще в Московском университете она втянулась в нелегальное распространение запрещенной литературы; затем она отправилась продолжать учебу в Женеве. Подобно многим другим девушкам ее возраста, она была “бунтарем из благополучных”; идеалистические мотивы увлекли ее в нараставшее революционное движение, где она с радостью посвятила себя той будничной деятельности, которая составляла основную обязанность бесталанной и на все готовой революционной молодежи.

В то время (был 1902 год) Наталья жила в коммуне в маленькой квартире на рю Лаланд: она и еще несколько товарищей хотели объединить свои средства, чтобы тратить на жизнь как можно меньше. Туда заходил и 29-летний Юлий Мартов; он-то и возвестил о приезде Троцкого.

И в Париже первое выступление Троцкого прошло удачно: “Аудитория осталась весьма довольна, молодой искровец превзошел все ожидания”.

По окончании лекции пара юных марксистов отправилась осматривать Париж. Эта вылазка вполне могла сойти за тривиальнейшую идиллию влюбленных — каковой она и была, -- но идиллию весьма поучительную. Наталья неумоимо рекламировала достопамятные исторические места Парижа, равно как и прочие его прелести — красоту, культуру, — тогда как Троцкий защищался стандартными фразами всякого провинциала. “Париж похож на Одессу, — твердил он, — только Одесса лучше”.

Кончилось тем, что они обосновались в квартире на рю Гассенди в оживленном районе, к которому тянулась “наша эмиграция”. Наталья получала двадцать рублей (около пятидесяти франков) в месяц от родителей; Троцкий зарабатывал столько же пером. “Наш бюджет был весьма скромн, но зато у нас был Париж, дружба товарищей по эмиграции, неослабный интерес к России и великие идеалы, ради которых мы жили...”

Более поздние комментарии самого Троцкого отличаются той суховатостью, которая была у него припасена для такого рода признаний: “Я был несравненно более увлечен знакомством с

Парижем, чем с Лондоном, благодаря присутствию и влиянию Н. И. Седовой”.

Троцкий не сразу расстался с Лондоном. После своей первой лекционной поездки он вернулся туда, чтобы тут же с головой уйти в дразги внутри искровской группы. Поначалу эта группа, сложившаяся вокруг журнала, его даже увлекла. Как он писал позднее, он “влюбился в “Искру”, т. е. в газету как идею и как факт, независимо от всех разногласий, противоречий и оттенков мнений. Первое время он, казалось, не замечал той противоречивой путаницы, которая открывалась почти за каждым общим утверждением и которую люди посторонние (и несомненно недружелюбные) характеризовали как софистику, казуистику и резонерство. Возможно, его прирожденные наклонности спорщика были на первых порах подавлены уважением к опыту старших товарищей.

“Популярный журнал” издавали шесть человек, которых более или менее поровну разделял их возраст: трое “молодых” (Ленин, Мартов и Потресов), как правило, выступали против трех “стариков” (Плеханова, Аксельрода и Засулич).

Троцкий появился весьма кстати для Ленина, который вскоре предложил ввести его в редколлегия, что немедленно дало бы перевес ленинской группе благодаря появлению седьмого голоса. Ведь, грубо говоря, одновременно с увеличением состава редколлегии, увеличилась бы и относительная сила Ленина в ней.

Между группами, сложившимися в этой крохотной редакции, существовали и другие трения. Плеханов и Ленин, более или менее признанные лидеры соответствующих “поколений”, были антагонистами по складу характера. Плеханов, будучи много старше Ленина, пользовался в кругах русской эмиграции громадным уважением за свой литературный дар и эрудицию. Авторитет его был весьма внушителен — ведь он был близок с самим Энгельсом. Слава его как выдающегося писателя, в сущности — философа, выходила за рамки собственно русского движения. Впридачу он обладал элегантным “буржуазным” стилем: ленинской бульдожьей настырности и бесцветности ленинских призывов к будничной кропотливой работе он противопоставлял этакую снисходительную иронию. Ленина, вполне сложившегося человека (его уже в 25 лет называли “Стариком”!), которому уже перевалило за 30 и который с детства шпиговал свой мозг всевозможными знаниями, эта снисходительность Плеханова, естественно, бесила.

Настоящая фамилия Мартова была Цедербаум; его семья была известна своим участием в возрождении языка иврит среди русских евреев предыдущего поколения. Мартов участвовал в создании Бунда; позже он отказался от идеи еврейской автономии в рабочем движении и вместе с Лениным основал в 1895 году Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. Эмигрировав за границу, он и Ленин объединились со старыми эмигрантами для издания "Искры".

По характеру Ленин и Мартов тоже не вполне подходили друг другу, хотя тут, скорее, Мартов плохо уживался с Лениным; Ленин же до самой смерти сохранял к Мартову какую-то необычную привязанность.

Считалось, что Мартов заправляет литературной стороной "Искры", тогда как Ленин занимается политикой и прежде всего созданием организации, на которую опиралась крохотная газетка. Таким образом, на практике Ленин был главной опорой всего дела. Неутомимый человек и поразительно плодовитый автор, Ленин редко принимал участие в бесконечных дискуссиях, столь характерных для эмигрантской среды; дискуссия его интересовала прежде всего как прелюдия к какому-либо конкретному действию. Эта же особенность была примечательной чертой его ораторского искусства.

Плеханов не взлюбил Троцкого с первого же взгляда. Эта неприязнь, вскоре ставшая взаимной, переросла в открытую вражду — видимо, потому, что им обоим были одинаково присущи сварливое высокомерие, самовлюбленность, полемический блеск и склонность к театральным эффектам. Плеханову, кроме того, не был, вероятно, чужд самый обычный, старомодный, вульгарный антисемитизм: к евреям он относился неоднозначно.

Помимо личной неприязни к Троцкому Плеханов вообще не находил нужным увеличивать редакцию в угоду ленинским целям. Благодаря своей пронизательности, помноженной на враждебность к Троцкому, он сумел свести на нет все ленинские восхваления талантов Троцкого одним простым вопросом: каких именно талантов? Так сопротивление Плеханова, в сущности, преградило Троцкому путь в редколлегия "Искры".

Довольно расплывчатое революционное движение в этот момент находилось на пороге организационной кристаллизации. Ровно через девять месяцев после прибытия Троцкого в Европе

собралось некоторое количество делегатов с намерением создать Российскую социал-демократическую рабочую партию. В результате небольшой интрижки Ленина Троцкий тоже задержался в Европе, чтобы принять участие в этом съезде.

Ленин манипулировал Троцким без его ведома. Плохо укомплектованное и маломощное русское подполье умоляло Троцкого вернуться; но поскольку Ленину он нужен был в "Искре", то Ленин, ничего не говоря об этом Троцкому, ответил подпольному центру, что Троцкий, по всей видимости, не очень-то жаждет возвращения.

Около шестидесяти делегатов, представлявших собой довольно разношерстную группу, собрались в кишевшем клопами складском помещении на задах Народного дома, принадлежавшего бельгийской социал-демократической партии; почти все "отцы-основатели" этой так называемой рабочей партии так или иначе принадлежали к интеллигенции (в основном эмигрантской). Правда, четверо из них некоторое время были рабочими, но они составляли экзотическое исключение, не имевшее на съезде никакого значения.

Съезд предполагалось держать в величайшем секрете, однако полиция почти немедленно узнала о нем от своего агента в подготовительном комитете (весьма характерно, что этот агент пользовался доверием Ленина).

Троцкий, юноша, еще не достигший 24 лет и успевший приобрести некоторую известность как оратор и публицист искровской группы, прибыл на съезд из Женевы — одной из важнейших промежуточных станций всякого лекционного маршрута. На съезде он представлял наспех придуманную организацию — "Сибирский социал-демократический рабочий союз".

Искровцы во главе с Лениным имели на съезде большинство — 33 голоса из 51. Большинство это состояло в основном из людей, заранее подобранных самим Лениным: это он отправил многих из них в Россию, чтобы их тотчас послали обратно на Брюссельский съезд в качестве делегатов тех или иных "местных организаций".

Поскольку даже в зале съезда не всегда можно было толком разобраться в тонкостях обсуждаемых вопросов, а порой — и в самих вопросах, то понятно, что ленинские "делегаты" не могли представлять точку зрения крохотных групп, находившихся в далекой России. Это означало, что для центра с самого начала

стала обычной практика диктовать свою точку зрения вопреки формально провозглашенной "преданности принципам демократии".

Очень показательным было число голосов, предоставленных еврейскому Бунду — к тому времени самой многочисленной и наиболее эффективно организованной рабочей партии в России. Его пять голосов даже отдаленно не отражали его реального влияния.

Вскоре после открытия съезд уже запутался в клубке противоречий, причины которых были во многом подсознательными.

Разногласия возникли уже по вопросу о самой сути партии; этим словесным распрям суждено было впоследствии вызвать раскол партии, но тогда эти последствия только смутно угадывались.

Жаркие споры разгорелись и по двум другим актуальным вопросам, также, хотя и не явно, связанным с формами будущей партии. Первым из них был вопрос о статусе Бунда в новообразуемой партии. Вопрос был принципиальный, частично вследствие большого влияния Бунда, частично же потому, что тут снова всплывала основная организационная дилемма — кто кем должен руководить?

Бунд был единственным соперником сионизма среди широких масс постепенно пробуждавшегося восточноевропейского еврейства. Сионизм и Бунд состязались в привлечении на свою сторону всех тех евреев царской империи — общей численностью до пяти миллионов, — которые хотели порвать с религией, не теряя своего еврейства.

В своих попытках привлечь русских рабочих Бунд столкнулся с фактом куда более высокой сознательности рабочих-евреев; поэтому он отказался от своей прежней идеи просвещения русских пролетариев, которые якобы должны были помочь евреям решить их специфические проблемы, и в своей борьбе с сионизмом принял на вооружение народный язык идиш и идею национальной автономии.

Соответственно на втором съезде в Брюсселе Бунд добивался признания евреев национальным меньшинством, а себя — их официальным представителем. Учитывая многонациональность царской России это угрожало привести к тому, что партия в конечном счете окажется не более чем федерацией национальных пар-

тий, и далее — что каждая национальная группа сохранит за собой право на свободное самоопределение.

Ленин был настроен решительно против этой идеи: она шла вразрез с его приверженностью к централизму, как методу руководства партией и государством. К тому же он имел свою собственную теорию национального самоопределения, которая исходила не из “культуры”, а из понятия “территории” и потому не признавала никакой еврейской нации (позднее это повлекло за собой роковые последствия для советских евреев).

Программа Бунда была разгромлена; в этой схватке Ленина поддержали многие делегаты-евреи, в том числе Мартов (сам бывший бундовец), Аксельрод и Троцкий, который на этот раз был полностью солидарен с Лениным.

Кстати, именно в ходе дебатов о Бунде Троцкий — чуть ли не единственный раз — выступил как еврей и в связи с еврейскими проблемами. (На самом деле проблема, конечно, стояла намного шире, чем вопрос о русском еврействе: от того, какая концепция будет принята, зависела вся структура будущей партии.)

Троцкий стоял за исчезновение евреев. Поскольку марксисты выступают как против религии, так и, теоретически, против национализма, они, естественно, возражают против самого существования евреев, сохранение которых как группы они объясняют сочетанием религии с искусственно подогреваемыми националистическими чувствами (в ту эпоху — сионистскими). Для Троцкого и тогда, в 23 года, и на протяжении почти всей последующей жизни “решение” еврейского вопроса представлялось в виде поголовной интернационализации общества, которое, понятно, предполагало полное взаимное доверие евреев и христиан в процессе их слияния. Если вспомнить об ужасном Кишиневском погроме, происшедшем всего за несколько месяцев до съезда, легко представить, как трагикомично звучали эти высказывания Троцкого.

Даже если не говорить о всегда остающейся угрозе искусственно разжигаемого антисемитизма, в этих высказываниях нельзя не заметить характерную для Троцкого умозрительность в той абсолютно нереальной предпосылке, на которой он основывал свое решение еврейского вопроса, — предположении о возможности ликвидировать все национальные различия при одновременном исчезновении антисемитизма.

Другой запутанный узел завязался на учредительном съезде

вокруг вопроса о так называемом экономизме; Троцкому суждено было отличиться в жарких спорах и по этому вопросу.

Троцкий обрушился на "экономистов" с такой яростью, что делегаты прозвали его "ленинской дубинкой".

Во время оживленной дискуссии по этому вопросу Троцкий отстаивал крайнюю форму тезиса об усилении контроля партийного Руководства над Партией; он требовал, чтобы формулировки устава отражали организованное недоверие Руководства к массе рядовых членов.

Пожалуй, самое странное в итогах съезда, которые свелись, в сущности, к фактическому расколу партии, была почти полная невозможность понять, что же, собственно, произошло.

Трудно было догадаться о том взаимном озлоблении, в котором погряз съезд, поскольку все споры, естественно, велись в форме логических дискуссий, апеллировавших к авторитету марксистских доктрин. А так как реальность, которую стремились заключить в эти логические рамки, была почти неуловимой, у делегатов возникало ощущение, что они сражаются с призраками.

Позднее, когда партия уже раскололась на независимые фракции большевиков и меньшевиков, естественно было изображать дело так, будто раскол произошел из-за различных толкований пресловутого первого параграфа устава. В действительности, однако, атмосфера всеобщей ненависти на съезде возникла отнюдь не из-за разногласий по политическим или организационным вопросам. Отравило всю атмосферу предложение Ленина сократить число членов редакции "Искры".

Ленин хотел, чтобы небольшое ядро — три человека, три искровца — решало все. Он внес это предложение во время предварительного обсуждения повестки дня; поскольку искровцы имели большинство, предложение было принято. В результате в президиум съезда были избраны Ленин и два других его кандидата — Плеханов и Мартов.

Именно это предложение, этот "семейный скандал", и послужил началом вспышки взаимного озлобления. Раскол в маленькой и сплоченной группе искровцев немедленно отразился на всех других организационных вопросах, самым важным из которых была формулировка первого параграфа устава.

В обстановке растущего замешательства и взаимного недовольства, воцарившейся на съезде, Троцкий сделал шаг, который имел роковые последствия для всей его партийной карьеры. В запутан-

ной перебранке по поводу первого параграфа он выступил противником Ленина. Он обвинил Ленина в стремлении создать замкнутую группу заговорщиков, подменяющую широкую партию рабочего класса. Возбужденный ленинским бессердечием по отношению к ветеранам "Искры", он обрушился на Ленина с исключительной враждебностью, избрав предлогом те, казалось бы, чисто теоретические вопросы, которые были подняты в дискуссии о членстве в партии. Он не смягчился даже тогда, когда Ленин попытался убедить его, ограничившись лишь сдержанной критикой его юношеской неопытности, — на этом накаленном съезде такой мягкий упрек был верхом умеренности.

Учредительный съезд кончился тем, что учредил вместо одной партии две различные и, в целом, враждебные фракции, в сущности — две различные партии. В самый момент зачатия РСДРП разделилась на двух близнецов.

По окончании учредительного съезда Троцкий неожиданно углубился в еврейские дела. Судя по всему, рационалистический подход к еврейскому вопросу, которого требовал от него исповедуемый им марксизм, никак не выражал его подлинных чувств. Кажется даже, что он был по-своему одержим этим вопросом; он писал о нем чуть ли не больше, чем любой другой революционер. К примеру, его описание погрома, опубликованное именно в это время, проникнуто трагической патетикой, в которой явственно ощущается что-то глубоко личное. В негодовании, которое у другого автора могло бы показаться просто проявлением нейтральной гуманности, здесь ощущается какая-то специфически еврейская нота. Враждебность, которую Троцкий проявлял к сионизму, видимо, также проистекала из глубоко скрытого интереса к нему. По некоторым сведениям, прямо с учредительного съезда он направился на съезд совершенно иного рода — знаменитый Сионистский конгресс, происходивший летом 1903 года в Базеле. Здесь он оказался свидетелем ожесточенных дискуссий, которые вспыхнули среди сионистов в связи с так называемым Угандским проектом*. Он написал для "Искры" статью, бешено атакующую сионизм. Статья была выдержана в хлестком тоне, характерном для марксистской среды: считая сионизм окончательно взорванным спорами из-за Уганды, Троцкий клеймил

* Предложение Герцля создать еврейский национальный очаг не в Палестине, а в Уганде. (Прим. перев.)

как самого Теодора Герцля, основоположника политического сионизма, именуюя его "бесстыдным авантюристом", так и его оппонентов, "романтиков Сиона", высмеивая их "истерические вопли".

И все же интерес к еврейским делам, при всей его глубине, оставался на периферии главных интересов Троцкого. Его политическая траектория не выходила за пределы революционного движения. В августе 1904 года, через несколько месяцев после своего выхода из "Искры" (состоявшегося в апреле), он продолжил свою атаку на Ленина, как дезорганизатора партии, начатую еще на съезде. На этот раз он систематизировал все свои обвинения в серьезной брошюре, содержавшей сто страниц убогистого текста и посвященной "дорогому учителю" Аксельроду. Брошюра называлась "Наши политические задачи".

Изобличив Ленина в предпочтении такого вида партии, которая будет представлять не рабочий класс, а революционную интеллигенцию, Троцкий вслед за тем высмеял представление о том, будто такая интеллигенция способна повести нерешительный и незрелый рабочий класс к революции. Такое представление, по его мнению, базировалось в конечном счете на идее некой "ортодоксальной теократии", играющей роль партии и "подменяющей собой рабочие массы", независимо от любых действий и даже настроений этих масс.

Вот каковы, по Троцкому, основные последствия этой "подмены":

"Методы Ленина ведут к следующему: сначала партийная организация (группа) подменяет собой партию как целое; затем Центральный комитет подменяет собой партийную организацию, и наконец единоличный "диктатор" подменяет собой Центральный комитет".

Несколькими годами позже, в 1912 году, Троцкий выразил свои понимания природы большевизма в еще более отточенной форме. В пространной статье, написанной для известной русской либеральной газеты "Киевская мысль", он, с характерным для него стремлением подвести широкий исторический фон под свои обобщения, проследил процесс такой подмены на протяжении всей русской истории, или точнее — истории всех попыток русской интеллигенции возглавить различные политические движения, при которых те или иные интеллектуалы выражали взгляды и идеи других слоев. Так, аристократы-декабристы в 1825 году

выражали идеи среднего сословия, хотя оно еще и не существовало тогда в России; народники представляли инертное крестьянство, а теперь вот марксистская интеллигенция стремится сама себя произвести в выразители интересов рабочего класса, который еще не способен выступать самостоятельно.

Подводя итоги своим резким и одновременно точным обобщениям, он обвинял всех этих интеллектуалов в пренебрежении интересами реальных классов ради служения, в сущности, не более чем Идеи класса — Идеи, оправдывающей, разумеется, их стремление к главенству. (Много позже Троцкий отказался от всех этих рассуждений; к 1917 году он фактически сделал полный "поворот кругом".)

Вплоть до 1917 года Троцкий оставался почти что "одиноким волком". Бешеные нападки на Ленина, естественно, заставляли ленинское окружение рассматривать Троцкого как особенно опасную разновидность меньшевика. С другой стороны, среди меньшевиков он тоже был белой вороной: его волюнтаризм, его молодость, его трудный характер мешали ему почувствовать себя среди своих и в меньшевистской фракции.

Изгнанный из "Искры" и почти что изгнанный из обеих фракций партии, Троцкий покинул Женеву и направился в Мюнхен. Здесь он поселился в доме одного из самых необычных деятелей тогдашнего революционного движения — Александра Израилевича Гельфанда. Несколько позднее туда же приехала и Наталья.

Гельфанд был более известен под своим псевдонимом Парвус. Он происходил из не очень обеспеченной еврейской семьи, проживавшей в Минской губернии, где евреи тогда составляли почти половину населения. Как и Троцкий, он вырос в Одессе. Образование свое он сумел завершить в Швейцарии.

Парвус весьма авторитетно писал на самые разные темы, включая вопросы экономики и техники, и завоевал положение постоянного автора ведущего социалистического журнала Европы "Нойе цайт", редактируемого Карлом Каутским. В то время Парвусу было 37 лет, на 12 больше, чем Троцкому. Вскоре они подружились.

- Троцкий высоко ценил ум Гельфанда. Он считал его "не только самым выдающимся марксистом начала века", но также "замечательным публицистом, отличающимся бесстрашием ума и живым, энергичным стилем". С другой стороны, "в нем всегда была какая-то сумасшедшинка и чертовщина. Вдобавок к другим своим

страстям, этот революционер был одержим поразительным стремлением во что бы то ни стало разбогатеть... Мысли о Революции постоянно переплетались в этой тяжелой, мясистой, бульдожьей голове с мечтами о богатстве”.

Гельфанд действительно сделал уникальную карьеру. Он стал единственным настоящим марксистом-мультимиллионером.

Хоть в то время он был всего лишь журналистом, его особое положение в немецком социалистическом движении способствовало его высокому авторитету среди русских марксистов. Он издавал и собственный журнальчик (“Аус дер вельтполитик”) и снискал уважение одним своим марксистским предсказанием, которое вскоре оправдалось: еще в 1895 году он начал предсказывать скорую войну между Россией и Японией и последующую революцию в России. И то, и другое произошло через десять лет.

Но особенно важен был вклад Гельфанда в марксистскую политику: в соавторстве с Троцким (трудно сказать, кто кому был больше обязан) он создал теорию перманентной революции, которой суждено было сыграть определенную роль в большевистской стратегии.

Вплоть до событий 1917 года эта теория не играла существенной роли. Затем, однако, Ленин взял на вооружение один из ее вариантов.

Но в то время, в 1904 году, когда Троцкий совместно с Гельфандом разрабатывал свою теорию перманентной революции, Ленин яростно напал на него. Впрочем, Ленин всегда нападал яростно.

Но как бы там ни было эти партийные дразги все более заслонялись фактом первостепенного значения — бурными событиями в России.

9 января 1905 года огромная демонстрация под руководством священника Гапона направилась к Зимнему дворцу царя в Петербурге. Демонстрация была совершенно мирной. Демонстранты несли иконы, хоругви и портреты царя. Они намеревались вручить царю довольно умеренную петицию, взывавшую о помощи.

Войска, охранявшие Зимний дворец, получили приказание стрелять по демонстрантам. Мирная процессия превратилась в кровавое гобойще, тотчас получившее название Кровавого воскресенья.

События разворачивались стремительно. Эмигранты заворужено следили, как история сливается с их собственными мечтами.

Более молодой и пылкий, Троцкий решил броситься в неизвестное. У него не было никаких организационных связей и никакого плана. В самой попытке возвращения в Россию таился немалый риск. Его могли арестовать как беглого ссыльного. Его могли даже приговорить к каторжным работам.

В Киеве он встретился с одним из самых выдающихся членов крохотной большевистской верхушки Леонидом Красиным.

Весной вместе с Красиным он отправился в Петербург. Он намного опередил других эмигрантов. Те все еще не имели четкого представления о том, что происходит в России, и продолжали обсуждать положение, оставаясь в Европе. Таким образом, Троцкий с самого начала вырвался вперед.

Но и в Петербурге не было возможностей для конкретных действий. Троцкому пришлось бежать в Финляндию, в успокоительную обстановку "холмов, озер, сосен, чистого осеннего воздуха и отдохновения".

В середине октября все это разом кончилось. Из Петербурга пришло сообщение о всеобщей забастовке. "Шуршание газетного листа в тишине гостиницы показалось мне грохотом обрушившейся лавины... Революция была в разгаре".

Троцкий помчался обратно в Петербург. Уже на следующий вечер он впервые выступил перед подлинно широкой аудиторией на импровизированном массовом митинге.

Забастовки положили начало организации, которая приобрела всемирную известность под названием "Совета рабочих депутатов".

18 октября Троцкий шагал вместе с большой шумной толпой по направлению к Технологическому институту. Демонстрантов сопровождали конные жандармы, однако никаких инцидентов не произошло. Лишь изредка жандармы теснили людей лошадьми. Молодые рабочие срывали бело-красно-голубые царские знамена с окон домов и вешали вместо них самодельные красные флаги. Когда полиция и жандармы преградили толпе путь к Технологическому институту, она двинулась к Петербургскому университету, обычному месту массовых митингов. В университетском дворе демонстрация слилась с митингующими толпами.

Накануне Троцкий впервые появился в Совете. Он заявил, что представляет меньшевиков. Он назвался Яновским — по имени деревни, которую когда-то купил его отец. Кое-кто из присутствовавших знал, что это тот самый Троцкий, который писал для

“Правды”. Его избрали в Совет.

В конце октября в Петербург прибыл Гельфанд, возбужденный происходившими событиями. Он тоже был избран в члены Совета. Троцкий и Гельфанд немедленно заняли исключительное положение. Ленин и Мартов прибыли в Россию только в ноябре, после общей политической амнистии, провозглашенной царем 30 октября. К тому времени, когда они прибыли, Троцкий и Гельфанд уже представляли собой весьма влиятельный тандем.

Все недолгое время существования Совета — оно продолжалось 50 дней — Троцкий проявлял невероятную активность. В начале ноября он и Гельфанд завладели маленькой, прежде не приметной либеральной “Русской газетой” и превратили ее в пользующееся шумным успехом массовое издание. Это несомненно была первая популярная социалистическая газета в России. Кроме того, Троцкий писал в газету, издававшуюся самим Советом, — “Известия”. Она отличалась примитивным, рассчитанным на массы языком и появлялась от случая к случаю. Позже он стал писать еще и для большой ежедневной меньшевистской газеты “Начало”.

Совет был совершенно бессилён. Несмотря на поддержку большевиков, меньшевиков и социал-революционеров (эсеров), он был мертворожденным детищем революции. Его непреклонные требования, предъявляемые от имени огромного числа рабочих столицы, оставались требованиями, предъявляемыми к властям. Он был лишен возможности воплотить их в жизнь. Деятельность Совета свелась фактически к одной агитации. Но для Троцкого именно этот вид деятельности был самым важным.

Совет не только призвал к вооруженному восстанию, идею которого защищал Троцкий, но и опубликовал так называемый Финансовый манифест, составленный Гельфандом и пространно осуждавший все действия администрации. Манифест призывал народ не пользоваться государственными банкнотами, не платить налогов, забирать свои деньги из банков и так далее.

Как Финансовый манифест, так и призыв к вооруженному восстанию были явно выше возможностей Совета. По сути, они отражали тот факт, что Совет, по самой своей природе, вообще ничего не может осуществить. Все это были очевидные суррогаты реальных действий. Троцкий жонглировал словами — или, быть может, идеями.

Но правительство наконец решило вмешаться. 3 декабря полиция обрушилась на Совет. Известие о готовящемся налете посту-

пило в тот момент, когда шло заседание Исполкома под председательством Троцкого. Исполком принял решение продолжать заседание как ни в чем не бывало, но не оказывать сопротивления. Полицейских сопровождали гвардейцы, жандармы и казаки.

Отряд полицейских и солдат занял наружные коридоры. Офицер вошел в комнату Исполкома, прервав на полуслове очередного оратора. Обратившись к Исполкому, он начал зачитывать приказ об аресте.

Троцкий резко оборвал его: "Не мешайте докладчику. Если вы хотите выступить, сообщите мне свою фамилию. Я запрошу собравшихся, хотят ли они вас слушать".

Сбитый с толку офицер замолчал. Когда оратор кончил свою речь Троцкий обратился к Исполкому с вопросом, следует ли разрешить офицеру выступить с заявлением "для информации". Затем офицеру было разрешено зачитать приказ. Троцкий заявил, что Исполком принимает приказ к сведению и переходит к очередным делам. На трибуну поднялся следующий оратор.

В конце концов на подмогу полиции прибыл большой отряд. Троцкий торжественно произнес: "Заседание Исполкома объявляю закрытым".

С этой минуты первый Совет стал достоянием истории и, что еще важнее, — мифологии.

Фонд "Москва-Иерусалим"

выпускает во втором квартале 1979 года книгу Джозеля Кармайка

"ТРОЦКИЙ"

Впервые на русском языке — увлекательная биография одного из вождей большевистской революции. Автор подробно рассказывает о внутрипартийных и межпартийных до- и послереволюционных интригах и борьбе, восстанавливает подлинную картину Октябрьских событий и прихода Сталина к власти, воссоздает зловещие заседания Политбюро и съездов, прослеживает почти детективный сюжет террористических "чисток" и политических убийств. На этом широком фоне ярко вырисовывается противоречивая фигура честолюбивого еврейского подростка, ставшего великим трибуном, гениального организатора и беспомощного политика, поразительного провидца и одинокого человека — Льва Троцкого.

Предварительная цена книги в розничной продаже — 200 лир (12 долларов); цена при предварительном заказе — 160 лир (10 долларов). Предварительные заказы и чеки на имя Фонда "Москва-Иерусалим" присылать по адресу: Фонд "Москва-Иерусалим", п/я 7045, Рамат-Ган (Foundation "Moscow-Jerusalem", P.O.B. 7045, Ramat-Gan, Israel).

Иосиф Якерсон

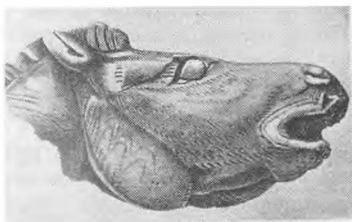
ХУДОЖНИК ОБ ИСКУССТВЕ

История искусства XX века — история его углубляющегося разрыва с прошлым. В век торжествующего модерна нужна большая смелость, чтобы заявить себя последовательным сторонником классического искусства. Но когда все вокруг "новаторы", может быть, подлинный новатор — как раз "реакционер"? Во всяком случае, "вызов" и "провокация", отчетливо ощутимые в статье художника Иосифа Якерсона, кажутся нам продиктованными глубокой тревогой за судьбы искусства и приглашающими к серьезному разговору.

Искусство погибает или уже погибло. Эта мысль сегодня уже кажется тривиальностью. Действительно, упадок мастерства, отсутствие критериев оценки, низкий уровень профессионального обучения, исчезновение национальных школ — все создает впечатление крушения, катастрофы.

Однако впервые ли возникает подобная ситуация? Для ответа надо было бы иметь хотя бы приблизительную схему развития искусства. Но построить такую схему трудно, если вообще возможно. Ее нельзя вычленировать из хронологической последовательности событий, поскольку различные народы и целые расы переживают сходные периоды развития в разные эпохи. Не удастся построить подобную схему и на социологической основе. Связать то или иное государственное устройство с расцветом или упадком искусства почти невозможно. Вульгарное умозрительное представление, будто при более свободных режимах искусство расцветает "пышным цветом", не соответствует действительности. Великая французская революция, например, в смысле искусства дала, пожалуй, только знаменитую "Марсельезу" (Правда, и в науке французские революционеры достигли немногого: изобрели гильотину и отрубили с ее помощью голову великому Лавуазье).

Напротив, строгие рамки, налагаемые на искусство деспотической властью или церковью,



Голова лошади из пещеры Мас д'Азиль (верхний палеолит, "Эпоха Мадлен")

концентрировали волю и талант артиста, не позволяли ему уклоняться от освященной веками традиции, скатываться к субъективизму и произволу. И самостоятельность художника возникла именно в борьбе с этими ограничивающими ее рамками, тогда как в их отсутствии она превращалась в свою противоположность — бессильное эпигонство. Шедевры Древнего Египта, Ассирии, Вавилонии, гениальная архитектура, скульптура и монументальная живопись Индии, Индонезии, Бирмы, вселенственное искусство доколумбовой Америки или "отсталой" Византийской империи неопровержимо доказывают эту истину. Пожалуй, только Древняя Греция может считаться исключением из правила; но, может быть, мы просто переоцениваем "демократизм" рабовладельческой Греции; ведь греческое искусство достигло блистательных успехов именно при дворах греческих тиранов, а друг и заказчик Фидия — Перикл — обладал почти неограниченной властью.

Пытаться создать схему развития мирового искусства можно, лишь исходя из внутренних законов самого же искусства, ис-

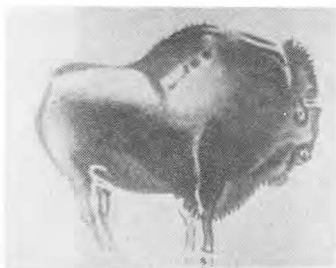
пользуя в качестве рубежей периодизации эпохи его упадка или даже полного исчезновения.

2

Как считают специалисты, искусство возникло приблизительно 40 тысяч лет назад и произошло от уже развитого к тому времени ремесла.* Связь ремесла и искусства является залогом нормального развития искусства и теряется только в эпохи кризисов. Насколько можно судить, подобный кризис искусство переживало, по крайней мере, уже дважды. Первый раз это произошло в конце неолита, когда полное удивительной силы и красоты "пещерное" творчество первобытных охотников (см. илл.) выродилось в безжизненное, схематическое искусство скотоводческих и земледельческих племен бронзового и железного веков.

Выразительные скульптуры и рельефы палеолита — голова лошади из пещеры Мас д'Азиль (так называемая эпоха Мадлен), многочисленные женские статуэтки ("пещерные Венеры") из Лос-

** Это подтверждается, кроме всего прочего, корневым родством слов, которые в различных языках обозначают понятия: художник — и ремесленник, искусство — и умение, ремесло. Так, в английском языке *арт* — это искусство, ремесло, умение, знание; *артфул* — ловкий, хитрый. Во французском: *арт* — искусство, *артизан* — ремесленник. В иврите: *художник*, *мастер своего дела* — *аман*; *ремесленник*, *специалист* — *уман*.*



Бизон (Альтамира)

селя, Виллендорфа, Гагарино, рисунки на камне (Лимейль) или резьба по кости (Лортэ) — сменяются абстрактными неолитическими "каменными бабами", заполнившими огромные пространства Европы, Сибири, Индии, Средней Азии, или так называемыми "мегалитами" (дольмены, менгиры, кромлехи), а восхищающие совершенством палеолитические живописные изображения Альтамиры, Фон де Гома и т. д. трансформируются в орнамент, условные магические знаки и наконец в пиктографию — эту предшественницу письма.

На переходе к неолиту человек впервые разучивается видеть и передавать реальный мир (см. илл.). Руку первобытного охотника, по необходимости решительную, точную и быструю, сменяет рука земледельца, не спеша выводящая абстрактные линии. Почти 4000 лет длился этот первый в истории кризис изобразительного искусства! И лишь пройдя через этот огромный период безмолвия, искусство снова начало возвращаться к жизни.

В древнейших государствах архитектура, скульптура и живопись снова достигли вершин

совершенства, запечатленного такими шедеврами, как бюст царевича Анхафа, портрет заднего Химиума, деревянная статуя царевича Каапера (прославленный "Сельский староста"); знаменитые пирамиды, храмы и сфинксы Древнего Египта; статуи Гудеа или царицы Элама Папир-Асу (Междуречье); индийские храмы и дворцы в Паталипутре, Канхери, Карли, Насике; Парфенон, скульптуры Фидия, Поликлета, Мирона (Древняя Греция)! Но и это искусство, пройдя предначертанный ему путь (протяженностью 4,5—5 тыс. лет) от предельной простоты, естественности, жизненной убедительности через все возрастающую пышность и внешнюю красоту к вычурности и упадку, исчерпало себя и к началу нашей эры исчезло совершенно. Видимо, наша вера в безграничность творческих возможностей человечества необоснована, раз искусство, дойдя до определенной вершины, отказывается искать вершины еще более высокие, поворачивает назад, самоуничтожается.

Первый кризис изобразительного искусства совпадает с переходом к оседлому образу жизни и изобретением письменности.



"Олени" (Палеолитическая роспись". Сибирь. Первичный натурализм первобытного общества. Справа в углу "творчество" неолитического "модерниста")

Второй наступает с крахом прежнего мировоззрения, морали, эстетики. Он происходит на фоне великого брожения умов, вызвавшего почти одновременное (разница в 200–250 лет исторически ничтожна) возникновение новых философских и религиозных систем (древнегреческие материализм и идеализм, индийский буддизм, китайские конфуцианство и даосизм и наконец христианство), огромные миграции и переселения целых народов, чудовищные по масштабам захватнические войны. Искусство снова впадает в какое-то косноязычие, человечество вторично, если можно так выразиться, слепнет и хлехнет. В Европе уже в III веке н. э. понятие композиции сменяется обязательной симметрией, утрачивается чувство пропорции и гармонии красок, а в V веке совершенно исчезает круглая скульптура. Только к XII–XIII векам начинается новое возрождение профессионального искусства.

Итак, второй кризис в искусстве длился примерно 1000 лет.* Столько потребовалось человечеству, чтобы снова обрести желание заниматься искусством и почувствовать в себе необходимые для этого силы! Быть может,



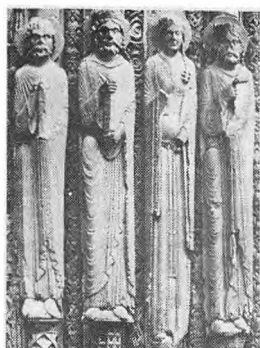
“Бегающий конь” (Китай, УП в.) Этот рельеф, кажется, мог бы вполне выйти из мастерской Фидия!



Будда Мироку (Япония, УП в. н. э., Период Нара)

такие провалы и необходимы с какой-то высшей точки зрения: — нужно отказаться от застоявшихся шаблонов, давления авторитетов, от мертвящей рутины, стать детски наивным (“дики-м”), чтобы на пустом (или, по крайней мере, основательно

* Эта цифра справедлива, в общем, лишь для Европы и стран Средиземноморского бассейна. В Индии, Китае, Средней Азии великое профессиональное искусство существовало вплоть до XIII – XIV веков. Замечательные памятники Кушанского и Согдийского царств, портретные скульптура Хорезма (например, из дворца Топрак-Кала), глиняная пластика, не уступающая самым высоким достижениям греческой классики (см. илл.), — вот результат пресловутой восточной, азиатской “медлительности”. Медлительность (необходимая всякому истинно глубокому искусству, ибо для достижения глубины потребно время), задерживая развитие искусства, задерживает и наступление кризиса его.



Фигуры восточного портала собора в Шартре (Франция, XII в. н. э.)

опустошенном) месте начать все с начала. Но для тех, кто, хотя бы подсознательно, сохранил воспоминание об ушедшей эпохе, жить во времена такой "паучьей глухоты" — большая трагедия.

3

При рассмотрении этих трех, разделенных тотальными кризисами, эпох искусства — первобытной, древней и "новой", — бросается в глаза сходство их эволюции. Каждая из них проходит три обязательных этапа, которые можно обозначить как первичный (или начальный) натурализм, реализм и модерн. Конечно, эти наименования условны и выражают лишь то, что резко отличает один этап от другого. Им нельзя приписывать современный смысл, в котором употребляются эти понятия. Кроме того, сами эти этапы сменяют друг друга постепенно, и потому между ними возникает множество переходных форм, сочетающих черты

натурализма и реализма (как в Амарнском искусстве Древнего Египта), реализма и модерна (Пергамская школа скульптуры Древней Греции; скифский "звериный стиль" в первобытном искусстве) или модерна и натурализма (скульптуры Арльского или Шартрского соборов с их абстрактными, уподобленными канеллированным колоннам, фигурами и живыми портретными головами (см. илл.).

С приближением к нашему времени темп, в котором этапы сменяют друг друга, значительно убыстрается. Первичный натурализм первобытной эпохи длился десятки тысяч лет; первичный натурализм древнего мира — приблизительно 2000 лет, а первичный натурализм нашего времени (европейский Ренессанс) — всего лишь немногим более 200 лет. Последовательно сокращаются и периоды упадка: провал между первобытным искусством и искусством древнего мира длился 4000 лет, тогда как аналогичный провал между искусством древнего мира и нового времени "только" (!) 1000 лет. Эти цифровые соображения вселяют в нас некую "надежду" — впрочем, скорее "академического" свойства.

Повинуясь некоему странному закону, сумерки великих художественных эпох, как правило, озаряются (словно, чтобы отчетливее выявить безотрадность общей картины) деятельностью немногих замечательных мастеров, творчество которых как бы противостоит общему упадку. Так, в Египте в VII веке до н. э., когда основная масса скульпторов уже занималась изготов-

лением приглашенных поделок, возникли такие шедевры, как портрет жреца (из зеленого базальта) или гениальное изваяние правителя Фив Монтуэмхета, а в Ассирии в то же время были созданы рельефы дворца Ассурбанипала (и среди них знаменитая "Умирающая львица"). Когда в конце XVIII – начале XIX веков стало клониться к закату европейское искусство, в Испании появился Гойя, во Франции – Ватто, в Японии – Хокусай, в России – А. Иванов. (Странно, что сами русские до сих пор не оценили этого величайшего гения живописи и отводят ему место где-то недалеко от академиста и эпигона Брюллова. В Европе же А. Иванов вообще не известен.)

4

Основополагающей чертой первого этапа эволюции искусства является полная слитность искусства и ремесла. Художник не выделяется из среды ремесленников: скульптор и каменщик, столяр и резчик по дереву, живописец и вышивальщик – все они сообща создают великое и анонимное искусство первичного натурализма.* На этом этапе твердо установившиеся требования и критерии практически не изменяются в продолжении веков, и художник не должен заботиться о моде; его не волнует вопрос времени, он "просто" старается как можно лучше исполнить свою задачу, которая мыслится им как часть общей работы. Он ощущает себя членом одного громадного коллектива, где каждый в меру своих сил

участвует в общем деле, и то, чего он лично не сможет или не успеет свершить, довершат единомышленники (а во времена натурализма все художники – единомышленники!) Это бесспорный факт – чем иным объяснить удивительную цельность возводимых иногда по нескольку столетий готических соборов Европы, пещерных храмов Индии или росписей комплекса пещерных храмов Дуньхуана (Китай), которые создавались на протяжении целого тысячелетия!

"Есть эпохи, подобные готическим соборам, где каждый подобен кирпичику одного здания... в то время как мы изолируемся и надсаживаемся, чтобы произвести что-нибудь стильное" (Ван Гог).

Второй важнейшей особенностью первичного натурализма является анонимность творчества. Парадоксально, но появление отдельных знаменитых имен свидетельствует о надвигающемся общем упадке искусства, – еще Ван Эйк не подписывал свои картины.

Для первичного натурализма характерна статичность, отсутствие массовых сцен, "бесстрастность изображения" – достаточно сравнить поразительное спокойствие сцен борьбы лапифов с кентаврами на метопах Парфено-

** Из средневековых европейских документов известно, что резчик по камню и скульптор получали одинаковую плату. Создатели же великих китайских пещерных храмов, например, вообще считались не деятелями искусства, а служителями культа.*



"Тигантомахия" (Пергам, II в. до н. э.)

на с бурным, буквально кричащим Пергамским фризом, созданным на переходе от реализма к модерну (см. илл.). В архитектуре первичный натурализм породил в разное время и в разных странах монументальную форму пирамиды, это "высшее выражение количественного стиля" (Гаузенштейн). Таковы пирамиды Древнего Египта и Месопотамии (4 тыс. лет до н. э.), пирамидальные храмы Бирмы или Индонезии (знаменитый Борободур и другие сооружения типа "храм — гора"), пирамиды древней Мексики, предположительно возникшие на несколько тысяч лет позже египетских и ассирийских (в XIII — IX веках н. э.), но так же, как их "старшие братья", принадлежащие к тому же типу искусства (пример несостоятельности временных параллелей). Археологи утверждают, что и в Китае, этом самом косном, самом "восточном" и неподвижном, по общему мнению, государственном образовании, в IX веке до н. э. возводились огромные, до 100 м высотой сооружения, напоминающие

ассирийские зиккураты (ступенчатые пирамиды). Это лишний раз подтверждает мысль, что искусство всюду развивается по собственным аналогичным законам. Кстати, и древнекитайские пагоды, и европейские соборы, крыша которых в эпоху классической готики имела пирамидальную форму, тоже тяготеют по своему общему силуэту к пирамиде. Монументальны и сравнительно небольшие по размерам древнегреческие храмы и индонезийские "чанди", огромные изваяния фараонов и маленькие погребальные статуетки (например, такой шедевр, как "Женщина, готовящая пиво" — 3000 лет до н. э.). Следует подчеркнуть, что монументальность в искусстве отнюдь не определяется масштабами произведения. Монументальность есть некое нерасчленимое единство и взаимопроникновение всех компонентов художественного произведения (см. илл.). Она достижима только в цельные художественные эпохи и не может появиться по желанию того или иного художника, скульптора, архитектора. В эпоху первичного натурализма искусство — все искусство — монументально.



Борьба лапифа с кентавром (школа Фидия, V в. до н. э.)



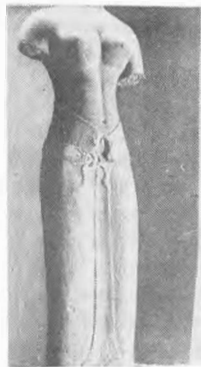
Статуя царицы Элама Папир-Асу (Междуречье, XIII в. до н. э.)

5

В эпоху реализма искусство отделяется от ремесла, художник — от ремесленной среды. Но реализм не только отделяет искусство и людей искусства от жизни; он и само искусство резко расчленяет на отдельные виды, например, живопись — по принципу назначения: на станковую, декоративную, театральную, прикладную и т. д.; по сюжету: на историческую, религиозную, жанровую, батальную, портретную, анималистскую, пейзажную, натюрмортную. Реализм выделяет графику в самостоятельный вид творчества, который в свою очередь подразделяется на графику станковую, книжную, промышленную, прикладную. (Кажется, Микеланджело первый в европейском искусстве стал изготовлять рисунки специально на продажу, ранее они являлись лишь учебными пособиями.) Безусловно, недрах натурализма иску-

подразделялось на виды и жанры, но там деление было не столь резко, категорично, да и сами художники не ограничивали себя какой-либо узкой областью. Прикладная ли живопись изумительные росписи саркофагов Древнего и Среднего Царств? Миниатюра ли крошечные по размеру, но удивительно монументальные по существу погребальные древнеегипетские статуэтки (ушебти)? К какому жанру отнести рисунки на древнегреческих вазах, которым пытались подражать прославленные художники-индивидуалисты нашего времени Матисс, Пикассо, Брак?

Портретист ли Тициан? А может быть, он исторический, религиозный, мифологический живописец? Станковист он или монументалист? И то, и другое, и третье. Но его с полным правом можно назвать и пейзажистом (столетие, прожитое великим мастером, было ознаменовано переходом итальянского искусства от натурализма к реализму) — стоит только вспомнить пейзажные фоны его картин, от которых через Веронезе. Ват-



Женская скульптура (Камбоджа, XI в. н. э.)



Царица Нефертити (Египет, XI в. до н. э.)

то, Гойю произошла вся европейская ландшафтная живопись XIX века до Коро, барбизонцев и импрессионистов (Кстати, Энгр говорил, что если бы художники жили по 100 лет, то к старости они предпочли бы всему графику Тициана!)

Реализм расчленил и сам процесс художественного творчества. Теперь различаются (а часто и противопоставляются): замысел и исполнение, цель и средство, форма и содержание, сюжет и предварительное изучение. Предварительное изучение становится необходимым этапом в работе художника над своим произведением, так как этого требует необычайное разнообразие тем и сюжетов, действующих лиц и мест действия. Реализм (а в особенности, позднее — модерн) буквально захлестывает волна еле намеченных "нашлепков" и "почеркушек" (профессиональное выражение). Вся эта "кухня" была абсолютно не нужна художнику эпохи первичного натурализма: древние египтяне, например, верили,

что изображение столь же реально, как и его объект, и все свои усилия направляли на точность изображения; они знали, что точное подобие тела, этогоместилища души, понадобится умершему в загробной жизни, когда прах его уже распадется. Похожие "до беспощадности" древнеегипетские портреты (а на этапе натурализма все изображения всегда портреты — см. илл. — от станковой скульптуры до гигантских изваяний, таких, как сфинкс фараона Хефрена, один нос которого равняется 1 м 70 см!) доказывают, что проблемы формы и содержания не существовало для египетских мастеров, как не существовало для них и самих этих понятий. Конкретное, единственное в своем роде тело и конкретная, уникальная человеческая личность, которая никогда не возродится вновь, сосуд и вино, форма и содержание — суть одно, или иначе: в искусстве нет никакого иного содержания, кроме формы!

Эта полная и естественная слитность содержания и формы в произведениях первичного натурализма и является причиной их великой эстетической ценнос-



Принц из чанди Севу (Индонезия, IX в. н. э.)

ти. В эпоху реализма ей на смену приходит обязательная идеализация, так называемое "обобщение". Такая идеализация, желание "подправить" и "подкрасить" природу, недоверие к ней, вызываются сомнением в том, что внешняя форма есть точный слепок некоей "Высшей Идеи". Неверие это, подтачивая изнутри искусство первичного натурализма, в конце концов и губит его.

Реализм подводит под искусство научную базу. Изучение пластической анатомии, перспективы, истории искусства становится обязательным для человека, решившего посвятить себя художественной деятельности. Распространенное мнение, будто создатели великих шедевров натурализма Поликлет, Фидий, Микеланджело были знатоками анатомии, ныне надежно опровергнуто. Первая известная нам школа пластической анатомии была создана лишь в III веке до н. э., причем не в метрополии (материковой Греции), а в Александрии, что тоже весьма знаменательно — на конечных стадиях реализма центры культуры и искусства перемещаются на периферию, и она быстро обгоняет старые, то есть обладающие стойкими традициями, страны, начиная поставлять им "новейшие", так называемые "прогрессивные", идеи, которые с жадностью подхватываются там, как некое откровение. Как в свое время Греция (к III—II векам до н. э.), так в конце XVI века Италия уступила главенствующее положение в Европе сначала Германии и Голландии, а затем Франции.

Ни Джотто, ни Мартини, ни Арнольфо ди Камбио, ни Джованни или Никколо Пизано не знали пластической анатомии, но уже о Полайоло и Синьорелли известно, что они проводили целые дни в мертвецких, препарируя трупы; великими знатоками анатомии были Леонардо и Микеланджело (но не Донателло!). Эта растущая роль анатомии на этапе реализма объясняется начинающимся отрывом от жизни, от действительности. Мучительно ощущая этот отрыв, художник стремится заменить исчезнувшее чувство единства с миром специальным, предварительным, "кабинетным" его изучением, которое придает оттенок нарочитости даже самым выдающимся произведениям реализма. Если сравнить, например, изумительные, дышащие мощной жизнью торсы Диониса и Кефиса (с фронтона Парфенона) или "Дискобола" с произведениями Микеланджело, превосходство первых над последними становится совершенно очевидным. Прозванный современниками "божественным", Микеланджело и сам видел себя богом, творцом своего, нового мира, — и в этом скрывалась опасность произвола, нарочитости. В его скульптурах, сконструированных с великим знанием и талантом, но все же именно сконструированных, все группы мышц тела одинаково напряжены, что совершенно невозможно в природе — отсюда судорожность, неестественность большинства его фигур, которая у последователей великого мастера (Даниелло-да Вольтерра, Вазари и многих других) приобретает уже



Мария Магдалина (Донателло, Италия, XV в. н. э.)

характер кривляния, карикатуры. Сам Микеланджело, не чувствуя над собой ничего, что было бы выше его, не ощущая незримого присутствия какой-то высшей, недоступной человеческому пониманию Правды, не зная, к чему стремиться, чего достигать, куда идти (в этом смысле он как бы предвосхитил тип художника, который появится только спустя 200–250 лет в период модерна), с неизбежностью пришел в конце жизни к сознанию полного творческого краха, свидетельство чему — разбитая им собственноручно в порыве отчаяния последняя скульптурная группа (так называемая "Пьета Ронданини").

Художнику первичного натурализма не требовалось специального изучения жизни и природы, ибо он, художник, был в мире, и мир был в нем, художнике! Эта слитность придавала жизненную убедительность, естественность произведениям натурализма (см. илл.). Напротив,

художники эпохи реализма, а особенно — модерна (например, барбизонцы или импрессионисты) при всех своих благих намерениях и старательности достигали в лучшем случае лишь чисто внешней правдивости, но не Правды. "В их картинах присутствует погода, но нет живописи!" (Дега).

Разумеется, абсолютная Правда в искусстве недостижима вообще. Но в этой-то ее недостижимости и кроется побудительная причина всякого истинного творчества, которое есть не что иное, как тяжелое, неуклонное восхождение, путь к Правде. Однако для этого движения нужно, чтобы Правда (или Идеал, или Бог) была "вынесена" за пределы личности (в данном случае личности художника), имела бы не личностное, но абсолютное значение, поэтому всякий истинный художник по необходимости религиозен.

Выделение человека (художника) из остальной природы, восприятие природы как чего-то постороннего человеку, как фона порождает пейзаж как суве-



Статуя Басу Сэнина (Япония, XIII в. н. э.)

ренную область изобразительно-го искусства. Появление пейзажа — характерная черта реализма. В наскальных рельефах и живописи палеолита нет никакого намека на пейзаж. В пещерных росписях и процарапанных на камне "гравированных" изображениях эпохи Мадлен (пещеры Фон де Гом, Ласко, Нио и многие другие) место действия никак не обозначено. Но уже в так называемом "медном веке" мы встречаем изображения деревьев, холмов, ручьев и т. п. (сосуды Майкопского клада). Необычно редки пейзажные мотивы и в искусстве египетского Древнего Царства (первичный натурализм Древнего Мира), а вот в эпоху Среднего и Нового Царств художники проявляют уже явный интерес к пейзажу, о чем свидетельствует, например, изображение холмистой пустыни в "Сцене охоты" из гробницы номарха Сенби. Обилие изображений садов, дворцов и храмов характеризует и "период Амарны". К III—VII векам до н. э. пейзаж появляется на переднеазиатских рельефах, например, во дворцах царей Синаххериба и Ашурназирпала ("Воины, плывущие по реке", берега которой поросли деревьями разных видов). В Индии первые намеки на пейзаж возникают лишь в УП-УШ веках н.э. (например, в колоссальном рельефе "Нисхождение Ганга"). В дальнейшем, с развитием индо-мусульманской миниатюры, пейзаж занимает в индийском искусстве все более важное место. Практически не знала пейзажа и готика (первичный натурализм Нового времени); сугубый интерес к природе, удивление перед многообра-

зием геологических, растительных и прочих ее форм приходит позднее. Уже у Ван Эйка (15 в.) в центральной части "Гентского алтаря" ("Поклонение агнцу") изображены, причем совершенно точно, сотни различных видов растений и цветов — "настоящий ботанический атлас"!

Возникновение в искусстве пейзажей, интерьеров, городских видов порождает науку о перспективе. Подчинение ее законам, отнюдь не всегда совпадающим с законами искусства, "испортило" немало картин и настенных росписей. Изучением линейной перспективы увлекались итальянцы Учелло, Пьеро делла Франческа (кстати, "походя" создавший начертательную геометрию!) а несколько позднее, в XVI веке, немец Дюрер. Необычайно "настырный" в изучении всевозможных растений, насекомых, птиц, законов перспективы, анатомии человека и животных Леонардо да Винчи безусловно внес большой вклад в науку, — но не эти ли, требующие огромной затраты времени, исследования всю жизнь отвлекали его от собственно художественного творчества?! Не потому ли так мало создано им в течение его долгой и полной интенсивного труда жизни? "Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать"! (Экклесиаст 11:4).

Искусство реализма, все более расширяя сферу своей деятельности, стремится охватить все: природу, животных и растительный мир, человека во всех его ипостасях, в личной и общественной жизни, его эмоции, страдания, страсти. Неудержимо растекаясь вширь, оно неизбежно теряет в глубине вы-



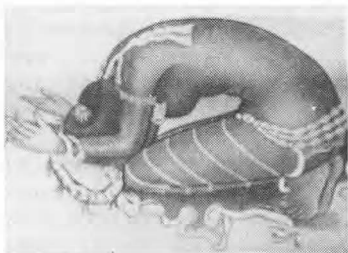
"Экстаз Св. Терезы" (скульптор П. Бернини, ХУП в. н. э.)

ражения. На завершающих этапах реализма в него проникает чувственность, эротика. В Египте, например, особенно в эпоху Нового Царства, усиливается внимание к передаче прозрачности тканей, румянца щек, деталей прически, косметики, украшений. Фигуры обнаженных девушек становятся самым популярным мотивом прикладного искусства (туалетные ложечки, ручки зеркал и сосудов для притираний — все эти предметы неукоснительно украшаются изображениями эротического свойства). Чувственность пронизывает скульптуры знаменитого Праксителя (IV век до н. э.), мрамор которого, особенно при сравнении, скажем, с произведениями Фидия или Поликлета, кажется лишенным присущей ему твердости, каким-то мягким, нежным. А у выдающегося скульптора-модерниста Родена это уже и не нежность, а "ватность" ("Ромео и Джульетта", "Вечная весна"). Понятно, что не сами по себе изображения обнаженного тела знаменуют засилье эротики — эротика коренится в особом понимании формы: обнаженные женщины Рембрандта

всегда чисты и возвышены, тогда как женщины Рубенса, даже и одетые, всегда эротичны, независимо от того, кто они — фламандские крестьянки, античные богини или католические святые. А выдающийся скульптор барокко Бернини (17-й век) умудрился на сюжет легенды о св. Терезе создать одно из самых двусмысленных, сладострастных произведений в мировом искусстве, вообще не обнажая персонажей своей знаменитой скульптурной группы (см. илл.). Что-то болезненное, может быть, даже близкое к садизму есть в этих широких, изломанных складках одежды, в запрокинутом лице Терезы с полуприкрытыми глазами и полуоткрытым ртом, в жесте ангела, страйного, слегка улыбающегося существа неизвестного пола, который хочет и не хочет коснуться стрелой груди раскинувшейся перед ним молодой женщины. Эротика пронизывает и поздние Аджантские росписи, и росписи цейлонского храма Сигирии, во многом подражающие Аджанте (служанки, музыкантши, небесные танцовщицы, любовные сцены и пр.). Свойственная реализму эротичность в дальнейшем, с переходом к модерну, сменяется полнейшей разнузданностью и прямой похабщиной.



ири. "Сатир и нимфы". Школа Фонтенбло (Франция, ХУП в.)



Склонившаяся девушка (Индия, Аджанта)

Еще одной отличительной чертой реализма является отделение теории от практики искусства — возникает искусствоведение как специальность. Трактаты по технике и технологии живописи, скульптуры и пр. (Феофила, Ченино Ченини и др.), созданные художниками в эпоху натурализма для профессионального обучения, отнюдь не являлись искусствоведческими сочинениями. Искусствоведение — паразит на теле искусства, предвестник скорого наступления модерна. Когда в I веке до н. э. высочайшие достижения греческого зодчества уже сделались достоянием истории, появились десять книг Витрувия "Об архитектуре", "обобщающие накопленный опыт", а по существу — превращающие живое искусство греческой классики в мертвую догму; когда, начиная с XII века н. э., китайское реалистическое искусство стало все яростнее терять присущую ему ранее выразительность и мощь, постепенно превращаясь в жеманную, условную "китайщину", появилось множество теоретических работ, трактующих проблемы изобразительного искусства; когда итальянский Ренессанс исчерпал себя (XVI век) и сменился маньеризмом Бронзино, Понтормо и других, появились первые искусствоведческие сочинения Вазари; и чем

далее, чем ближе к модерну, тем позиции искусствоведов упрочивались, а художников-практиков ослаблялись, пока наконец "научное" искусствоведение и дилетантские рассуждения по поводу искусства не оттеснили самое искусство на задний план и не забили его окончательно.

Реализм начинается с гибели монументального искусства. Первой гибнет архитектура, которая вообще первой чувствует дыхание надвигающегося кризиса. За ней наступает черед монументальной скульптуры и живописи. Истинно монументальное (но не декоративное), образное (но не символическое), натуралистическое (но не иллюзионистское) искусство возможно только в эпоху первичного натурализма. Росписи (даже самых выдающихся мастеров реализма — Тинторетто, Веронезе, Корреджо), — это, строго говоря, все же лишь огромные настенные картины, в то время как египетские росписи и барельефы, византийские мозаики (Равенна), живопись ранних храмов Аджанты, древнерусские фрески (до XII века), произведения Чимабуэ, Джотто и других художников проторенессанса — всегда истинно монументальны. Укоренившееся мнение, будто бы каноны (египетский, ассирийский, византийский) отрицательно сказывались на качестве монументальной живописи, совершенно абсурдно. Не вопреки этим канонам, а благодаря им монументальное искусство первичного натурализма создало величайшие произведения, недостижимые образцы, потрясающие

даже нашего современника, которого, кажется, уже ничто не в силах потрясти! Четкий контур, локальные цвета, простой (большей частью одноцветный) фон, "распластывание" фигур на плоскости (например, в египетском искусстве: голова в профиль, торс в фас, ноги в профиль) — есть закрепленный в каноне итог опыта многих поколений художников, а отнюдь не результат технического неумения, как думали еще каких-нибудь 100 лет назад. Канон, традиция, преемственность в искусстве предохраняют художника от своеволия и бессодержательной игры ума. Каноны зачастую помогали художникам находить необычные композиционные и колористические решения. Краски Эль Греко, столь поражающие нас своей экстравагантностью (существует даже версия, что Греко страдал какой-то редкостной болезнью глаз), есть результат прямого влияния на него византийской иконописной системы (как известно, Эль Греко — Теотокопулос, родившийся на Крите, обучался у тамошних иконописцев и сам некоторое время работал в этой области). Картина французского художника Фуке (XVI век) "Мадонна на троне" наверняка вызвала бы восхищение фовистов и Шагала своими целиком окрашенными в синий или красный цвет ангелами, а ведь она написана в соответствии со средневековыми церковными трактатами, указывающими, что красный цвет — символ любви, а голубой — милосердия. За 4000 лет до Марка Шагала и Петрова-Водкина египетские и вавилонские художники изображали на стенах

дворцов и храмов желтых, красных, голубых людей и синих лошадей (Тель-Барсиба). Характерно и то, что только в цельные, "монолитные" (не индивидуальные) художественные эпохи получает развитие истинно монументальная техника фрески — в дальнейшем, по мере приближения к модерну, она постепенно вытесняется менее обязывающими и более примитивными способами исполнения; расписывание стен масляными красками, вошедшее в моду в Европе с XVIII века — предел деградации монументальной живописи.

Монументальное искусство на этапе реализма гибнет, зато стремление к грандиозным масштабам в архитектуре, живописи, скульптуре, скорее наоборот — усиливается! В конце концов, именно в XIX веке возведена статуя Свободы в нью-йоркском порту, величайшая по размеру скульптура в истории, а по существу, скверная настольная статуэтка.

Но даже художники выдающегося таланта (например, Роден) терпели фатальные неудачи со своими дерзкими монументальными проектами. Прославленные "Граждане Кале" держатся только на внешне эффектной силуэте, а работа над "Вратами ада" не пошла дальше весьма слабых для такого мастера эскизов. Точно так же и в искусстве неолита нарастающая схематизация шла рука об руку со все большей броскостью, "шумностью", многофигурностью, эффективностью композиции. Таковы исполненные стремительного движения сцены



Так называемый "Цукконе" (скульптура Донателло, Италия, XV в. н. э.)

охоты в Вальторте (Испания) и в ущелье Зараут-Сай (Узбекистан) или росписи Леванта (юг Испании). В Египте Среднего и Нового Царств эта тенденция проявляется в чудовищных нагромождениях колонн и статуй Луксорского и поздних храмов Карнака, в подавляющей тяжеловесности Абу-Симбела, с его огромными (сидящая фигура имеет 20 м. высоты!) роботоподобными (близость модерна!) колоссами. Конструктивно неоправданное обилие колонн и эстетически неоправданное обилие рельефов отличает храмы Персеполя (Иран VI—V века до н. э.). Индия, начиная примерно с XIII века н. э., также вступает в эпоху, если можно так выразиться, "буддийско-брахманского барокко", характерной чертой которого является изобилие украшений и всевозможных выдумок.*

* Вообще, представление о восточном искусстве, как о чем-то обязательно вычурном, цве-

тистом, декоративном — неверно. Никакой вычурности еще нет в индийском искусстве эпохи Маурьев и Шунгов (IV век до н. э.), и вплоть до VII—VIII веков индийские ступы, храмы, рельефы, круглая скульптура, изображающая людей и животных, отличаются сдержанной силой и внутренним величием. Никакой "китайщины" нет и в китайском искусстве до Сунского времени. Например, скульптурная голова архата из Майцзишаня — высокий пример натуралистической трактовки некрасивого, но выразительного лица с широким, щелевидным ртом и отвислым носом. (Этот ближайший ученик Будды — "родной брат" донателловского "Цукконе"! (см. илл.). Та порой чрезмерная утонченность, которая ошибочно почитается неотъемлемой чертой всего китайского искусства, появляется в нем лишь с VII века н. э., хотя и в Танское время китайские архитекторы еще создавали порой величественные, простые сооружения, например, три нанкинские пагоды. И только с



"Архат" из Майцзишаня (Китай, X—XIII вв. н. э.)

И здесь первой пострадала архитектура: огромный храм Сурья (солнца) в Конарке с его нелепыми 12-ю каменными колесами по бокам, и еще более громадные, крайне запутанные храмы в Рамешваре и Мадуре, населенные несметным числом странных, фантастических скульптур (южная Индия), и фриз храма Шивы с его игрой светотени и бурно жестикулирующими фигурами — все это закономерное следствие развития искусства, которое, неся в самом себе зародыш собственной гибели, проходит неизбежный путь от строгой величественности первичного натурализма через декоративность и многословность реализма к примитиву и полному исчезновению в модерне.

Европейское искусство Нового времени тоже, по-видимому, завершает свой жизненный путь. На смену величавой сдержанности Джотто, Мазаччо или Орканья пришел блистательный эклектик Рубенс с его "грудями фламандского мяса, политого киноварью" (Бальзак), и целая плеяда умелых, но пустых художников и скульпторов барокко.

Характерный факт: в XVII веке величественное здание собора Св. Петра в Риме уже чем-то не удовлетворяло современников; и тогда Бернини (возможно, для

того, чтобы смягчить мужественный, четкий силуэт, "облегчить" массу храма) пристроил с боков его полукруглую колоннаду, "украсил" во вкусе барокко! Так около 200 лет назад искусство Европы вступило в завершающий этап своего развития — модерн — и неудержимо покатилося к гибели.

(Окончание следует)

КОВЧЕГ

№ 3

Литературный журнал под редакцией Н. Бокова и А. Крона. Оформление О. Барышевой.

Львиную долю номера занимают главы из романа Эдуарда Лимонова "Это я — Эдичка". Арвид Крон в статье "Про бабочку поэтического сердца" анализирует это произведение — лучшее, что написано писателями "третьей волны" о жизни в эмиграции. "Ковчег" помещает также "Сказку про Ваську Немешаева, городского вора", — фольклор советского периода (публикация К. Кузьминского).

Цена номера 20 фр. фр.

Подписка на 4 номера 70 фр. фр.

Всю корреспонденцию направлять по адресу:

N. Bokov.

**Chateau du Moulin de senlis,
91230 Montgeron, France.**

Окончанием так называемого "великого века китайского искусства" (960–1279 гг.) в Китае возобладали та неприятная вычурность, "вихлястость", которая в XVIII веке была "открыта" Европой и почиталась как откровение.

СЕГОДНЯ

Игнатий Шенфельд

Когда — приблизительно год назад — побывавшие на Западе московские литераторы сообщили сенсационную новость, что популярный прозаик Анатолий Рыбаков завершил работу над двумя большими произведениями на темы, которые уже давно были под своего рода табу, впечатление было сильное. Подумать только: не отличающийся особым гражданским мужеством Рыбаков сдал в редакцию журнала "Октябрь", известного своим догматизмом, рукописи двух романов "Рахиль" (таково было рабочее название) — о судьбе нескольких поколений советских евреев — и "Дети Арбата" — о трагическом поколении московской молодежи тридцатых годов. Столь смелый выбор тем можно было только приветствовать и с нетерпением ожидать осуществления замысла. И хотя память о конформистском облике прежнего творчества Анатолия Рыбакова склоняла скорее к сомнению в каком-либо потрясающем откровении и раскрытии истины, с другой стороны, вспоминались его робкие попытки сведения счетов со сталинскими временами в романе "Лето в Сосняках" (1964). Да кроме того, бывали же случаи, что прочно погрязшие в грехе конформизма маститые советские писатели на склоне лет своих вдруг поддавались искушению заговорить, как Валаамова ослица, человеческим голосом.

Скажем сразу — чуда не произошло.

Анатолий Наумович Рыбаков (точнее — Аронов) добился такого признания и чести, что его настоящую фамилию нигде не ставят в скобках рядом с псевдонимом — ни в энциклопедиях, ни в официальных справочниках, в которых никогда не упускают напомнить, что, например, киевский поэт Михаил Полевой по существу никто иной, как Мойше-Дувид Иойнов-Янкель Маркович Бронштейн. Рыбаков родился в 1911 году в Чернигове, откуда его отец, инженер, перебрался в 1918 году в Москву, где сын и окончил Институт инженеров транспорта. До 1946 года он работал по специальности в Уфе, Калинин, Рязани и в армии. В 1948 году он дебютировал дет-

**ЕВРЕЙСКАЯ ТЕМА В
СОЦРЕАЛИСТИЧЕСКОЙ
ТРАКТОВКЕ**

ской приключенческой повестью "Кортик" из времен гражданской войны и НЭПа. Подхлестнутый успехом, он написал потом ее продолжение "Бронзовая птица". В 1951 году Анатолий Рыбаков получил Сталинскую премию за роман "Водители". Как бы в благодарность лауреат сочинил затем еще один производственный роман – "Екатерина Воронина", посвященный труду диспетчера крупного порта на Волге. В обоих романах производственная проблематика с успехом вытесняла психологию героев. После этого писатель решительно возвратился к творчеству для юношества: "Приключения Кроша" (1960), "Каникулы Кроша" (1962) и "Неизвестный солдат" (1970). Поскольку две первые книги писались в период "оттепели", Рыбаков решился отразить в них настроения мыслящей части советской молодежи, ставящей много трудных вопросов нравственного характера перед своими отцами и наставниками.

И вот – роман на еврейскую тему под названием "Тяжелый песок", напечатанный в трех книжках журнала "Октябрь" (июль-сентябрь 1978 года). Редакция сочла нужным подчеркнуть, что вещь написана "на широком историческом фоне". В эпиграф взята библейская притча из книги Бытия о патриархе Иакове, который "служил за Рахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее".

Любовь Иакова к Рахиль автор перенес в первые годы нашего века, в обстановку еврейского местечка где-то к северу от Чернигова. По различным приметам можно узнать в нем бывший городок Сновск, ныне Щорс, место рождения этого партизанского вожака (а также знаменитого дирижера Натана Рахлина). Рахиль Рахленко и Иаков Ивановский – это родители рассказчика. Он – сын богатого швейцарского профессора медицины – приехал с отцом, посетившим свое родное местечко, и влюбился в красавицу Рахиль, дочь простого сапожника. И хотя он не знает русского языка, а она – немецкого, любовь их столь пламенна, что он, полуеврей, женится на ней и вывозит в Базель, где и рождается рассказчик. Но Рахиль плохо себя чувствует в богатой Швейцарии, тоскует по своей убогой полесской родине и возвращается в местечко. Любящий ее наследник отцовских клиник приезжает за нею, но тут начинается первая мировая война, а затем революция в России, и Иаков навсегда остается в местечке. А поскольку он не успел выучиться на врача, то, испробовав безуспешно много разных профессий, стал работать в сапожной мастерской тестя, чтобы потом подняться до кладовщика местной обувной фабрики. И так они жили счастливо, наплодили кучу детей, воспитали их бравыми комсомольскими активистами и дождались внуков. Но опять грянула война. Гитлеровские оккупанты загнали всех в гетто. Восстание. Кое-кто попал к партизанам. В итоге от широко разветвленного клана Ивановских и Рахленко почти никто не остался в живых.

Таково в самом сжатом виде содержание, в подробности которого лучше бы не вдаваться, ибо при проверке окажется, что автор романа на еврейскую тему не знает подлинной истории евреев в России и специфики их быта, или, что еще хуже, сознательно все искажает. Видимо, личный биографический опыт Рыбакова явно недостаточен, чтобы он мог восстановить исчезнувшую навсегда жизнь еврейского местечка. Уроженец Чернигова, воспитанный в интеллигентной семье, он в процессе усиленной ассимиляции пол-

ностью оторвался от жизни еврейских масс. И чтобы восполнить пробелы в знании материала, незадачливому автору пришлось прибегнуть ко многим литературным заимствованиям.

Растянутость своего монологического повествования Рыбаков перенял от классика еврейской литературы Шолом-Алейхема (не достигнув, конечно, его силы). Рассказчик Борис Ивановский подражает еврейской интонации, ставит вопросы и сам на них отвечает, копается в мелочах, вводит в действие десятки лишних персонажей, снабжая каждого обстоятельной родословной вплоть до третьего колена, вкрапливает отдельные словечки на языке идиш, но все это звучит скорее пародийно, а сюжет во многих местах смахивает на либретто дешевого водевиля. Невероятна уже сама завязка: богатый наследник-лютеранин, которого раввин соединяет браком с еврейской Золушкой. Поражают зигзаги авторской фантазии, неимоверно крутые выражи небывальщины в трактовке сапожника Рахленко — отца Рахиль и деда рассказчика. Это просто суммарный портрет из всех хвастливых анекдотов о чудо-дедах. Аврам Рахленко — широкоплечий и чернобородый красавец, силач, убивающий быка кулаком, забияка и первый донжуан в округе, оделивший многих деревенских молодых внебрачными байстрюками, одновременно мудрейший и самый значительный человек в местечке, самый уважаемый и почтенный староста в синагоге, словом, помесь бабелевского биндюжника Менделя Крика с Львом Толстым. Чтобы создать такой образ еврея из полесского местечка, надо быть абсолютно лишенным элементарных понятий о социальном разрезе еврейского общества на переломе нашего столетия.

В обрисовке местечка двадцатых-тридцатых годов таких досадных несообразностей гораздо меньше, ибо автор имел в своем распоряжении достаточно образцов из еврейско-русской литературы. Распад традиционных еврейских ценностей и переворот в быту и укладе провинциального еврейства, активное участие еврейской молодежи в ломке старого мира нашли свое отражение в многочисленных произведениях трагической плеяды еврейских писателей, которые пали жертвой кампаний по борьбе с космополитизмом и сионизмом. Эталоном на русском языке были поэма Иосифа Уткина "Повесть о рыжем Мотеле" и "Повесть о детстве" Михаила Штигеля, к переизданиям которой даже сам Анатолий Софронов не считает зазорным написать предисловие. Да и сам Рыбаков хорошо помнит эти годы и чрезмерное революционное рвение еврейских комиссаров, председателей разных укомов и райкомов, чоновцев и продотрядников, которые, рубя лес, не думали о щепках.

Читатель романа "Тяжелый песок" иногда вправе поставить вопрос: на самом ли деле здесь идет речь о еврейской среде, ибо герои отнюдь не отличаются какой-либо национальной или хотя бы религиозной особенностью? Даже в изображении дореволюционной еврейской общественности нигде не указано, что многочисленные герои пользовались еврейским языком, что они придерживались каких-либо еврейских традиций, что были между ними сионисты или хотя бы бундовцы. Станным образом они даже не носят еврейских фамилий, все эти Ивановские, Рахленки, Кузнецовы, Курасы, Ягудины, Плоткины и другие; ба, даже фамилия польского еврея, выведенного в романе — Броневский, совсем как у выдающегося поль-

ского поэта-революционера. Судя по всему, отказавшись от своей фамилии, Рыбаков решил насильственно "обрусить" и героев своего романа на еврейскую тему.

Если верить Рыбакову, евреи местечка не знали, что они в черте оседлости, не слышали о погромах, чинимых черной сотней, и до прихода гитлеровских оккупантов всегда жили в "дружной семье народов", никогда не испытывав на себе гнета антисемитизма (это слово вообще один раз только упомянуто на протяжении всего романа – в контексте с немцами. То же самое можно сказать о слове "жид", один раз только произнесенном в романе, к тому же гитлеровским полицаем).

Жители местечка не знали никакого террора, ни "красного" в первые послереволюционные годы, ни – потом – "большого" в тридцатых годах. Это прямо какие-то евреи из инкубатора. Исходя из проявленной уже в прежних произведениях предпосылки, что советская система безупречна и любые нарушения правосудия в ней немыслимы, автор перелагает ответственность за все только на людей, которые из низких побуждений готовы "угробить" своего ближнего. Так случилось, например, с отцом рассказчика, который по доносу завистников был обвинен во вредительской халатности на обувной фабрике и приговорен, опять-таки судьей-евреем, к расстрелу. Но Москва быстро разобралась в сути дела и оправдала швейцарца, добровольно избравшего советское подданство. Была еще попытка "угробить" и самого рассказчика, предпринятая Броневским, еврейским беженцем из Польши, человеком "с шляхетским гонором", но разве может пострадать невинный человек при Советской власти? Счастливы и зажиточны жили евреи местечка. Сцена застольного веселья по случаю тридцатилетия брачной жизни Иакова и Рахили как будто целиком списана с пресловутой кинокартины сталинского времени "Кубанские казаки" и приобретает символическое значение: за празднично накрытыми и ломящимися от яств столами во дворе сидят несколько десятков человек, представители трех наций – евреи, украинцы и русские, коммунисты и беспартийные, все пьют за любимцев страны, военных летчиков, "сталинских соколов".

Автор считал благоразумным довести действие романа только до конца гетто и ухода оставшихся в живых евреев к партизанам. Он обошел время послевоенного разгула антисемитизма в СССР, беспощадных кампаний по борьбе с "безродными космополитами" и "сионистами", зловещего "дела врачей" и нависшей над советским еврейством угрозы физического уничтожения. Но поскольку рассказчик счастливо дожил до нашего времени, он нет-нет да и высказывает свое, а тем самым и авторское мнение о нынешнем положении евреев в СССР, которое охарактеризовано как тишь да гладь и советская благодать. Вот оно – авторское кредо в изложении рассказчика: *"Ни в какого бога я не верил и не верю. Русский, еврей, белорус – для меня нет разницы. Советская власть воспитала меня интернационалистом. Моя супруга, Галина Николаевна, – русская, мы живем с ней тридцать лет, у нас три сына, отличные парни, и хотя они записаны евреями, но они знают не еврейский язык, а русский, родились в России, женаты на русских, а мои внуки, значит, русские, и у всех нас родина – Россия"*.

Позиция Анатолия Рыбакова ясна и полностью соответствует запрограммированной еще Лениным участи советских евреев: "пятый пункт" в

паспорте как переходная стадия к полной ассимиляции, к растворению в русском народе, даже если этот последний и отбрасывает инородные элементы.

Не считаясь ни с исторической правдой, ни с фактами повседневной жизни и руководствуясь лишь указами газетных столбцов, Рыбаков моделирует образец "хорошего" советского еврея, над которым не тяготят никакие проблемы, потребности и противоречия, у которого даже в помыслах не было когда-либо покинуть советскую страну. Недаром главные герои романа — Рахиль, ее отец сапожник Рахленко и ее швейцарский муж — имея возможность беззаботно жить в Швейцарии или Аргентине, предпочитают возвратиться в малопривлекательное местечко и строить "светлое будущее".

Но есть один эпизод в романе, который способен навести на мысль, что иногда может заговорить совесть и у самого закоренелого лихоеда. В противовес тому, что общеизвестно об отношении советских властей к местам казней евреев и к еврейским кладбищам, автор восторженно рассказывает, как в описанном им местечке было восстановлено разрушенное при немцах еврейское кладбище, приведена в порядок братская могила в лесу, где покоятся останки расстрелянных евреев, и даже сооружен памятник. В заключительных сценах романа рассказчик в тридцатую годовщину уничтожения гетто посещает свое местечко и вместе с одним старым большевиком идет на кладбище. Но там нет ни плит, ни памятников, ни надписей, и ему невдомек, кто и куда это все растащил. Затем оба направляются к братской могиле в сосновом лесу. Предоставим слово автору:

"На могиле был установлен большой камень из черного гранита, на нем — сверху на русском языке, внизу на еврейском — было высечено: "Вечная память жертвам немецко-фашистских захватчиков".

Рядом со мной стоял Сидоров, бывший шахтер, потом директор обувной фабрики, потом партизанский командир, теперь пенсионер. Он родился в Донбассе, но давно жил здесь, знал и понимал все.

Он показал на надписи на камне, высеченные по-русски и по-еврейски, и тихо спросил меня:

— Слушай, Борис, а правильно они перевели русский текст?

Ребенком, лет, наверное, до восьми или девяти, я учился в хедере, потом перешел в русскую школу и, конечно, давно забыл еврейские буквы.

И все же почти через шестьдесят лет из неведомых и вечных глубин памяти передо мною встали эти буквы, эти слова, я вспомнил их и прочитал:

"Веникойси, домом лой никойси".

Смысл этих слов был такой:

"Все прощается, пролившим невинную кровь не простится никогда"...

Сидоров, видя, что я медлю с ответом, склонился на меня, все понимал, умница, и снова спросил:

— Ну, точно перевели, правильно?

— Да, — ответил я, — все правильно, все точно".

На этих словах роман и заканчивается. А читатель пусть теряется в догадках, почему преданному советской власти Борису Ивановскому взбрело в голову обмануть все понимавшего умника Сидорова? Кого он пощадил: немецких фашистов, Сидорова, себя или цензора?



РАССКАЗЫ ОБО МНЕ

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

Арсений Тарковский

Когда я стану хорошим писателем,
то буду я писать так, как Лариса
Мартилевич рисует.

Когда раздобуду я денег на собственную книгу, то поеду в Хайфу к Ларисе Мартилевич и попрошу ее сделать для моей книги обложку.

А если бы был я не писатель, а художник, то рисовал бы я то же самое, что Лариса Мартилевич — с поправкой на разницу в восприятии, биографии и характере.

х х х

Изабелла Абрамовна, урожденная Рабинович (или, как ее называли родственники, — Бебочка) была девушкой белой полноты с очень черными волосами. И носик у нее был полный, протяжный и нежный. Бебочка была и н т е р е с н а я. Ей не мешали волоски на голеньях и чуть-чуть на щеках, а зубы ей починил ее папа-стоматолог. Ей ничего не мешало, потому что в о к р у г все были такие, только похуже, не такие интересные. До двадцати четырех лет не было у Бебочки никаких неожиданных событий и н е з н а к о м ы х з н а к о м с т в , и она была сильно похожа на свою маму, а больше того — на тетю Сарру из города Бердянска.

Но исполнилось Бебочке двадцать четыре года, и, следовательно, на двадцать пятом году жизни она пошла навестить мамину подругу БERTY (у нее с мамой и подруги общие были), а к тете БЕРТЕ до Бебочки пришел в гости племянник...

— Познакомьтесь, дети, — сказала тетя БЕРТА, и сразу мог понять человек средней проницательности, что совершенно это знакомство тете БЕРТЕ не казалось нужным.

— Изабелла, — спокойно-спокойно назвалась Бебочка, но все-таки вспомнила, что у нее на губе маленькая лихорадка от насморка.

— Т а л а н т л и в ы й Ч е л о в е к, — сказал племянник.

Нужно ли говорить, что Бебочка за Талантливого вышла замуж? Нужно ли говорить, что Талантливый Человек был человек полурботающий, мажущий абстрактные картины, сочиняющий пессимистические стихи, рассказывающий неприлично-политические анекдоты? Кроме того, Талантливый Человек пил водку, как будто не был он племянником маминной подруги тети БЕРТЫ, а жутким представителем д р у г о г о н а р о д а ! Нет смысла объяснять, что Талантливый Человек был худой, несолидно одетый, улыбался на одну сторону. И окончательно не подлежит упоминанию такой ужас, что Талантливый, получив Бебочку в свое мужское обладание, уже в первую брачную ночь пытался научить урожденную Рабинович таким постельным приемам, о которых никто из Рабиновичей даже в подсознании не мечтал.

Все это не имеет никакого значения хотя бы потому, что Бебочка Талантливого любила и, невзирая на весь его пессимизм и абстракционизм, была главной, — ибо она без Талантливого могла обойтись, а Талантливый без нее — нет. Талантливый всю свою жизнь без кого-нибудь не мог обойтись, а без него все прекрасно обходились.

Так прошло много лет. Нечувствительным образом Бебочка и Талантливый переехали в другой город в другой стране. Там тоже все было хорошо. Талантливый слегка работал на двух четвертьставках, а Бебочка с помощью задолго до нее приехавших родственников обеспечивала приличное существование для семьи, где уже были две десятилетние дочки. Было хорошо, если не считать того, что Бебочке и Талантливому исполнилось по сорок лет. Талантливому Человеку было все равно, а Бебочка стала старой. Она стала очень старой женой стройного молодого мужа в сменяемых коротких курточках, пессимиста и абстракциониста, дорвавшегося до низких цен на спиртное. Трудно сказать, кому было тяжелее — Бебочке или Талантливому. То есть сказать можно, но трудно — язык не поворачивается...

В день пятнадцатилетия их брачного союза Талантливый никуда вечером не пошел и слонялся из гостиной в кухню, из кухни — в гостиную. В гостиной он выпивал маленькую стопочку коньяка из бара с зеркалами и подсветкой, а в кухне — средний стаканчик сухого вина из холодильника "Фридман". На стенах гостиной висели абстрактные картины Талантливого, а на газетном столике лежал некоторый номер журнала, открытый на двадцать пятой странице. На этой странице были напечатаны два пессимистических стихотворения Талантливого с заголовком "Стихотворения разных лет".

Бебочка только что закончила приготовление праздничного ужина и присела на диван. Вдруг она увидела, как муж ее осветился сильною лампочкой из бара. Ее муж был очень старый и несчастный человек по имени Талантли-

вый Человек! Все лицо его было в мелких и страшных складочках, выемках и пошерхлостях, шея была тонкая и какая-то мохнатая. Губы смыкались неплотно, оставляя в углах рта зияния, нос был желтоватый и поблескивающий.

— Таля, пожалуйста, хватит пить — закрой бар, прошу тебя! — сказала Бебочка.

— Что тебе еще от меня надо? — повернулся к ней Талантливый, и упал на него свет торшера.

Плечи у Талантливого Человека были не то что узки, а как-то выгнуты вперед, ноги были веревочные, а живот, хотя и худой, выпятился и был овальный и отдельный.

Бебочка зарыдала от жалости, которой ни на что другое уже не смениться. Тогда Талантливый выругался русским матом, схватил свою самую короткую куртку и ушел к приятным знакомым.

К ночи он пришел, они помирились. Талантливый сразу заснул, а Бебочка, вопреки обыкновению, бодрствовала. А когда забылась, явился к ней во сне мертвый папа. Папа был веселый и добрый, странно одетый в белое. “Через месяц, доча, через один-единственный месяц”, — сказал папа и подмигнул.

Наутро Бебочка сказала Талантливому, что хотела бы пойти сфотографироваться всей семьей. Талантливый поиздевался-поиздевался — и согласился.

— Только зачем фото? — остроумно сказал он. — Давай пойдем и сделаем семейный портрет, все-таки искусство...

И пошли они в город Хайфу на гору Кармель к художнице Ларисе Фрумкиной — урожденной Мартилевич. Вышла к ним русая красавица, владелица сильного мужа и сына, поставила их всех рядышком — в центре Бебочка обнимает Талантливого, а по сторонам дочки жмутся, и нарисовала им семейный портрет графическим способом...

А поскольку портрет уже кто-то купил, а Бебочка умерла, а Талантливый мне не попадает, то постарался я описать — что на том групповом портрете было изображено. Но описал примерно треть — там еще видно, как Бебочка извинялась перед миром за свою старость и смерть, за свою любовь к мужу, за свое непонимание абстракционизма и пессимизма, как долго одевалась она перед походом к художнице Ларисе, какие косметические средства неумело употребляла, как белье выбирала — непонятно зачем. И еще видно, как пыжился и фрайерился несчастный Талантливый перед красавицей Ларисой, как отстранялся он от припавшей к нему Бебочки, как не обращал внимания на собственных детей, как уговаривала его Бебочка не сердиться, надеть шляпу и галстук, а короткую куртку — не надеть, и как он по слабости характера со всем согласился, но на своем все-таки настоял — позировал с зажатым в зубах цветком, а Бебочка и за это извинялась перед всеми нами...

Но и это еще не все — есть на портрете интимная жизнь Талантливого Человека, начиная с шестилетнего возраста, есть все его слова и выражения, все его куртки, есть бебочкины папа с мамой, дяди и тети ее — живые и отошедшие, есть будущее ихних дочек — вплоть до тридцати годов, есть их адрес, есть вещий бебочкин сон, есть бебочкины обеды и все нарисованные и ненарисованные абстрактные картины Талантливого. Есть многое такое,

на что я смотреть не могу и не хочу, поэтому я даже доволен безвозвратной продажей портрета, а я-то намеревался выцыганить у художницы Ларисы, но она, конечно, не согласилась: рисунок денег стоит...

х х х

Но и это еще не все.

х х х

Мои писательские претензии к визуальному искусству (не считая кино) заключаются в следующем: у них, визуальщиков, слишком много технических возможностей, а требования к ним со стороны созерцающих несколько занижены.

Когда я начинаю писать ритмизованной прозой, монтировать стихотворения из обрывков газетных реклам, употреблять слова собственного изготовления, размещать их в форме креста, сердца или галльского петуха, описывать вместо Ивана да Марьи (Джона да Мэри) жизнь каких-нибудь апокалиптических тараканов или водосточных труб, наполненных внутренним содержанием, или делать что-нибудь еще в таком роде — мне рассчитывать не на что. Как бы ни пытался я выдать отсутствие сюжета за особый творческий прием, а отсутствие знаков препинания — за прием со знаком минус.

Все интеллигентные возражения на этот счет я знаю. Но еще Блок сказал в дневнике, что мы, художники, хорошо понимаем — Пушкин и Байрон богами не были. Иными словами: не боги горшки обжигают, и стреляного воробья на мякине не проведешь. Весь смысл — если в данном случае вообще можно говорить о смысле, — любого вида искусства состоит в умении разместиться совершенно свободно на пространстве крайне ограниченном. Границы этого пространства для непосвященных кажутся размытыми, — на самом деле они незыблемы. Ребенок, играющий в шахматы со взрослыми, видя неизбежность проигрыша, кокетливо и трогательно передвигает своего ферзя за пределы доски — и с этой позиции идет в атаку. "Революционер от искусства" пишет сонет в восемнадцать строк — и говорит о своей победе. Вся масса прочитанных книг о так называемом "современном" искусстве, все попытки с е м и о т и ч е с к и обосновать правомерность существования восемнадцатистрочных сонетов и баллад в виде параллелограмма оставили меня в моем косном, ретроградном, непрогрессивном, почти филологическом убеждении. Ибо все эти теории неизбежно ведут к тому, что Гомер писал все-таки хуже, чем Маяковский, а мы знаем, что дело обстоит не совсем так.

Смертная косность искусства, его закреплённость на десятке архетипов, едва заметные перестановки одного и того же, все это переливание из пустого в порожнее — вот то, что позволяет хотя бы несколько отдалить претворение в жизнь прогрессивного лозунга: "Каждый читатель — писатель". Мои убеждения — убеждения мастерового, и поэтому за каждым Алланом Роб-Грийе я вижу не новый шаг вперед (куда?), а неумение писать так, как, скажем, Грехэм Грин или Ивлин Во. Я знаю больше: мне никто не

перечит, со мною все согласны. И тем не менее каждый Божий день кто-нибудь пишет и печатает русские стихи без рифмы и размера, а я — мастерской — отлично понимаю, что писать так: л е г ч е.

Но литература в целом все же еще достаточно реакционна. Вежливые восторги по отношению к “новаторам”, поклоны “первооткрывателям” — есть в ней что-то вроде выбора почетного президиума на партийном собрании в Актюбинске. Собрание на самом деле ведут другие. Теория литературы безо всякого стеснения говорит: быт, быт и быт. По той простой причине, что безсюжетное изложение потока сознания — дело скучное и несложное, а вот сн о с н о п р о п и с а т ь историю о том, как Петр Петрович женился на Варваре Джузепповне и что из этого вышло — тяжело. И речь идет не о знаменитой простоте искусства. Писать можно сколь угодно замысловато и хитро. Суть в том, что искусство не может распространяться вширь, но только — вглубь, используя неизменные со времен Архилоха средства и орудия.

Живопись же, по моему мнению, распространяется вширь. Она — прогрессивна.

Шестнадцатилетним с п о с о б н ы м я попал на закрытую выпиваловку в мастерской знаменитого живописца. На жизнь, дачу, мастерскую, машину, леопардовую шкуру надложу он зарабатывал монументальными полотнами типа: “Коммунизм — это молодость мира”, а в свободное от коммунизма время составлял дорогостоящие конструкции из никелированной стали, каких-то рогов диких косуль и некоторых искусственных материалов. В этот вечер художник был задумчив. Осмотрев его железки и коллажи, мы присели к столу. “Вот это — вчера закончил”, — сказал хозяин и указал на силикатный кирпич с дырками. К торцу кирпича была приделана вполне реалистическая грустная харя — вроде с монумента воинам, павшим, защищая что-нибудь. Создатель закрепил в одной из кирпичовых дыр свечку, зажег ее, погасил свет и включил автоматический патефон. Раздались звуки “Реквиема”. “Называется “Воспоминание о друге”, — сказал создатель. И мы — застыли.

Визуальное искусство как бы “не доросло” до понимания невозможности выхода за пределы художественного текста и преспокойно перемальывает в мясорубках старые газеты, вставляет полученное месиво в рамку — и никто не решается сказать что-нибудь вроде: “Да ведь это в лучшем случае милая шутка, так всякий может!..” Потому что так говорить опасно — засмеют.

х х х

В работах Ларисы Фрумкиной-Мартилевич — “отсутствие раздражающих попыток вырваться из будто бы сковывающих свободу цепей искусства, попыток, обнаруживающих только недостаточную силу обладания” (Б. Эйхенбаум).

Если говорить об ее учителях, то сразу приходят мне на ум двое самых любимых — Тулуз-Лотрек и Макс Эрнст. Разумеется, только в лучших ее рисунках и портретах маслом, — кстати, работы маслом на выставку не попали. Там, где Лариса слаба, к ней в предшественники и старшие товарищи набиваются иллюстрации какого-нибудь Виталия Горяева, да еще с “сюжетом юмористического характера”... На выставке, где “картинки” не только ус-

пешно покупались, но и разворовывались — завидно? — слишком много было пикнических толстячков в средневековых костюмах, игольчатых рыцарей, смешных мордочек и пр. Хвалить Ларису за то, что эти рыцари сработаны четко, грамотно и компактно — поздно. Она не ученица выпускных классов худучилища, а художник.

Но все искупает медленное копошение печальных теток, задрапированных в бесцветный креп-сатин, теток, что придерживают потрохов своих за головки и помочи — чтоб не разбежались, под машину не попали, с земли ничего не ели, — или тот, несколько, на мой взгляд, символически-европейский, а все равно прекрасный то ли Кин, то ли Михоэлс в полуклоуновском костюме, изящнейшим образом сидящий на сценическом полу. Все у него в порядке, только одной ноги нет. Вместо нее — деревяшка с бантиком у исхода штанины. И видно, что самому ему с полу не встать, протез не пустит, и придется артисту помощи у зрителей просить. А — стыдно, и потому такой он высокомерный и замкнутый, и потому — сидит столь непринужденно.

Но и это еще не все...



Синтаксис № 3

В третьем номере: И. ЖОЛКОВСКАЯ (ГИНЗБУРГ) — Моя благодарность, А. А. ЗИНОВЬЕВ — За что боролись, на то и напоролись, Б. ШРАГИН — Сила диссидентов, АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ — В ночь после битвы, АНДРЕЙ АМАЛЬРИК — Несколько мыслей о России, спровоцированных статьёй Ладова, ЗИНОВИЙ ЗИННИК — Соц-арт, МАИЯ КАГАНСКАЯ — Время, назад!, Ю. ВИШНЕВСКАЯ — О памяти.

Цена номера — 15 фр. фр. Подписка в редакции 50 фр. фр. за 4 номера. Пересылка за счёт заказчика.

Адрес редакции: «Syntaxis», 8, rue Boris Vildé
92260, Fontenay-aux-Roses, France.

ПИСЬМА

Дискуссия о повести Милославского кажется нам исчерпанной; письмо проф. Азбеля запоздало и выглядит "последней тучей рассеянной бури": все, сказанное им, уже произнесено другими и раньше. Но верные нашему правилу предоставлять слово оппонентам, мы публикуем и это письмо — с сохранением всех особенностей стиля и композиции.

СОЗРЕЛИ ЛИ МЫ ДЛЯ СВОБОДЫ ЛЖИ?

(Похвальное слово Милославскому, Севелле и прочим)

Пристало ли, скажите, стгоряча
Смеяться нам над жертвой палача?

А. Пушкин

Падающего — толкни.

Ф. Ницше

Льва узнают по когтям, гниену — по запаху

"Лично я повесть Милославского читал с восторгом. И считаю, что каждый, кому дорог душевный покой, должен сделать ее своей клызеточкой. Такое чистое удовольствие я испытал ранее разве что при чтении Севеллы "Остановите самолет, я слезу!"

Почему? Сейчас объясню. Сознайтесь сами: разве не восхищались вы сами теми, кто первыми бросил перчатку, так сказать, в лицо всесильной власти? Вы знали, конечно: они тоже люди, порою и суетные, и слабые, и тщеславные. Знали, — но восхищались, знали, — но завидовали их мужеству, знали, но испытывали невольный комплекс вины перед ними за то, что остались в стороне, не поддержали, не помогли.

Ну, так вот, успокойтесь, — они не стоят того, эти трусы, подонки, развратники, блюдолизы советской власти. В Израиле, вне опасности, не нуждаясь более в их поддержке, в их мужестве, в их готовности сообщить о вашей беде на Запад, — можно использовать копыта по назначению и мужественно назвать тех, кто все еще в России, так, как они того заслуживают.

Чего стесняться в демократическом государстве? А страшное даже издаде-ка КГБ только спасибо скажет, — это вам не о ГУЛАГе писать.

Да еще и прямая польза. Давно и не нами сказано: мир не содрогнется, узнав, что собака укусила полицейского. А вот сенсация о полицейском, укусившем собаку, сулит вам известность. — сомнительную, ну, да иная-то, может, и не светит.

Великолепные, великолепные произведения! О Милославский, о Севелла! Как легче вы от комплекса зависти, вины, неполноценности и прочих. И не только нас, здешних, но и тех из западных радетелей за сионистов-диссидентов, кому эти заботы порядком уже надоели, кто о такой индальгенции и мечтать не решался.

Методы ваших повестей — всеобщие. Вашу совесть тревожат аресты в Москве — Щаранского, Орлова, Бегуна, Гинзбурга, Слепака, Нудель? — смело говорите, что, во-первых, в Москве никого не сажают, а, во-вторых, все они корыстолюбцы, развратники и трусы (вот как рассуждает один из главных героев Милославского: "Мне не следует ехать так поздно", — говорит ему женщина. — "Если хочешь, я дам тебе на такси", — отвечает он, а когда она хочет вызвать такси по его телефону, содрогается: "Не стоит вызывать отсюда. Телефон прослушивается") .

Вас смущает слава ученого Х.? — Пустяки, просто он лизал зады академикам, гебешникам и партийным боссам ("Это те, кто в СССР до последнего дня, пока им не дали пинка под зад, ходили в советских патриотах, властям зад лизали, причмокивая от наслаждения, и дружно голосовали на казенных митингах против происков мирового сионизма вообще и израильских агрессоров в частности" — Севелла) и еще до окончания школы создавал — как ее там? — "бомбу", в общем ("Михаил Липский, 35 лет, был... один из создателей неизвестного мне заказа № 4. Только одно знаю — заказ этот ходил" — Милославский) .

Завидуете поездкам в США ученого У.? — Пустяки, ездит за счет мирового сионизма ("Это те же. Они нашли новый зад, да так и впились в него губами" — Севелла), денежки себе и жидам — тыфу, черт сионистам, конечно — собирает. Знаю я их, Сахаровых, Шафаревичей (снова сбился, ну, да все едино) .

Женщины за ними в ссылку, в Сибирь едут? Проститутки, суки, в этом суть!

Нечего их героизировать! Все их геройства — сами они с западными корреспондентами выдумали. Ложь это все, давно пора их разоблачить! Я все знаю, я всех знаю, я все обо всех знаю! Я! Я! Я!..

Смекнули рецепт? Хорошая штука — свобода недержания слова, ох, хорошая! Для всех хорошая, а для России особенно! Прочитают там, иждивением кого следует, эту повесть и возразуются. Там-то знают, что каков конкретный Абрамович — таковы все евреи. Там-то автору поверят: он-то их, этих Абрамовичей, сионистов-активистов-диссидентов, знает, как облупленных, видать, сам из них, не за печкой отсиживался. Там-то живо идентифицируют Анечку, Липского, Минкина и прочих с кем надо — с заключенными, ссыльными, допрашиваемыми. И дружно возопят: давно пора их всех к ногтю, хватит, натерпелись!

А нам-то с Милославским и Севеллой что за дело? Мы-то в безопасности!

А ежели кто авторам скажет: как же вы, господа хорошие, такое делаете? — мы обидимся, караул закричим: "Цензура! Советские методы!" И Запад наивный — поверит, защитит. Он советских тонкостей не знает. Он не ведет, что в России самоцензура порождает страх за себя, а на Западе — страх за других. Он не раскусит, что нам плевать — и на Запад, и на Россию, и на всех скопом. Нам — о себе бы позаботиться. Абрамовичи эти, сионисты-махисты-физикисты, завсегда выкрутятся — там, и здесь, и всюду...

Тьфу, чур, чур меня! Скорей, скорей за мое чтение, а то опять злоба с завистью одолевают, проклятушие!

"Я знавал одну активистку борьбы за мою репатриацию, которую представляли так: "Познакомьтесь, это — Лана. Валютная проститутка. Одна из американских еврейских общин взяла Лану под свою опеку и принялась посылать ей доллары" (Милославский). "С работы выгнали — не беда. Заграничные евреи посылками завалят. Даже и деньжата в иностранной валюте перепасть могут" (Севелла). "Чета Рубиных, Слепаков и другие щедро отоваривались в магазинах "Березка" ("Известия", 5 марта 1977 года). "Низкопоклонство перед Западом вызвано жадностью к получению денег оттуда" (Петров-Агатов, "Литературная газета", 2 февраля 1977 года). "Я был свидетелем постоянной борьбы за лидерство и распределение средств, полученных из-за рубежа, между А. Лунцем, М. Азбелем и А. Лернером" (Липавский, "Известия", 5 марта 1977 года). "Он объявлял голодовки по любому поводу. Он стал профессионалом и, как любой квалифицированный специалист, имел свои производственные секреты" (Севелла). "Я, как врач, наблюдал за В. Рубиным и М. Азбелем в период их "голодовки". Эти "мученики", заботясь больше о своем здоровье, своевременно подкреплялись пищей" (Липавский, там же). "Мы должны были готовить провокационные акции, шумные скандалы, фабриковать клеветническую информацию" (Цыпин, "Вечерняя Москва", 17 мая 1977 года). "Марку Борисовичу передай, что он сволочь. Лернер сволочь. Слепак сволочь" (Цитрин, "Вечерняя Москва", 28 июня 1977 года). "Они все стучат: Фимка и Арон, кусок дерьма, и Ханыкин, которого назначили евреем, и все эти провокаторы, что устраивают демонстрации, а демократы — настоящие работники ГБ" (Милославский). "Нам, которые по всем статьям советского закона — изменники Родины, отщепенцы, лакеи сионизма и империализма..." (Севелла). "Враждебной деятельности отщепенцев и изменников Родины..." (Липавский, "Известия", 5 марта 1977 года). "Этих людей в Риме, Мюнхене, Нью-Йорке в шутку называют "христопродавцами". Злая шутка. Содая страшный грех, — разграблена русская история, ее духовное наследие, и когда-нибудь нам предьявят жуткий счет. Чего только не вывезли контрабандой, суя взятки налево и направо... Бесценные картины из Эрмитажа и Третьяковки, коллекции редчайших марок и старинных монет" (Севелла).

Таланты мои ненаглядные! Пусть литераторы, акулы пера, различают вас по стилю, манере и прочим тонкостям. А у меня вы все рядышком стоите, целая библиотечка уже собралась. Целители мои, утешители мои! Разве понять всяким Минкиным эту нашу "советскую национальную черту" — всех на нас непохожих одним дерьмом мазать?! Они-то от нее свободны — "не из принципа, а за ненадобностью" (Милославский). За это — удавить их хо-

чется – или самому удавиться. Ибо: "как гласит народная мудрость: есть евреи и есть жидаы" (Милославский)".

Монолог записал М.А.

P.S. Записал – и глазам своим не поверил. Неужто возможен столь непрерывный переход между Севеллой, Милославским и публичными доносами советских стукачей разного ранга? Может, все дело в подборе цитат? Прочел цитируемые книги – и ахнул: порой они благоуханнее приведенных выше цитат. Вот, к примеру, партийно-милославская оценка Самиздата: "Минкин с приятелями литературного толка выпускал время от времени машинописное обозрение "Евреи". Тираж – пять экземпляров, а литераторам приятно". А вот чекистско-севеллий взгляд на диссидентов: "У тебя зуд в заднице и тянет погорланить всенародно? Это занятие для гимназистов-двоечников и студентов с длинными патлами. Волос длинный – ум короткий". И – венец всего – восторг "хомо советикуса" перед своей свободой, хоть в "Правду" посылай: "Мы в СССР были самыми свободными людьми... В России, поверьте мне, хоть честнее... Свобода? Не будьте ребенком. Всем этим басням о свободе (на Западе. – М.А.) грош цена в базарный день" (Севелла).

Написал это – и подумал: а может, Севелла и Милославский и впрямь набрали – или показалось им, что набрали (бывает ведь неизлечимый астигматизм души) на парочку таких "героев"? И ведь пишут они не публичные доносы с подлинными именами-фамилиями, но художественные произведения. "А с фантазии – какой спрос?" (Севелла).

Коли так – за что же мы осуждаем Шевцовых, Грибачевых, Кочетовых? Неужто только за отсутствие таланта? Может, они тоже искренне и, дай им Бог таланта, принадлежали бы изящной словесности, а не властям предержащим?

Тут-то, думается, мы и подходим к сути дела. На Западе есть антисемиты почтице Шевцова, а в Израиле – антисемисты позлобнее Иванова. Здесь они – красный сигнал: "Внимание! Опасность!"

Но в России счет идет не на личности, а на категории, и безответственность равносильна подлости. Неравенство между Россией и Западом не устраняется односторонне. Российские "олим" и эмигранты, для которых невыносимо табу на безответственность, которые из всех российских бед и пороков, вместе с советской печатью, избирают в качестве своей мишени инакомыслящих, хорошо знают: в России с фантазии, даже с подтекста, спрос такой же, как с документального очерка. Стало быть, они готовы к своей роли – потенциальных свидетелей советского обвинения.

Мы – из России. Это значит, что любая мысль о любом ограничении любой свободы вызывает у нас истерику. Даже мужественный Гладилин ("22", № 6) подумал было: а может, не стоит поставлять материал для "Правды"? – и тут же спохватился: не превращается ли он сам в советского редактора?

Но давайте будем храбрыми и, икая от ужаса, признаем: да, мы свободны – свободны писать и печатать любую ложь, и клевету, и подлость. Свободны поливать помоями Сахарова, призывать к уничтожению Израиля,

прославлять благородное КГБ, умиляться свободе в СССР, петь гимны советским вытрезвителям (увы, и это не гипербола: "Ты так надежно защищен, что даже можешь пьяным уснуть на мостовой, и тебя, в худшем случае, увезут, болезного, под белые ручки в вытрезвитель, умоют, почистят, уложат под свежие простыни, а утром вернут все документы до единого и домой вернут к соскучившейся семье" (Севелла). Только имена конкретные опасно еще называть – в суд подать могут.

Да, именно эта западная свобода – едва ли не опаснейшее советское оружие. Да, свобода безответственности на Западе может оказаться смертельно опасной для людей в России.

Что же делать? Ах, ах, ах, что же нам делать? Неужто ограничить... и т.д. и т.д. и т.д.? Ведь мы разумеет только понятия – "либо-либо", "черное-белое", "советское-западное", "за-против", "с нами – против нас". Где нам отличить нюансы!

А потому мне хочется дополнить редакционный вопрос: "Свободны ли мы для свободы?" своим вопросом: "Созрели ли мы для свободы лжи, безответственности, клеветы?"

Марк Азбель

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "22"

Уважаемые господа, в последнее время в западной эмигрантской печати появилось несколько критических отзывов на мою рецензию о сборнике "Память", опубликованную в третьем номере Вашего журнала. Так, Ю. Вишневская ("Синтаксис", № 3), анализируя эту рецензию, приходит к выводу, что ею зачеркивается вся работа составителей сборника и чуть ли не весь Самиздат в России. Еще дальше идет М. Агурский ("Русская мысль", 15 марта 1979 года), который заявляет, что рецензия зачеркивает не только сборник "Память" и российский Самиздат, но и всю русскую историю вообще, а потому является "руссофобской" и "хулиганской".

Я глубоко сожалею, что авторы упомянутых выше отзывов так прочитали мою маленькую рецензию и нашли в ней такие глобальные выводы. Пользуясь случаем, хочу напомнить читателям, что рецензировавший мною сборник представлял собой первый выпуск неподцензурного собрания материалов (документов, свидетельств, воспоминаний и обзоров) по истории советского общества и оппозиции в нем. Недавно появился в свет второй его выпуск ("Память", сборник 2, ИМКА-пресс, Париж, 1979), и есть надежда, что "Память" станет первым русским самиздатским историческим журналом. Значение этого факта трудно переоценить. Тем более нуждается он в осмыслении.

В своей рецензии я констатировал ту известную истину, что одним из

главных методов тоталитарной власти является сознательное и целенаправленное манипулирование историей народа и его исторической памятью. Разрыв традиций, замалчивание или искажение одних фактов, подмена других, создание фиктивной и препарированной "истории для масс" – все это помогает тоталитарной идеологии расчищать для себя плацдарм в народном сознании. Факты, знакомые каждому, жившему в России, свидетельствуют, что советский тоталитаризм немало преуспел в этом направлении. Восстановление "Памяти" – важное и большое дело.

Однако место сборника "Память" в сегодняшнем советском Самиздате этим не исчерпывается. Изучение последних данных показывает, что "Память" – наиболее яркое выражение наметившейся в Самиздате последних лет тенденции к преобладанию "эмиграции" – документа, свидетельства, мемуара – над "теорией", еще недавно широко в нем представленной. Нисколько не умаляя значения эмпирического "сырья" как основного материала для будущих теоретических обобщений и отдавая должное труду его добытчиков, я лишь констатировал этот сдвиг и пытался объяснить его известным фактом эмиграции на Запад большинства самиздатских идеологов демократического направления (последние примеры – Амальрик, Турчин, Зиновьев). Я завершал свою рецензию замечанием о том, что в условиях сложившегося в результате этой эмиграции "теоретического вакуума" в Демократическом движении угроза "беспамятства" возрастает – "и тогда хватаются за "Память"...

К сказанному остается добавить лишь несколько слов. Если расширить поле наблюдения, то можно увидеть, что параллельно возрастающей внутри России тенденции к накоплению эмпирических фактов вне ее возрастает тенденция к повторению затверженных политических схем и трактовок, опирающихся на старые факты. Это свидетельствует о возрастающем разрыве между двумя основными видами интеллектуальной активности демократической оппозиции, обусловленном, на мой взгляд, именно отсутствием промежуточной стадии – теоретической работы. Только она способна осмыслить новые факты и обновить старые программы. К сожалению, инициатива такого теоретического осмысления в последнее время перешла почти полностью в руки русского националистического движения (см. "Вестник РХД" №№ 125-126, 1979). Попытки теоретического анализа с демократических позиций редки и зачастую (как работы Янова, авторов сборников "Самосознание" и "СССР: демократические альтернативы") встречаются критикой с позиций все тех же устоявшихся политических представлений.

Я искренне не вижу оснований расценивать изложенные выше сообра-

жения как отрицание заслуг авторов "Памяти", героизма и самоотверженности создателей Самиздата или права русского народа на свою великую историю. Мне кажется, что в подходе Вишневской и Агурского к моей рецензии также возобладали не столько желание осмыслить факты, сколько приверженность к готовым групповым мнениям. Надеюсь, что мое письмо поможет читателям разобраться в позициях обеих сторон, и буду благодарен, если Вы сочтете возможным его опубликовать.

Р. Блехман

В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА "22"

Уважаемые господа!

Я это свое письмо написал для газеты "Русская мысль", но там печатать ее отказались. Может, Вы согласитесь опубликовать это мое письмо. Буду премного благодарен.

Б. Сидоров

Уважаемая редакция!

Я новый эмигрант из СССР. И в запое читаю все, что издается на Западе. С удовольствием читаю и Вашу газету. И хочу выразить благодарность вам и Михаилу Агурскому за его замечательную заметку у Вас 15 марта с.г. под названием "Борьба с антисемитизмом". До того я читал этот журнал "Синтаксис" и удивлялся: в русском вроде бы журнале два русских вроде бы человека спорят об евреях, как о деле, от которого все зависит и наша Родина.

Я сам против антисемитизма, но М. Агурский совершенно законно пишет, что "нельзя централизовать" этот вопрос и "навязывать всем одни лишь свои проблемы" то есть еврейские. Как это делают некоторые евреи и сионисты и вот этот Синяевский и тот писатель в Москве, с кем он спорит, и некто видимо еще Максимов. И вот теперь, благодаря Михаилу Агурскому, мне все стало ясно, что эти люди тоже евреи! Поэтому они, значит, и централизуют этот вопрос или попросту делают из него пуп земли. А когда я об этом со своими знакомыми поделился, которые уже раньше меня на Западе, с эмигрантами, они мне рассказали, что Андрей Синяевский не настоящая его фамилия, а псевдоним. А настоящая Абрам Герц, а у Максимова настоящая фамилия Брейтбарт.

И очень мне еще понравились слова Михаила Агурского, что те евреи, которые значит, свой вопрос централизуют и прочее, сами вызывают антисемитизм и, как хорошо пишет М. Агурский, "должны считаться со всеми последствиями"! Замечательно тонко сказано!

Но у меня к Вам и к Михаилу Агурскому одна просьба. Не смог бы ли он через Вашу газету дать еще одну важную справочку. Я вот слышал, что и Гитлер был евреем, только ловко скрыл это под псевдонимом. Правда ли это? А то ведь он тоже централизовал и навязывал всем этот еврейский

вопрос. М. Агурский видимо очень образованный человек и должен про это знать точно.

С глубоким уважением

Б. Сидоров

P.S. Между прочим, это моя настоящая фамилия, я русский. У меня только теща еврейка, что и помогло нам получить визу. Но это не значит, что я антисемит!

P.P.S. И еще мне очень понравилась скромность Агурского. А то здесь на Западе все норовят от своего имени говорить, якать, а имя-то их, может, никому неизвестно. Брежнев и то скромнее! Никогда "я" не говорит. А вот Агурский скромно пишет не от своего имени, а от имени коллектива, то есть в данном случае от еврейского израильского народа и сионистов.

Если Вы посчитаете интересным мое письмо опубликовать, я буду не против.

.Б. Сидоров (Мюнхен)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖУРНАЛА:

Europe - Yu.Nikolajeff, Piazza S.Pantaleo, 3

00186 Roma, Italia

USA - A.Englin, 5510 97 Street, Corona,

N.Y. 11368, USA

Y.Levin, U. of Texas at Austin,

Dept. of Slavic Languages, Box 7217,

Austin, Texas, 78712, USA

L.Khotin, 16 Via Ladena, Monterey,

Ca., 93940, USA

ИЗДАТЕЛЬСТВО Ymca-Press

11, rue de la Montagne-Sainte-Genève, 75005 Paris, France - Tél.: 033. 74. 46

Путем взаимной переписки В. ВОЙНОВИЧ

Сборник повестей и рассказов известного русского писателя-сатирика, автора романа-анекдота «Жизнь Ивана Чонкина». В книгу входит неопубликованная часть из «Чонкина», описывающая Сталина, Хрущева, Берия и др. «народных вождей», ряд неизданных рассказов писателя и две повести — «Путем взаимной переписки» и «Хочу быть честным».

260 стр., 48 фр.

Память (выпуск второй). — Исторический сборник, составленный в Советском Союзе. Включает воспоминания, письма и документы, статьи и библиографические материалы. В отличие от 1-го тома, который главным образом касался темы ГУЛага и разгрома всех политических партий и движений в стране, 2-й выпуск посвящен в большей своей части вопросам истории культуры, науки, литературы, религии. Множество новых интереснейших публикаций (дневник В. Г. Короленко, письма Н. Я. Мандельштам, материалы по истории катакомбной церкви и т. д.)

600 стр., 89 фр.

Отверзи ми двери СВЕТОВ, Феликс

Роман посвящен духовным поискам сегодняшней интеллигенции России. Дан широкий срез самых различных слоев современного советского общества: либеральствующая «образованщина», диссиденты, отказники и еврейские активисты, «нео-славянофилы», церковные круги. Основной стержень романа — открытие Христа как единственного пути к спасению и выходу из духовного тупика современной жизни, открытие необходимости покаяния и крестного пути.

(Изд. «Les Editeurs Reunis»). 560 стр., 89 фр.

Россия и Евреи

Сборник статей ведущих публицистов из среды русско-еврейской интеллигенции (Пасманик, Левин и др.). Рассматривается вопрос об участии евреев в культурной и общественной жизни России начала XX века, в политических движениях и революции. Исследуется суть большевизма и его губительность как для русской, так и для еврейской национальной традиции и культуры.

(с изд. Берлин, 1924). 232 стр., 48 фр.

Заказы просим направлять по адресу: LES EDITEURS REUNIS, 11, rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris — France.

ИЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ФОНДА
"МОСКВА – ИЕРУСАЛИМ" ПОД ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМ
ИЗРАИЛЬСКОГО КОМИТЕТА УЧЕНЫХ
ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ СОЛИДАРНОСТИ
С ЕВРЕЯМИ СССР

Редакционная коллегия:

В. Богуславский, А. Воронель, Н. Воронель, И. Гольденберг,
Р. Нудельман (гл. редактор), Н. Рубинштейн, Я. Цигельман
(отв. секретарь)

корректор:

С. Бар-Ор

оформление:

В. Богуславский и С. Островский

Адрес редакции: п/я 7045, Рамат-Ган, Израиль

Общественно-политический и литературный журнал
"ДВАДЦАТЬ ДВА"

Условия подписки на 1979 год (№№ 7 – 12): на 6 номеров – 320 лир
(24 доллара)

на 3 номера – 180 лир (14 долларов)

Заказы принимаются по адресу: "22", Р. О. В. 7045, Ramat-Gan, Israel

Чеки выписываются на имя: "Foundation Moscow—Jerusalem"

ОТРЕЗНОЙ КУПОН

Фамилия	Прошу подписать меня на журнал
Имя	"Двадцать два" на ---- номеров,
Улица, дом	начиная с № ---- (а также выслать
Город	мне ранее вышедшие номера ----
Страна	Чек на сумму -----
	номер----- банка -----
Подпись	----- прилагаю.

На последней странице обложки работа художницы Л. Мартилевич

